

ПЕТРЮС БОРЕЛЬ • ШАМПАВЕР

ПЕТРЮС
БОРЕЛЬ



ШАМПАВЕР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



P É T R U S B O R E L



CHAMPAVERT

CONTES
IMMORAUX



П Е Т Р Ю С Б О Р Е Л Ь



ШАМПАВЕР

БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ
РАССКАЗЫ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Т. Б. КАЗАНСКАЯ, Т. В. СОКОЛОВА,
Б. Г. РЕИЗОВ, А. М. ШАДРИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
ЛЕНИНГРАД
1 9 7 1

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский,
А. Л. Гришунин, Б. Ф. Егоров, А. А. Елистратова,
Д. С. Лихачев (председатель), А. Д. Михайлов,
Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Ф. А. Петровский,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов, С. Д. Сказкин,
С. Л. Утченко, Г. В. Церетели*

Ответственный редактор
А. М. ШАДРИН

Перевод *Т. Б. КАЗАНСКОЙ*,
статья *Б. Г. РЕИЗОВА*, комментарии *Т. В. СОКОЛОВОЙ*,
перевод стихов и филологическое редактирование
А. М. ШАДРИНА

ЗАМЕТКА О ШАМПАВЕРЕ

Разочаровывать — всегда весьма тягостная обязанность. Мучительная повинность — отнимать у публики приятные обольщения, сладостные ошибки и ложь, к которым она привыкла, которым поверила. Нет ничего опаснее, чем поселять пустоту в человеческом сердце. Никогда я не стану заниматься столь рискованным делом. Верьте, верьте, тешьтесь обманом, пребывайте в неведении!.. Заблуждение почти всегда любезно и утешительно. Но хоть мне и претят всякого рода разоблачения, моя сугубая искренность велит мне раскрыть подлог, по счастью незначительный, — назвать имя того, кто скрылся за псевдонимом. Бога ради, постарайтесь не возмущаться, как это обычно бывает, когда вам говорят, что Клотильды де Сюрвиль¹ никогда не существовало и что книга ее апокриф, что переписка Ганганелли и Карлино² — апокриф; что Жозеф Делорм³ — вымышленное имя, а его биография — миф. Ради бога, ради бога! Умоляю вас, не возмущайтесь!..

Петрюс Борель наложил на себя руки этой весной: помолимся о нем, дабы душа его, в которую он, впрочем, не верил, нашла прощение у бога, которого он отрицал, дабы господь не покарал заблуждение тою же мерой, что и преступление.

Петрюс Борель, *рапсод, ликантроп*,⁴ покончил с собой; вернее, если уж говорить всю правду, которую мы обещали, убил себя тот бедный молодой человек, что скрывался под этим прозвищем; он присвоил его себе чуть ли не с детства, поэтому мало кто из друзей знал его настоящее имя, и ни один никогда не узнал причины такого подмена. Был ли он к этому вынужден или это его причуда? Никто не знает. В былые времена в науке и литературе имя это прославил Петрюс Борель де Кастр,⁵ ученый антиквар, врач Людовика XIV и сын поэта Жака Бореля.⁶ Может быть, наш поэт происходил из этой семьи по материнской линии и просто решил присвоить себе имя одного из своих предков? Это никому неизвестно и, должно быть, никогда не узнается.

Во всяком случае, подлинное имя его было Шампавер, какое и стоит на титуле этой книги.

Что может быть сладостнее, чем приобщение к духовному миру существа чувствительного, а значит и более высокого, чем мы сами, и которого уже нет на свете; нескромное желание стать сопричастным тайнам жизни большого художника или человека несчастного достойно всяческой похвалы! Интересно ведь, когда писатель стелет ковром всю подноготную

дорогих нам людей! И хотя жизнь юного неудачника-поэта и не вызывает у вас столь сильного любопытства, я думаю все же, что вы отнесетесь со вниманием к тем подробностям и разного рода обстоятельствам его необычной судьбы, какие мне удастся откопать; только вот, к сожалению, известно-то о нем очень мало. Сам Шампавер не любил о себе говорить; он появился в мире как призрак: никаких сведений о прошлом, никакого намека на будущее.

Есть некоторые основания полагать, что происходил он из Верхних Альп и родина его — древняя Сегузия;⁷ люди часто слышали, как он проклинал отца, выходца с гор, и с гордостью называл в числе своих соотечественников Филибера Делорма,⁸ Мартеля-Анжа,⁹ Сервандони,¹⁰ Одрана,¹¹ Стеллу,¹² Куазевокса,¹³ Кусту,¹⁴ Балланша!..¹⁵ Но родину свою он покинул еще в молодые годы.

По словам окружающих, выглядел он самое большее на двадцать—двадцать два года, но в чертах его была какая-то необычная серьезность, и тем, кто видел его впервые, он казался значительно старше.

Это был довольно высокий и стройный мужчина, можно сказать, даже несколько хрупкого телосложения; выразительный профиль, большие черные, с очень светлыми белками, глаза. Во взгляде его было нечто такое, отчего вам становилось не по себе, когда он впивался в вас; так взгляд змеи завораживает жертву.

Он пренебрегал обычаями нашего времени; подобно Леонардо да Винчи, он не обращал внимания на то, что принято, и с семнадцатилетнего возраста носил длинную бороду,¹⁶ причем самые настоятельные просьбы никогда не могли склонить его с ней расстаться. В этом чудачестве своем он на четыре года предвосхитил последователей Анри Сен-Симона.¹⁷ Чтобы читатель мог яснее представить себе его, достаточно сказать, что в нем было разительное сходство со святым Бруно.¹⁸

Голос его и обращение были мягкими к вящему удивлению тех, кто видел его впервые и кто по его писаниям — по стихам — представлял его себе в виде какого-то страшного людоеда. Это был человек добрый, мягкий, ласковый, гордый, упорный в делах, услужливый и доброжелательный; его любящее сердце атогосо con los suyos,* по дивному испанскому выражению, еще не было испорчено ни себялюбием, ни златом. Но, когда он бывал до глубины души оскорблен, ненависть его, как и любовь, становилась неукротимой.

Когда его завлекали в свет, он появлялся там с видом страждущим и истомленным, словно олень, которого выгнали из лесной чащи.

О том, как протекало его детство, почти ничего неизвестно; мы знаем лишь то, о чем он сам рассказывал своим близким. Сила воли была у него развита в высшей степени, он был смел, прям, властен; у него было врожденное презрение к человеческим обычаям и привычкам; никогда, даже

* Исполненное любви к ближним (исп.).

в младенчестве, он им ни за что не хотел подчиняться. Платья он не терпел и в детстве ходил совершенно голым. Прошло немало времени, пока наконец его удалось заставить хоть чем-нибудь прикрывать свою наготу.

Есть смутные подозрения, что его воспитание было поручено священникам, нечестие его в какой-то степени это подтверждает. Нет героя в глазах лакея, нет божества для обитающего в храме.

Он любил с каким-то злорадством рассказывать о том, что постоянно ставил своих учителей в тупик; те его побаивались, сами хорошенько не зная за что: может статься, он их держал а *quia* * своими вопросами в духе Лакондамина¹⁹ и, угадав их серое невежество, относился к ним с презрением и брезгливостью. Еще он говаривал с гордостью, что его повыгнали из всех школ.

Поскольку учение было его единственной страстью, а одною латынью нельзя было утолить всю жажду знания, он обложился несколькими грамматиками древних и новых языков, а также учеными трактатами, которые с трудом раздобывал и которые пристыженные им наставники постепенно все посжигали.

Уже в ту пору он вынашивал в себе несказанную тоску, безотчетную и глубокую: меланхолия стала его неотъемлемою чертой. Его бывшие соученики вспоминают, что ему нередко случалось проводить целые дни, проливая горькие слезы без всякого повода и без видимой причины, да и сам он никогда не мог объяснить своего отчаяния. Не приходится сомневаться, что принудительное общение погружало его в постоянное болезненное состояние и что страдание и скука взвинчивали его впечатлительную натуру и подстегивали его и без того мрачную раздражительность.

Недолгая карьера его течением своим походила на родник, чьи истоки неведомы и который то затопляет луга, то уходит под землю.

За этими годами его жизни следуют другие, о которых мы не могли найти никаких сведений. Единственное, что мы отыскивали в его бумагах, — это две заметки, мы их приводим ниже; по ним можно предположить, что отец против его воли отдал мальчика в обучение то ли к художнику, то ли к ремесленнику.

Ноябрь 1823.

«Вчера отец сказал мне: „Теперь ты уже большой, в этом мире нужно иметь профессию; пойдем, я отдам тебя к учителю, который будет с тобой хорошо обращаться, он обучит тебя ремеслу, которое тебе придется по вкусу; ты малюешь углем стены, рисуешь тополя, разных гусаров, попугаев, вот ты и научишься хорошему делу“. Я не понимал, что все это значит; я последовал за отцом, и он запродавал меня на два года».

* Начеку (лат.).

Январь 1824.

«Так вот что означает цех, учитель, подмастерье; не знаю, разбираюсь ли я в этом, но мне взгрустнулось, и я призадумался о жизни; мне она кажется такой короткой! Мы странники здесь на земле, к чему же столько забот, столько тягостного труда, зачем?.. Теперь мне смешно, когда я вижу, что кто-то хочет получше пристроиться. Пристраиваться!.. Что же в конце концов нужно человеку для жизни? Медвежья шкура и кусок хлеба.

О, разве о таком существовании я мечтал, отец мой! Если я кем-то хотел бы стать в жизни, так это погонщиком верблюдов в пустыне или мулов в Андалузии, или же — таитянином!».

Скорее всего тот, у кого он провел ученические годы, был зодчим; знавшие его вспоминают, что несколько лет спустя он работал в архитектурной мастерской Антуана Гарно;²⁰ впрочем, нам так ничего и не удалось узнать об этом периоде его жизни. Без сомнения, он бился один на один с нуждой, а когда среди тупой работы и голода наступала короткая передышка, он предавался своим занятиям.

В его бумагах нашли строительные чертежи и стихи, помеченные одними и теми же числами. Он все менее усердно посещал мастерскую Антуана Гарно, а затем и совершенно перестал туда показываться. По всей вероятности, его отвращение к античному зодчеству, которое по преимуществу там изучалось, стало причиной такого отдаления. Он схоронился в тени, чтобы посвятить себя излюбленным занятиям, и появлялся только время от времени, то чтобы руководить постройками, то в мастерской какого-нибудь умелого живописца, чью дружбу он себе снискал. Именно к этому времени, года за два до его смерти, в конце 1829 года, несколько робких молодых писателей собрались вокруг него, чтобы вкуче сделаться сильнее и чтобы им легче было вместе вступить в свет и не погибнуть в его волнах. Многие даже смотрели на него как на пророка кружка бузэнго,²¹ снискавшего скандальную славу, самое название и цели которого были безбожно искажены по злобе и невежеству. Но не будем забегать вперед, ибо Шампавер в их совместном труде,²² который должен вот-вот появиться, восстановил подлинные события и просветил публику, обманутую газетными сообщениями.

Его последние соратники, чьи имена приведены в «Рапсодиях», знавшие его особенно близко, могли бы дать о нашем поэте точные и положительные сведения; но поскольку сам он этого издания не одобрял, то их двери остались для нас закрытыми.

К концу 1831 года появились поэтические пробы пера Шампавера, озаглавленные «Рапсодии» Петрюса Бореля.²³ Никогда еще не было случая, чтобы маленькая книжечка вызывала такой невероятный скандал; без скандала, впрочем, не обходится ни одно произведение, написанное с душой

и сердцем и лишенное учтивых поклонов, обращенных к веку, когда и искусство и страсти надуманны и стали ремеслом, и каждая страница пахнет потом. Мы слишком доброжелательно настроены, чтобы судить об этих стихах, нас не сочтут беспристрастными. Скажем только, что они нам кажутся неровными, но выстраданными, прочувствованными, полными огня, и, хоть иногда это может быть и сущие пустяки, чаще всего это *слиток железа*; книжка написана желчью и болью, это прелюдия последовавшей затем драмы, которую предчувствовали самые чистые сердцем; у такого произведения нету второго тома: эпилогом ему будет смерть!

Для наших читателей, которые не знают этих стихов, мы приведем из них несколько выдержек в подтверждение высказанных нами мыслей.

Вот стихотворение, открывающее сборник: мы отдаем ему предпочтение потому, что оно исполнено скорби и подкупающей искренности и содержит некоторые обстоятельства его жизни, о которых мы говорить не могли, оно обращено к другу, как видно, приютившему поэта в то время, когда, как *Метастазио*,²⁴ он очутился без крова, под открытым небом.

Только вспомни, друг мой милый,
Как судьба Петрюса была:
Он угла не знал нигде,
Чтобы сверху дождь не капал,
Чтоб прилечь с гитарой на пол, —
Ты помог ему в беде.

Сам позвал: «Побудь со мною,
Насладимся тишиною.
Над Парижем никогда
Не блеснет лазурь Гомера,
Небо нежного трувера. . .
Там туманы, холода.

А в Провансе солнце светит,
Там мой домик друга встретит.
Он — от суеты вдали.
Будет птичья легкость в теле.
Бедность? Пусть, но мы разделим
Ужин — горстку конопля».

Ободренный и согретый,
Я смущен был лаской этой.
Ты души услышал стон,
Первый понял, что один я.
Над нелегкою судьбиной
Ты слезу пролил, Леон.

Неужели ж, друг мой верный,
Ты б хотел, чтоб лицемерно
Жил я, время не кляня,
Лишь клонясь от горя долу?
Нет, как Мальфилатра голым
Пусть увидит век меня! ²⁵

Пусть, увидев, знает душу:
Не подлец я и не трушу!
Много слез и трудных дум
На земных вкусил пирах я,
Но глядеть умел без страха
Я на горе и беду.

Пусть увидит: над утратой
Не тужу я, не богат я,
Но не беден: есть усы,
Есть гитара, есть веселье —
Боль врачующее зелье,
Тихой радости часы.

Пусть увидит: о судьбе я
Не вздыхал своей, плебея,
Титулов не получал.
Презрел чопорность дворянства
Иль хлыщей ничтожных чванство —
Плащ с Гарольдова плеча.

Я в чаду балов придворных
Не строчил стихов покорных,
Славословий не слагал.
Не изнежен, не пресыщен,
Я, как был, остался нищим,
Но не льстил я и не лгал.

Вот еще несколько стихотворений и еще несколько отрывков в другом духе, взятых, можно сказать, случайно, но равно исполненных печали и горечи, и кое-какие мысли, глухо подтачивавшие его и приведшие его немного времени спустя к гибели...

СКОРБЬ

Дождей стеклянных звон — аккорды клавесина
На верхний мой этаж
Зачем вы ворвались? Мне сердце здесь в теснины
Ввергает трепет ваш!

Уйдите прочь, молю, тех, тех пьяните, звуки,
Чьей жизни торжество
Не потревожил я, как вы — страдальца муки,
Немую скорбь его.

Но все ж, откуда вы? Ложась на гладь эбена
И кости, вся в перстнях,
Не девичья ль рука игрой самозабвенной
Смущает так меня?
Прислушиваюсь вновь. И кажется, ребенка
Я слышу: наизусть
Он учит свой урок, и песня льется звонко.
Но отчего в ней грусть?

Нет, что я! Голоса, стук, топот в доме людном —
То гомон кутежа:
И стены, и полы, и люди — безрассудно
Все кружится, дрожа.
Свист, ржанье лошадей, лакеи, фаэтоны,
Смех от острот пустых,
Вихрь факелов, цветов, а рядом — нищих стоны,
Грязь и лохмотья их.

Вот он каков, разгул полночных вакханалий!
Роскошества дворца,
Богатства, славы блеск. . . А я один печален,
Терзанью нет конца.
И чудится: помост, ведут еврея. Боже!
Меня, меня ведут!
Вельможи и попы вокруг. Костер разложен.
И близок скорый суд.

Мне тяжело от всего, что зло и слепо
Нуждою возвращено.
Вплеталась в жизнь любовь, шла золотом по крепу,
Но нет ее давно!
О бедная моя, тебя с собою рядом
Дорогой маяты
Я долго-долго вел, но посильнее ядом
Убила горе ты!

Так что же медлю я, нащупав сталь кинжала?
Украдкой взглянуть
Боюсь. Рука дрожит. Хоть распороть решала
Измученную грудь. . .

Гонюсь за тенью, той, всей жизнью яму вырыл
 Себе же самому.
 И все-таки живу — на гноище, как Иов,²⁶
 Не зная, почему.

ГИМН СОЛНЦУ

Пустынна леса глушь. Иду один туда я,
 Тропинкою ведом,
 В отчаянье, в тоске, и на землю кидаюсь
 Бесчувственным скотом.
 Чтоб голод заморить, лежу, уткнувшись в камень,
 И солнца рад лучу.
 Испить усталыми горящими глазами
 Я свет его целительный хочу.

Скупа в столице власть: наемные клеветы
 Искусно тут и там
 Торгуют на ходу и воздухом, и светом —
 Их покупал я сам!
 Но мы нигде тобой, о солнце, не забыты:
 В столице и в глуши
 Ты мудро светишь всем — от нищенки забитой
 До короля, что судьбами вершит.

ОТРЫВОК СТИХОТВОРЕНИЯ, ОЗАГЛАВЛЕННОГО

«СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ»

Ты птица вольная, мой бард! Твоя такая
 Судьба — часами петть средь зелени и вод;
 Так аист медленно по берегу шагает
 И славит радостно закат или восход.
 Ты птица вольная, мой бард! Тебе ли нрав свой
 Упрямый изменять, уединенья друг?
 Чужда тебе корысть, и все твоё богатство —
 В лохмотьях плащ, кинжал²⁷ да тишина вокруг.
 Теперь поэт не тот — угодливый и сладкий,
 Всегда во фраке он; он — щеголь завитой,
 Он — попка, баловень господ богатых, падкий
 Трещать без умолку из клетки золотой.
 Откормлен и чванлив, над выдуманном горем
 Он щедро слезы льет, отведавши гуся;
 Как шпагою, зонтом он потрясает в споре
 И призывает смерть, лекарства припася.

Дворцы и въезды, красотки, карнавалы
 Одышливо ползут в его тяжелый стих.
 Ему ли к беднякам заглядывать в подвалы?
 Он словом бархатным бесстыдно хлещет их.
 Слепцы, одумайтесь, кичиться погодите;
 Вкушайте радости, твердя, что мир хорош,
 Но вирши хилые в ливреи не рядите —
 Мы стерпим нищету, но мы отвергнем ложь!
 Смелей будь, ложных солнц остерегайся света,
 И сколько б на пути ни выпало тягот,
 Умей их пережить — они нужны поэту,
 Он только в бедности свободу познает!
 Я умереть хотел, и даже не однажды,
 И счастлив был тогда, теперь же, признаюсь,
 Мне ненавистна смерть; я жалок, я боюсь
 Во тьме ее шагов. И зол: я крови жажду.

НУЖДА

По смеху звонкому, по радости бурливой
 Сочтете вы мой вид здоровым и счастливым;
 Решите, что меня тщеславье не томит,
 Что совесть не грызет, что не терзает стыд.
 Но под твердынею его сокрывшей груди
 Чужого сердца жар не распознают люди.
 То — потайной фонарь: увидев, не сробей,
 Сумей открыть его. Иль вдребезги разбей!

Когда тебя, Андре мой бедный, под конвоем
 На казнь везли,²⁸ о брус железный головою
 Ты бился в ярости — в преддверье пустоты:
 Для счастья родины так мало сделал ты!
 Не так же ль, в ужасе пред бездной неоглядной,
 Отчаяньем, тоской снедаем беспощадной,
 Все проклинал я сам. Я небесам грозил
 Под тяжестью оков — и набирался сил.

Оковы. . . сил приток. . . Горька поэта участь:
 Он мог бы богом стать, но умолкает, мучась.
 Закован в цепи тот, кто время упредит.
 Наш прозорливый век покойникам кадит.
 Трудись, чудес не жди — их нет теперь, должно быть.
 Трудись! Трудись! . . Но как? Нужды бушует злоба
 И душит мысль и стих и угнетает дух.
 Как лютия ни звучи, я голоден — и глух!

Ах! От таких вещей сердце кровью обливается!... Не будем же говорить об этом.

Его манера держать себя независимо и безудержная любовь к свободе привели к тому, что его приняли за республиканца. Он счел своим долгом ответить на это обвинение в предисловии к «Рапсодиям»: «Да, я республиканец, но в волчьем смысле: ликантропия — вот мое республиканство! Если я заговорил о республике, то лишь потому, что этим словом выражается для меня величайшая независимость, доступная для нас в условиях цивилизованного общества. Я стал республиканцем потому, что не могу быть караибом;²⁹ мне нужна безмерная свобода: только вот даст ли мне ее республика? У меня нет собственного опыта. Но, когда и эта надежда обманет меня, как столько других надежд, мне еще останется Миссури!..».

Вот почему газеты назвали его стихи ликантропичными, самого его — ликантропом, а направление его ума — ликантропизмом. Эпитет возымел большой успех в свете и остался за ним; ему и самому нравилось его слышать, поэтому мы полагали, что приносим ему дань уважения, не вырывая у него сего отличительного стяга.

Посреди исполненной ненависти критики, которая издевалась над ним и которая преисполнила бы горечью душу менее закаленную, чем его, он ни на одну минуту не усомнился в своих силах и тайком получал весьма нежные утешения, несколько искренних поощрений и настоящих советов.

Между прочим, мы приведем здесь одно такое письмо и стихи, которые были ему адресованы и только сейчас нашлись в его рукописях.

«Милостивый государь,

Простите мне, что я с таким опозданием благодарю Вас за стихотворение, которое Вы любезно пожелали мне прислать. Господин Жерар сообщил мне Ваш адрес всего несколько дней назад.

Когда плавящийся металл выбрасывает окалину, то по этой окалине мы можем смело судить о металле, и пусть даже вы на меня рассердитесь за то, что я чересчур настойчиво пророчу вам будущее, мне хочется верить, что оно будет замечательным. Я и сам был молод, молод и склонен к меланхолии, как вы, я нередко был готов во всех своих неудачах винить общественные порядки: у меня сохранились еще такие одические строфы, ибо в молодости я сочинял оды, где я выражаю желание уйти жить с волками. Незыблемая уверенность в божественном промысле подчас бывала для меня единственным прибежищем. Об этом могут свидетельствовать мои первые, может быть, исполненные благоразумия стихи; они не идут в сравнение с вашими, но, повторяю, их многое сближает; я говорю все это для того, чтобы вы могли судить о грустном, но глубоком наслажде-

нии, которое я испытал, читая написанное вами. Многие ваши мысли мне особенно дороги, потому что, хотя в судьбе моей и произошли большие изменения, я не позабыл первых своих впечатлений и не слишком пристрастился к тому обществу, которое я предал проклятью в двадцать лет. Только сейчас у меня нет более причин жаловаться на него по собственному поводу, я сетую на него, лишь встречаясь с его жертвами. Но вы, милостивый государь, вы рождены с талантом и в сравнении со мною получили к тому же тщательное образование; вы преодолете, надеюсь, препятствия, которыми усыпан весь наш путь: и если это случится, чего я от души желаю, то сохраните навсегда счастье иметь собственный образ мыслей и вы получите возможность благословить провидение за те испытания, которое оно вам ниспослало в молодости.

Вы, должно быть, не любитель похвал; не стану вам докучать, я уже высказал свое мнение. К тому же, я думаю, что вы предпочтете ознакомиться с размышлениями, навеянными вашей поэзией. Вы поймете, что не из эгоизма я вам столько наговорил о себе.

Примите, милостивый государь, искреннюю мою благодарность, а также уверения в живейшем к вам интересе и моем совершенном почтении».

Беранже

16 февраля 1832 года

ПЕТРЮСУ БОРЕЛЮ

Скажи мне, Пьер, с чего вдруг на душе так худо
Становится тебе и все, что впереди,
Мрачнеет — и томит; откуда боль в груди,
И этот тяжкий вздох откуда?

Пьер, хороша ведь жизнь, — ты посмотри-ка ввысь,
Там, на небе ночном, звезд светят мириады. . .
Знай, одолеем мы все бранные преграды,
Что стенами тюрьмы взвились.

Пускай на утре лет она нас бьет, и гонит,
И тучей черною нам небо заслонит —
Иные имена врезаются в гранит,
Где их уже никто не тронет.

А вместе с вечером покой приходит сам,
И слава тихая венчает жизнь у берега,
И, может быть, тогда любви вернется нега
Пролить на раны свой бальзам.

Взгляни на тех, кто жил трусливо, осторожно,
 Не зная радостей, что дарит сердцу страсть
 Иль честолюбия пленительная власть.
 О до чего ж они ничтожны!

И не страшней ли им, чем всем нам здесь, вдвойне:
 На камне, голыми, под полуденным зноем,
 Век сохнуть, век дрожать над чашею пустою,
 Где только желчь одна на дне?

А ты как конь лихой — свободен, молод, в силе,
 Резвиться весело и прыгать норовишь.
 О чем тебе тужить? О том, быть может, лишь,
 Что на день с милой разлучили!

Чего тебе желать? Ты слышишь впереди
 Любви и дружбы зов и славы триумфальной.
 Не хватит ли всего, чтоб скрасить путь твой дальний.
 Богатство будет — подожди!

Вперед, смелей, мой Пьер, к себе суров, нещаден,
 Неси свой тяжкий крест, не выбирай дорог,
 Но пусть прохожие твоих не видят ног,
 Обезображенных от ссадин.

У славы-мачехи мы пасынки. Живи!
 Пред избранными мир склонится неминуче. . .
 Но он не должен знать ни о венце колющем,
 Ни о сочащейся крови!

Под этими стихами стоит подпись большого поэта, которым гордится Франция,³⁰ — нам хотелось огласить его имя, но мы боимся смутить его стыдливость и оказаться чересчур нескромными, раскрыв источник простодушной поэзии, столь задушевной и доверительной.

Разделив обе части, одну, состоящую из поношений, а другую — из благородных и дружественных советов, мы увидим в этом случае, как и во всех других, что злобная критика исходит только от подонков.

Вот и все, что нам удалось собрать о внешней истории Шампавера, что до его духовной жизни, она целиком и полностью в его писаниях; мы отошлем вас для этого прежде всего к настоящей книге рассказов, затем к «Рапсодиям», которые должны вскоре выйти в свет.

Наконец, за подробностями, относящимися к возникшему у него отвращению к жизни и его самоубийству, мы отсылаем читателя к повести, озаглавленной «Шампавер» и заключающей собою этот сборник.

Господин Жан-Луи, его безутешный друг, оказал нам доверие, позволив привести в порядок рукописи и различные бумаги Шампавера, которые у него были; он поручил также на наше усмотрение опубликовать то из них, что мы сочтем нужным: среди всего прочего мы выбрали прежде всего эти вот неизданные рассказы. Если они будут хорошо встречены читателями, то мало-помалу мы напечатаем и все остальные, а также несколько романов и драм, которые тоже находятся в нашем распоряжении.

Явилась ли преждевременная смерть молодого писателя действительно ощутимой утратой для Франции? На этот вопрос не нам отвечать, представим судить Франции, предоставим Франции указать ему надлежащее место, пусть Лион, его родина, воздаст ему должное и увенчает славой своего молодого и безмерно несчастного поэта.

Однако мы считаем долгом вежливости предупредить читателей, жаждущих всякого рода *лимфатических* писаний, чтобы они закрыли книгу и даже не заглядывали в нее. Если бы, тем не менее, им захотелось получить некоторые сведения о направлении ума Шампавера, то им достаточно прочесть то, что следует ниже.

Получив письмо, в котором Шампавер предупреждал о своем крайнем намерении, Жан-Луи тотчас же выехал, надеясь поспеть вовремя и отвратить его от рокового шага, но было слишком поздно. В Париже он немедленно явился в дом Шампавера. Ему заявили, что тот отбыл в долгое путешествие. В городе ему не удалось получить никаких сведений. Лишь вечером, пробегая «Ла Трибюн»³¹ в кофейне «Прокоп»,³² он нашел там жестокое и неоспоримое подтверждение. На следующий день ему выдали труп его друга, пролежавший три дня в морге, и он похоронил его на кладбище Мон-Луи; там, возле могилы Элоизы и Абеяра,³³ вы еще сможете увидеть надтреснутый замшелый камень, на котором с трудом, но можно прочесть слова: «Шампаверу, Жан-Луи».

Глубоко потрясенный самоубийством этого юноши, я был не в силах сдержать слезы, слушая рассказ господина Жана-Луи в кофейне, и тот, растроганный, подошел ко мне и спросил:

— Вы его, должно быть, знали?

— Нет, сударь, если бы я его знал, мы бы умерли вместе.

Этим я снискал его дружбу, и этот славный молодой человек, прежде чем возвратиться в Лашапель в Водрагоне, отдал мне найденный на Шампавере бумажник.

Вот почти все, что в нем содержалось: какие-то заметки, несколько фантазий, беспорядочно нацарапанных сангиной³⁴ и почти совершенно неразборчивых, несколько стихотворений и писем.

Прежде всего я разобрал на ослиной коже следующие мысли:

Людам всегда советуют не делать ничего бесполезного, — согласен, но это то же самое, что велеть им покончить с собой, ибо, откровенно

говоря: для чего жить? . . . Есть ли что-нибудь более бесполезное, нежели жизнь? Полезно то дело, назначение которого понятно: полезное дело должно быть выгодно само по себе и по своим плодам, должно чему-то служить или действительно сослужит; наконец, — это дело доброе. Отвечает ли жизнь хотя бы одному из этих требований? . . . Цель ее неведома, ни само течение ее, ни ее итог не приносит никакой пользы, она ничему не служит, она ничему не послужит; наконец, она просто вредна; пусть кто-нибудь докажет мне, что жить полезно, что жить необходимо, я буду жить. . .

Что до меня, я убежден в противном и часто повторяю вслед за Петраркой:³⁵

Che più d'un giorno è la vita mortale
Nubilo, breve, freddo e pien di noja;
Che può bella parer, ma nulla vale.*

Вот те горестные думы, которые постоянно меня преследуют; они заронили мне в сердце глубочайшее отвращение к жизни. Человек перестает быть честным только с того дня, когда преступление раскрыто. Самые гнусные мерзавцы, чьи ужасные преступления остаются скрытыми, — все это люди почитаемые, пользующиеся всеобщей любовью и уважением. Сколь многие, должно быть, посмеиваются в глубине души, слушая, как их величают добрыми, справедливыми, светлейшими, даже высочествами!

Ах, мысли эти раздирают мне душу! . . .

Вот почему мне претит пожимать руки людям, которых я близко не знаю; я невольно содрогаюсь при мысли, которая никогда меня не покидает, что я, быть может, пожимаю руку изменника, предателя, отцеубийцы!

Когда я встречаю человека, помимо воли мой взгляд оценивает и испытывает его, и я вопрошаю себя в сердце своем: «А что, он действительно честен? Или же это просто удачливый разбойник, чье лихоимство, хищничество, чьи преступления неизвестны и навсегда останутся втайне?». Возмущенный, расстроенный, со словами презрения на губах, я чувствую искушение повернуться к нему спиной.

Если бы люди хотя бы подразделялись на виды, как все прочие твари, если бы они имели разнообразные обличья, в зависимости от склонностей, от своей свирепости или кротости, как другие животные! Если бы были некие определенные отличительные признаки для человека жестокого, для убийцы, подобно тому, как мы по виду можем отличить от других зверей тигра или гиену. Если бы было свое обличье у вора, у ростовщика, у скупца, как есть оно у коршуна, у волка, у лисицы: было бы во всяком случае нетрудно узнать своих; мы бы знали, кого любим, и

*

Земная жизнь, что день наш, скоротечна:
Туман и холод, и с утра заботы,
И красота ее — обман извечный (итал.).

могли бы избежать всех дурных; их ничего бы не стоило прогнать и отвадить; мы ведь убегаем от пантеры и медведя и устраиваем на них охоту. И мы любим собаку, оленя, овечку.

ТОРГОВЕЦ — ЧИТАЙ ВОР

Бедняка, который из нужды крадет какой-нибудь пустяк, отправляют на каторгу; вместе с тем у торговцев есть все привилегии: они пооткрывали лавки вдоль всех дорог, чтобы обирать случайно забредших прохожих. У этих воров нет ни ключей, ни отмычек, зато к их услугам весы, приходо-расходные книги, розничные цены, и каждый, кто уходит от них, неминуемо думает: меня обокрали! Эти воры греют руки на мелочах, и в конце концов становятся собственниками, как они сами себя величают, — собственниками-наглецами!

При малейших политических неурядицах они собираются вместе и вооружаются, вопят, что начался грабеж, и отправляются резать всех, в ком есть великодушие и кто восстает против тирании.

Тупоголовые маклаки! Вам ли толковать о собственности и унижать, называя ворами, порядочных людей, которых вы разорили у своих прилавков! Что ж, защищайте теперь вашу собственность! Мерзкое мужичье! Бежав из деревень, вы поналезли в города, словно тучи воронья или голодные волки, чтобы присосаться к падали! Что ж, защищайте свою собственность!.. Мерзкие стяжатели, что бы вы нажили себе без вашего дикого разбоя? Сколотили бы вы добро, если бы не выдавали латунь за золото, подкрашенную водичку за вино? Отравители!

Я не верю, что можно разбогатеть, не будучи жестокосердным: человек добросердечный никогда не сколотит состояния.

Чтобы наживаться, надо подчинить себя целиком одной мысли, одной твердой неколебимой цели — желанию накопить огромную кучу золота, а чтобы эта груда росла и росла, надо сделаться ростовщиком, мошенником, бездушным вымогателем и убийцей. Притеснять же преимущественно малых и слабых. А когда золотая гора навалена, то можно на нее залезть и, стоя на ее вершине с улыбкой на губах, обозревать юдоль обездоленных по вашей же милости.

Негоциант разоряет купца, купец разоряет скупщика, скупщик разоряет мастера, мастер разоряет работника, а работник мрет с голоду.

Благоденствует не тот, кто трудится, а тот, кто наживается на труде других.

На книжечке были нацарапаны стихи, которые, я полагаю, им и сложены, ибо не припомню, чтобы мне приходилось прежде где-либо их читать.

НЕКОЕМУ ТОРГОВЦУ МОРАЛЮ

Не правда ль, хорошо, как с кафедры церковной,
Ослабившись, располагать
Узорами слова и этой речью ровной
Ни разу сердцу не солгать!
Не правда ль, хорошо явить души величье,
Бичуя чей-то вкус и нрав,
И проповедовать, не подбирая притчи
В грязи казарм или канав!
И все ж не главное ль, когда поэт законно
Вещает правду, — как крупу
Не сыпать пух в ответ, вниз, с Луврского балкона,
На безоружную толпу!³⁶

Кто ж он, друзья мои, кто сей судья суровый,
Анахорет, тупой монах,
Придирчивый торгаш, что хамоватым словом
Нас всех стереть хотел бы в прах?
Да, кто ж он, сей палач, хулитель с песьей мордой,
Не знающий, как горек стыд,
Кто душит красоту и кто уверен твердо,
Что век наш падалью смердит?
Кто этот горлопан? Сам весь в грязи липучей,
Обманывая простаков,
У окон потаскух он нас морали учит,
Как гонят под ярмо быков!

Не стану вдаваться в рассуждения о смертной казни, и без меня немало красноречивых голосов, начиная с Беккарии,³⁷ осуждали ее: но я возмущен и я призываю хулу на голову свидетеля обвинения, я заклею его позором. Мыслимое ли это дело — стать свидетелем обвинения?.. Какой ужас! Только среди людей можно найти подобных чудовищ! Возможна ли более утонченная, более изысканная жестокость, чем институт свидетелей обвинения?

В Париже существует два притона: притон воров и притон убийц; воры укрылись на Бирже, убийцы — во Дворце Правосудия!

ГОСПОДИН ДЕ ЛАРЖАНТЬЕР, ОБВИНИТЕЛЬ



Дитя мое, скажи, ужели же пристало
Моралью трезвою тревожить Рим усталый
От греков-риторов и выставлять сейчас,
Как мясо свежее, собакам напоказ?
Не лучше ль было бы, чтобы сей град могучий
Лежал бы, развалясь, в своей грязи вонючей,
Не видя тины слой, что кровью жертв полит?
Зачем будить того, кто непробудно спит!

— Не мог ты, что ли, петь Филлиды жениха ¹
Иль безутешного Титира пастуха? ²
Иль вовсе, может быть, буколики ³ оставить
И на «Георгики» ⁴ весь гений свой направить,
Иль шестистопный стих Энея ⁵ вел рассказ,
Как корабли его Нептун от бури спас?
Звучал же ведь в тебе любимой голос томный
И трепетала грудь от страсти неумной;
Или испанки взгляд и голос, помнишь, той,
Что пела, всех тогда прельщая красотой.

Бартелсми Орсо ⁶

Им, окровавленным, еще краснеть придется!

Андре Борель ⁷

I

РОКОКО

Одна-единственная свеча на столике слабо освещала просторную высокую залу. Если бы не позвякивали бокалы и серебро, если бы изредка не доносились взрывы голосов, — свеча эта казалась бы погребальной. Внимательно вглядываясь в полумрак, так, как вглядываются в рембрандтовские офорты, мы разгадаем, что это убранство столовой, обычное для эпохи Людовика XV, ⁸ которую поборники нелепого римского классицизма язвительно прозвали «рококо». ⁹ Правда, лепной выступ, обрамляющий потолок, закручен и уложен в виде ленты с перехватами и не имеет ни малейшего сходства ни с карнизом Эрехтейона, ¹⁰ ни с храмом Антонина и Фаустины, ¹¹ ни с аркой Друза. Правда, он лишен воронок и желобков, капельников и стоков, собирающих и дробя-

щих дождь, который не льет. Правда, входы не увенчаны украшениями в аттическом духе, предназначенными сгонять потоки все того же дождя. Правда, высота сводов не превышает в два с половиной раза их поперечника. Правда, совершенно не приняты во внимание изощренные закономерности, которые открыл il illustrissimo signor Jacomo Barozio da Vignola,* и даже сквозит прямая насмешка над пятью орденами.

Но правда и то, скажем прямо, что зала эта не была жалким подражанием дурацкому пестумскому зодчеству,¹³ холодному, голому, унылому и пустому зодчеству Афин, что в отделке ее не было ублюдочных черт архитектуры Рима; у нее был свой особый облик, свое жеманство; будучи точным выражением эпохи, она соответствовала ей во всем. А лицо этой эпохи настолько своеобразно, что, сколько бы столетий потом ни минуло, всегда можно будет тотчас же опознать рококо Людовика XIV и Людовика XV, — преимущество, которого не будет у всех угрюмых и безликих подражаний древним, созданных руками наших современников, которые ничем не обогатят свой век и ничего от него не воспримут, так что грядущие поколения сочтут их создания плохими антиками, пересаженными на чужую землю.

Широкие настенные панно пестрели изображениями мертвой природы, достойными де Венненкса, но неизвестной кисти, а наддверия представляли оперные пасторали, грациозные праздники, пастушеские сценки бессмертного и восхитительного Ватто.¹⁴ Сочетания были изысканными и нежными, краски сочными и прозрачными, по обычаю великого мастера, которого невежественная и неблагодарная Франция должна восстановить в правах и чтить как одного из своих славнейших гениев. Слава Ватто! Слава Ланкре!¹⁵ Слава Карлу Ванлоо!¹⁶ Слава Ленотру!..¹⁷ Слава Ясенту Риго!¹⁸ Слава Буше!¹⁹ Слава Эделинку!..²⁰ Слава Удри!²¹

И если уж говорить все до конца, признаюсь, что меня равно располагает к мечтаниям и мне одинаково уютно в просторных покоях семнадцатого и восемнадцатого веков, и в чертогах византийского капитула, и под кровлей романского монастыря. Все, что хранит память о наших отцах, о предках, павших на французской земле, наполняет душу благоговейной грустью. Позор тому, кто не ощутил трепета при входе в старинный дом, в разрушенный замок, в заброшенную церковь!

За столом, на котором горела свеча, сидели двое мужчин.

Младший из них опустил голову; на бледное лицо его нависали рыжие волосы; у него были впалые лживые глаза и длинный острый нос; а если добавить, что бакенбарды у него на щеках были подстрижены скобкой, как стремяна, то вы поймете, что действие происходило во времена Империи, около 1810 года.

* Славнейший синьор Джакомо Барроцио да Виньола¹² (итал.).

Старший из них, пожилой приземистый мужчина, был типичным жителем долины Франш-Конте;²² густые волосы ниспадали наподобие вавилонских садов на его широкое плоское свиное лицо.

Оба жадно наклонились над столом, словно двое волков, отбивающих друг у друга добычу; но их глухие и несвязные речи, громыхавшие эхом по зале, походили скорее на хрюканье свиней.

Один был поменьше, чем волк, это был общественный обвинитель. Другой — побольше, чем свинья, это был префект.

Префект только что получил назначение в главный город одной из провинций и должен был выехать туда на следующий же день. Обвинитель исполнял уже довольно давно эту должность в парижском суде присяжных и на радостях устроил в честь друга прощальный обед.

Оба они, одетые во все черное, походили на врачей,²³ надевших траур по своим жертвам.

Говорили они довольно тихо, и нередко с полным ртом, поэтому негр, стоящий у входа, — ибо молодой обвинитель Ларжантьер держал негров и разыгрывал из себя аристократа на покое, — не мог ничего уловить на лету, кроме обрывков фраз, вроде следующей:

— Дорогой мой Бертолен, и каким же чудесным обедом нас потчевал вчера приятель наш Арно де Руайомон!.. Его окна выходят на Гревскую площадь,²⁴ и видна была казнь семи заговорщиков, которых мы за несколько дней до того осудили. Отличнейший обед! Не успеешь проглотить кусочек, как, глядишь, уже катится голова!

— Жалкие юнцы! Все еще верить в родину! Эти господа лезут в Бруты,²⁵ в Хемпдены!..²⁶

— У них еще хватило наглости заговаривать с народом, стоя на эшафоте; да не тут-то было! Шалишь! Им живехонько пресекали и речи и головы! Однако они успели все же прокричать во всю глотку: «Да здравствует родина! Да здравствует Франция! Смерть тирану!..». Смерть тирану!.. Дураки-то какие.. Нечего церемониться с этими негодьями: хватит! Таких, как они, надо отправлять прямехонько к палачу, иначе, черт возьми, его императорское величество не сможет ни одной ночи спать спокойно!

Судя по этим обрывкам, разговор должен был стать чрезвычайно назидательным и весьма прискорбно для судейской чести, что проклятому негру больше ничего не удалось расслышать.

Но когда за десертом корсиканское вино приподняло на терцию тон разговора, ставшего теперь шумным и бесшабашно веселым, легко было бы застенографировать следующее:

— Послушай-ка, милейший Ларжантьер, ты человек дошлый и с тобой не пропадешь; как бы ты вышел из такого затруднения? Завтра утром мне непременно надо уезжать, а вечером завтра у меня презаманчивое свиданьице.

— Очень просто, друг мой, я бы уехал и не пошел на свидание, или пошел бы на свидание и отложил отъезд.

— Сомнительное остроумие.

— Коли хочешь получить более веский совет а ргіогі,* то посвяти меня хоть отчасти в суть дела. Что это за свидание? С особой мужского или женского пола? По деловой части или по части волокитства?

— Женского пола и ближе к волокитству.

— Разрази тебя все громы папаши Дюшена!²⁷ Если ты не придержишься аристотелевского единства места,²⁸ то задача решается легко. Я бы прихватил *принцессу* с собой и завтра вечером оказался бы на свидании в Осере.

— А если бы недотрога разыграла Лукрецию?²⁹

— Тысяча чертей! Тогда я разыграл бы Юпитера, и хочешь не хочешь, а заставил бы прекрасную Европу последовать за собой.³⁰

— А что бы ты стал с ней делать на следующий день?

— Ничего. Оставил бы ее в Осере предаваться приятным воспоминаниям.

— Ну, в таком случае, что бы стала делать эта несчастная?

— Несчастливая! Напротив, очастливленная тем, что я нашел ей заработок!.. Ей бы оставалось только сесть в дилижанс, приехать сюда и поступить в кормилицы.

— Хватит паясничать, Ларжантьер!.. Нет, друг мой, это не девица, заслуживающая такого гусарского обхождения. Это бедненькая девочка.

— Верно, хнычет да сцены устраивает. Такие всегда пускают в ход слезы; это сирена, гамадриада,³¹ завлекающая чарами... в бездну.

— Я и туда за ней последую. Тот, кто хоть раз ее видел, уже полюбил, тот, кто увидит, — полюбит.

— И надо же так голову потерять!

— Не зарекайся, над чем посмеешься, того и наберешься.

— На каком погосте, старый стервятник, откопал ты эту свежинку и каким зельем, черт возьми, ты приворожил это диво?

— Что до ее расположения, тут мне пока хватать нечем. А уж находка-то хороша, что и говорить.

С давних пор бедняжка Аполлина живет в том же доме, что я. Я знал ее еще ребенком; она так мило приседала мне при встрече; одета она была богато и всегда со вкусом. Но как часто при виде ее омрачалась моя душа! Я проклинал холостяцкую жизнь и свое одиночество и завидовал радостной доле родителя, обладавшего столь прелестным дитятей. Теперь отцовство не представлялось мне уже в смешном виде, как в юности. Ее отец во времена консульства занимал довольно видную должность, приносившую достаток в их маленькую семью. Но он оказался каким-то образом замешанным в неблагоприятных делах, будто бы даже в каком-то

* Заранее (лат.).

заговоре, и вот в одно прекрасное утро явилась консульская полиция; его разбудили, забрали, и с тех пор без суда и следствия он томится в заключении как государственный преступник. Его императорское величество злопамятно. Процветание семьи кончилось с арестом отца. Аполлина, что ни год, все беднела да хорошела. Она входила в возраст, когда желание нравиться и потребность в украшениях живо дают о себе знать, а у нее не сохранилось уже ничего, кроме рваных платьев, стертой позолоты, следов былой роскоши. И все же в ее осанке оставалось что-то царственное и гордое. Увы! Как грустно было видеть такую красавицу, стыдливо таящуюся дневного света, завернутую в дырявую кашемировую шаль, со стоптанными туфлями на ногах, когда она спешила на рынок за овощами! Сердце мое обливалось кровью. Что может быть жалостнее и горше!

Если тебе смешно, Ларжантьер, посмейся надо мной, смеяться над нею было бы бесчеловечно!

— Мне смешно, Бертолен, слышать из твоих уст слова, столь противные твоим привычкам. И это говорит закоренелый холостяк, убежденный женоненавистник, в общем, человек устоявшихся взглядов! Не по тебе это все! Продолжал бы лучше роль отца Кассандра, для Арлекина³² ты уже староват.

— Ты решил меня оскорблять?

— Час от часу не легче; нет, положительно, ты влюблен!

— Ну, так что же! Да, я влюблен! И не постыжусь своей скромной любви, любви, внушенной жалостью, и благословляю небо...

— Или обходишься без его благословения!..

— ...которое сохранило мне свободу до этого часа, чтобы я мог опекать сиротку...

— Ты что, подписался на Шатобриана?³³

— ... чтобы я сделался ангелом хранителем всеми оставленной девушки и не дал ей погибнуть или пасть от нужды. Теперь она одна-одинешенька; ее несчастная мать умерла три месяца тому назад, изнуренная долгими годами лишений, а более всего видом дочерних страданий. Когда, услышав стенания Аполлины, я понял, что она теперь осталась одна на свете, я сразу же поднялся к ней утешить ее и предложил чем-нибудь помочь. Я взял на себя заботу о погребении и выхлопотал, чтобы мать ее похоронила мэрия. Впервые мне выдался случай говорить с Аполлиной. Не могу выразить, что я почувствовал, когда вошел в полупустую необустроенную комнату, когда девушка осыпала мне руки поцелуями и благодарила меня голосом полным слез. Я был сам не свой, не знаю, ничего не помню, я плакал!.. Стоя на коленях перед грубым ложем, припав к телу матери, обезумевшая от горя, она взывала к ней.

Этот час стоил мне десяти лет жизни!..

И великая жалость превратилась в великую любовь.

Я пришел навестить ее через несколько дней: она была в сильнейшем смущении и все время, пока я был у нее, неподвижно просидела, положив руки на колени; когда же она поднялась, чтобы меня проводить, я увидел, что платье у нее спереди все разорвано и что своими маленькими ручками она силилась прикрыть жалкую нищету.

Я стал усердно посещать ее, мне полюбились тихие и грустные ее речи, и я увлекся ее редкой красотой, потерял голову как юноша и признался ей в своей страсти. Она отвечала мне, что слишком меня уважает, чтобы допустить мысль, что я хочу воспользоваться ее бедственным положением, что она искренне верит в благородство и чистоту моих побуждений, но, приняв решение расстаться с миром, в котором столько выстрадала, она уже написала настоятельнице обители Святого Фомы, прося, чтобы ее приняли в послушницы. Мне стоило большого труда отговорить ее: я убеждал ее, что после перенесенного горя, которое так истощило ее силы, ей не выдержать суровой монастырской жизни. В конце концов она сдалась.

Я не обольщаюсь тем, что нежная Аполлина страстно в меня влюблена: она ласкает меня как отца, для нее я щедрый опекун, друг, исполненный сострадания. Она с особенной силой привязалась ко мне потому, что до сих пор ей приходилось встречать только людей себялюбивых, жестоких. Она добра, отзывчива, приветлива и рассудительна, чего мне еще желать? Гордо отвергла она все подношения и подарки, которые мне случалось ей предлагать; поступать так, говорила она, заставляет ее чувство долга, честная девушка не должна ничего принимать ни от кого, кроме как от своего будущего супруга. Поэтому я пообещал ей, что мы скоро поженимся. Эта мысль наполнила ее радостью. И вот я как раз попросил у нее свидания завтра вечером, в девять часов, с тем, чтобы условиться о свадебных приготовлениях, и как знать... Ты видишь, я не лгу, а вот и ее ответ.

«Дорогой мой Бертолен,

По всей вероятности, важные дела заставили вас избрать столь поздний час: но да исполнится воля моего супруга; раба его будет ожидать его приезда. Я потушу лампу, чтобы предупредить всякое подозрение со стороны недоброжелательных и нескромных соседей. Приходите тайно.

Ваш друг и супруга в душе».

Обдумав все, я решил уехать без предупреждения, дабы избежать тяжести расставания. Я чувствовал, что, если увижу ее, у меня не станет сил уехать. По прибытии я ей напишу; а как только устроюсь в префектуре, вернусь, тайно обвенчаюсь с ней и потом уже только привезу ее в Осер и представлю своим подчиненным как жену, чтобы разом пресечь всякие толки.

Завтра утром я непременно еду; но мне надо как-то передать ей деньги, чтобы бедняжка в мое отсутствие не умерла с голоду.

Уже одиннадцать!.. Прощай, прощай, Ларжантьер! — Бертолен поднялся и направился к дверям; прокурор, слушавший рассказ с холодным вниманием, мрачно и сдержанно проводил его и все время, пока они спускались с лестницы, продолжал свои расспросы.

— Так ты говоришь, Бертолен, что эта Аполлина хороша собой?

— О, друг мой, я много повидал на своем веку, но никогда не встречал такой чарующей прелести: представь себе Эвхаристу Бертена,³⁴ Элеонору Парни,³⁵ нимфу, Эгерия,³⁶ Диану! Высокая, стройная, изящная, бледная и задумчивая, точно страдаемая недугом; уложенные шапочкой волосы венчают ее девичью красоту, а из-за черных густых бровей томно глядят большие голубые глаза.

— Ты, кажется, сказал, что она живет в том же доме, где ты?

— Там же, в конце коридора, как раз над моей квартирой.

Тут Ларжантьер бросился на шею Бертолену и с жаром поцеловал его; нежность, которая не могла не показаться странной со стороны человека высокомерного и сухого.

II

WAS IST DAS? *

Девять часов затрезвонили у кармелиток, в Люксембургском дворце, в Сен-Сюльпис, в аббатстве О-Буа, в церквах Сен-Жермен-де-Пре, и весь этот нестройный хор колоколов вторгся в наступавшую тишину.

В это время какой-то мужчина незаметно проскользнул в богатый на вид дом на улице Кассет и, крадучись, поднялся по лестнице; на самом верху он вошел в темный коридор и остановился: из-за дверей доносился чей-то нежный голос. Прильнув ухом к замочной скважине, он услышал слова молитвы. Он тихонько постучал.

— Кто там?

— Откройте, Аполлина, то я!

— Кто это?

— Бертолен.

Она тотчас же отперла проклятую скрипучую дверь с петлями, скрежетавшими, как флюгарка.

— Добрый вечер, друг мой.

— Добрый вечер, моя красавица.

— Простите, что я принимаю вас не так, как положено, без свечей. Я ведь живу так бедно, что занавесок у меня нет и соседям из дома напротив все видно. Но почему же вы выбрали такой поздний час?

* Что это такое? (нем.).

— Днем у меня голова забита делами. К тому же яркий свет нимало не располагает к излишням: что такое любовь без темноты, без тайны?

— Мне не пристало вас осуждать. Я и сама нигде так не люблю господу, как ночами, в церковном полумраке. Вы что-то кашляете, друг мой?

— Ну да, околачиваясь в приемной у министра, я схватил насморк, а вдобавок еще и охрип, словом, извелся вконец.

— То-то мне показалось, что у вас глухой и изменившийся голос. Но поговорим серьезно, мой милый, зачем, скажите, отдавать наш союз? Если люди заметят нашу связь, обо мне пойдут сплетни.

— Терпение, милочка, терпение! Я только что получил официальное назначение в префектуру Монблана и завтра должен ехать; мне надо там обосноваться и, как только все устроится, обещаю тебе, что сразу вернусь и мы сыграем нашу тайную свадьбу; а потом мы тут же уедем из Парижа, и я тебя представляю моим подчиненным уже как жену...

— О, друг мой, я так счастлива!.. Но ты ведь уезжаешь ненадолго, не правда ли? Я буду очень страдать от разлуки с тобой.

— Маленькая законница, если бы ты знала, как я тебя люблю!

— Бертолен, что вы делаете? Не целуйте меня так!..

— Милая!..

— Вы очень уж вольно со мной обращаетесь сегодня, сударь!

— Любимая моя, я обращаюсь с тобой как с женой.

— С женой!.. Но ведь я вам еще не жена.

— Неужели, когда два существа любят друг друга, непременно нужна еще казенная печать, чтобы освятить их союз? Ведь закон только скрепляет. Мы любим друг друга навечно и мы в том поклялись: мы супруги; а если мы супруги, то за чем же дело стало?

— Всякая связь без божьего благословения греховна.

— Бог, как и закон, только скрепляет.

— Не смею перечить, я не искушена в ученых спорах. Не скрою своей слабости... Только будьте великодушны.

— Я великодушен.

— Пустите меня, Бертолен, сегодня вы не похожи на себя. Чего вы хотите?.. Ах! Нехорошо так глумиться над девушкой!.. Палац! Можно ли так мучить?.. Я закричу!..

— Кричи!

— Я буду топтать ногами, прибегут ваши слуги.

— Не прибегут.

— Ах! Ах! Это дурно, Бертолен!..

.....

 — Теперь, друг мой, ты станешь меня презирать, ты оттолкнешь меня, ты уже не захочешь взять в жены девушку без чести, неверную долгу.

— Не говори так, Аполлина, ты меня обижаешь. Верно ты считаешь меня совершеннейшим подлецом. Чтобы я тебя обманул! Нет, никогда! Это еще больше возвышает тебя в моих глазах.

— Ты меня еще любишь?

— И буду любить вечно.

— Но твой голос вдруг изменился, о небо! Ты ли это, Бертолен? О, я безумная... Какое роковое предчувствие!.. Неужели я обманулась!.. Это ты, Бертолен? Отвечай! Умоляю тебя, говори же, это ты, Бертолен? Это ты?.. Дай мне потрогать твое лицо. У Бертолена нет бороды! Боже мой, неужели меня обманули?

— Красотка, — сказал загадочный незнакомец полным голосом, — мораль этого та, что не следует принимать любовников без свечей.

Услыхав незнакомый голос, Аполлина замертво упала на пол.

Это был глубокий обморок. Придя в себя, она собралась с силами и едва слышно подползла к окну; скользнувший в комнату лунный луч осветил голову мужчины, спавшего в кресле крепким сном. Вся дрожа, Аполлина впиалась в него глазами: он был в черном и сидел, опустив бледное лицо, на которое спадали рыжие волосы. У него были впалые глаза, длинный острый нос, щеки окаймлены рыжими бакенбардами, срезанными под углом скобкой.

«Кто этот человек? — спрашивала себя несчастная. — Какой же негодяй Бертолен, это он подстроил мне весь этот ужас!.. Кому же после этого верить? Ах! Как это чудовищно — учинить подобный обман!».

На груди у незнакомца она нащупала бумажник; она бы отдала все на свете, чтобы завладеть им, надеясь изобличить таким образом своего соблазнителя; но это было невозможно; фрак его был застегнут на все пуговицы.

В смертельной тоске она проклинала Бертолена и бога.

Наконец, изнемогая от горя и отчаянья, она свернулась на увлажненном слезами полу и забылась сном.

Когда она проснулась, солнце светило вовсю. Кресло опустело; она была одна, с глазу на глаз со своим позором.

III

MATER DOLOROSA *

Днем к Аполлине пришел привратник; он потихоньку вручил ей кошелек с деньгами, который оставил ему Бертолен, опасавшийся, чтобы несчастная девушка не погибла от нужды до его возвращения.

* Скорбящая мать (лат.).

— От кого это? — спросила Аполлина.

— Знать не знаю, сударыня, какой-то незнакомый человек велел передать вам это и ничего больше не сказал.

— Верните эти деньги.

— Не могу никак. Велено передать девице Аполлине.

— Верните, говорю вам!

Старик-привратник был озадачен. Гордая благородная девушка решительно отказывалась от денег, заподозрив в душе, что это плата за бесчестье и что ночной посетитель рассчитывался с ней, чтобы тем еще больше оскорбить ее и унижить.

Но привратник, пробормотав извинения, оставил кошелек на столе и поспешно удалился.

Весь день Аполлина была в напряженном ожидании. Она все прислушивалась, не донесется ли снизу из квартиры Бертолена какой-нибудь шум, стук шагов, передвигаемой мебели, открывающихся дверей или окон, но напрасно. Несколько дней подряд прислушивалась она к каждому шороху, но так ничего и не услышала. Наконец, она даже отважилась однажды вечером спуститься и постучать; никакого ответа: Бертолен увез с собой слуг.

Дело становилось еще запутанней, и бедная Аполлина совсем потеряла голову: — Может быть, он съехал с квартиры, — говорила она себе, — но я бы услышала; может быть, он уехал совсем из Парижа? А накануне отъезда устроил в сообществе с кем-нибудь из друзей эту гнусную проделку... О, нет! Это невозможно. Это значило бы, что он лжец и негодяй. Нет, нет. Бертолен чуток, правдив. Кто мне все это разъяснит? — В своей растерянности она доходила до сомнения в себе самой и спрашивала себя, уж не обманули ли ее глаза в потемках и не был ли это сам Бертолен, причудившийся чужим ее больному воображению. — И все же то были не его черты; мне не померещилось; все же это был не его голос, не его обхождение, всегда такое изысканное. О, нет! То был не он!

Около недели спустя Аполлина получила письмо со штемпелем Монблана; оно было от Бертолена, и вот что в нем было написано:

«Простите, прелестная моя невеста, что я уехал не переделовав ваши ручки; мне хотелось избавить нас обоих от тягостного прощанья. Вызванный в префектуру Монблана, я поехал, чтобы вступить во владение своим царством. Надеюсь примчаться к вам раньше, чем через две недели, чтобы мы могли потихоньку обвенчаться и тотчас же приехать сюда, где, по-моему, вам должно понравиться. Вы, разумеется, не отвергли по неуместной гордости небольшую сумму, которую должно было вам передать неизвестное вам лицо; вы — моя супруга, и меня бы мучило сознание, что вы испытываете лишения».

Письмо это лишь усугубило терзания Аполлины; после стольких сердечных заверений она уже не решалась обвинить Бертолена в черном вероломстве; и, однако, в назначенный час свидания другой, осведомленный обо всем человек явился его именем совершить над нею насилие. Непроницаемая тайна! Самым допустимым объяснением было то, что записка ее по ошибке попала в чужие руки.

Через некоторое время после первого письма Бертолена она получила второе, в котором тот сообщал, что, будучи перегружен непредвиденной работой, вынужден отложить свой приезд.

В эту пору Аполлина стала чувствовать какое-то недомогание. Всякая пища внушала ей отвращение, часто случались рези и рвота; это сильно ее тревожило. Доктор посоветовал ей лечиться шафраном, но это не принесло облегчения; тогда он объявил ей без обиняков, что она беременна. При этом известии Аполлина пришла в ужас; отчаянье ее не знало границ. Дни и ночи напролет она горько плакала. Ее положение становилось невыносимым. Наконец Бертолен известил ее о своем возвращении, и с часу на час она ожидала, что с ним свидится. Что делать при этом роковом стечении обстоятельств? Скрыть правду и дурачить жениха было бы делом нелегким и бесчестным; все выложить начистоту означало все потерять, и тем не менее ее тонкие понятия не позволяли ей иного выбора. Поэтому она решила сразу по его приезде во всем ему повиниться без утайки и надеялась, что он благородно простит ей непоправимую ошибку, совершенную ради него и по его вине.

Наконец Бертолен появился, ему сразу же бросилась в глаза происшедшая в девушке перемена; она становилась печальной и натянутой в его присутствии, ее прекрасное лицо исхудало и осунулось. Он окружил ее такой лаской и любовью, что, несмотря на свою твердую решимость, Аполлина все же не посмела приступить к объяснению: много раз слова признания замирали на ее дрожащих губах, она не отважилась причинить боль человеку, столь беззаветно в нее влюбленному. Бертолен и сам тревожился и не знал чему приписать, что она так много плачет.

Но вот пришло время нанести удар: приготовления были закончены и необходимые шаги предприняты; венчание назначили на следующую субботу; в полночь в Сен-Сюльпис при двух-трех свидетелях они должны были получить церковное благословение и в ту же ночь уехать.

В четверг вечером Бертолен пригласил Аполлину сойти к нему вниз и радостно ввел ее в гостиную: столик и софа были усыпаны тканями и шальями, нарядами и драгоценностями.

— Вот подарки, красавица моя, которые вам преподносит ваш покорный супруг в надежде, что они доставят вам удовольствие.

Аполлина вдруг разразилась рыданиями и недвижно остановилась в дверях.

— Что с вами, дорогая? Подойдите ближе, это все вам. Нравится вам голубое бархатное платье в стиле Марии-Луизы, вот этот золотой крестик, коралловые браслеты, переливчатый кашмир? . .

Тут Аполлина, как подкошенная, упала вдруг на колени.

— О, Бертолен! Бертолен! Если бы вы знали!

— Что с вами, дитя мое?

— Если бы вы знали, как я недостойна всего этого. Господи, я должна во всем ему повиниться! Я не умею обманывать, Бертолен! О, если бы вы знали! Вы бы с презрением отринули от себя ту, кого зовете своей супругой.

Он окаменел от ужаса.

— Послушайте, может быть, это вы — виновник моего преступления? Смотрите же!!!

При этих словах она сорвала с себя шаль и платье в складках, прятавшие ее положение.

— Смотрите же! Неужели я должна еще говорить о своем позоре? . .

— Проклятье! Вы беременны, Аполлина? А! Какая низость так обманывать щедрого старика! Так вот она, супруга, девочка, которую я подобрал из жалости! Нищенка, которую я захотел возвысить. . . Потаскуха!!!

— Лучше тысячу раз умереть! — кричала Аполлина, ползая у его ног. — Но выслушайте меня, ради бога, вы еще успеете убить меня. Выслушайте же меня, друг мой! Выслушайте всю правду!

— Замолчишь ли ты, наглая?

— Видит бог, я невинна и это ваш грех, я ведь была чиста, пока не познакомилась с вами. . .

— Мерзавка!

— Я ведь была чиста, когда вы избрали меня в супруги, вы сами сгубили меня. Но слушайте: перед вашим отъездом вы попросили у меня свидания однажды вечером у меня на дому, и я согласилась. В девять часов раздается стук в дверь, я отворяю и принимаю в потемках; я была уверена, что это вы, мой Бертолен! Этот злой дух подражал вашему голосу и обманул меня. После долгой борьбы я пала, думая, что отдаю вам. . . Он взял меня силой! . .

— Вы лжете, Аполлина! . .

— Когда это чудовище наглумилось надо мною вволю, он сам вывел меня из моего заблуждения. При лунном свете я различила его черты, он был бледен, у него были рыжие волосы, рыжие бакенбарды, впалые глаза, он был высокого роста и одет во все черное.

— Аполлина, все это ложь!

— Друг мой, поверьте мне!

— Все это ложь!

— Клянусь вам вот этим распятием, памятью матери, которая слышит меня на небесах.

— Все это ложь!
— О, друг мой, поверьте мне!
— Ложь, ложь!
— Я ведь думала, что это я вам отдаю свою ласку, а вы еще так поносите меня!.. Это вы же меня погубили!..
— Ложь, ложь!
— Вы потеряли мое письмо: не иначе, как это какой-нибудь ваш приятель...
— Ложь, ложь!
— О, друг мой!
— Прочь с глаз моих!.. Ну, и поделом же тебе, простачок Бертолен, в пятьдесят лет изменить своим правилам — перестать ненавидеть женщин, чтобы ползать у ног продажной девки! Жестокый урок! Но что за низость! Подумать только!.. Вон, вон отсюда, или я растопчу тебя, как все эти фермуары. Прочь, не доводи меня до убийства! Вон отсюда, по-таскуха, продажная тварь!!!

Аполлина хрипела на полу. Бертолен схватил ее за ноги, протащил по полу и выпихнул за дверь, а сам тут же уехал из Парижа.

IV

МОИСЕЙ, ИЗ ВОД СПАСЕННЫЙ

Ничто так не ожесточает, как несправедливость, ничто не может заронить в сердце столько горечи и ненависти. Бертолен казался Аполлине неправым, Аполлина казалась Бертолену виновной, весь свет признал бы за ней вину. Достаточно несчастного стечения обстоятельств, чтобы любой невинный сделался виноватым. Люди настолько неадекватны, что в основе их суждений лежит лишь видимое, возможное. Преступления похожи на туго набитые тюки: судья определяет содержимое по обертке, а когда своим приговором он бракует его, запрещает к употреблению и велит бросить в море, — тюк этот при падении разбивается о скалу. Тогда все, что было скрыто, всплывает на поверхность воды и предстает в ярком свете; вздорность суда становится явной и вызывает горькую насмешку толпы, после чего судья закутывается в свою тогу и возвещает с потешной важностью жреца: я непогрешим!

Снедаемая смертельным горем, Аполлина постепенно худела и таяла день ото дня. Еще несколько месяцев тому назад такая красивая, теперь же осунувшаяся, изможденная, она выходила только, когда становилось совсем темно, как привидение, дабы избежать косых взглядов.

Соседи почли бы ее мертвой, если бы время от времени она не брнчала на расстроенном рояле, заменявшем ей стол, жалком осколке бывлой

роскоши. Им даже запомнились две строфы, которые заунывно напевала Аполлина и которые, должно быть, особенно ей полюбилися:

Палач, остановись, не требуй
 Раскаянья: я смерть приму!
 Проклятье вам, земля и небо!
 Проклятье богу самому!
 Иль лучше пытка, до предела,
 До иступленья. Легче мне:
 Покамест содрогалось тело,
 Я душу отдал Сатане! . .

Строфы эти свидетельствуют об образе мыслей Аполлины и о том, что страдание и скорбь могут сломить чистейшую душу; кроткая, добрая, благочестивая, любящая, доверчивая, набожная, она теперь затаила горечь в сердце и яд на губах. Она возненавидела все, даже творца, от веры в которого она отреклась. Она мстила богу тем, что оставила его так же, как он оставил ее. Тому, с кем судьба так жестоко обошлась, остается только дьявольская усмешка на искривленных презрением губах, все сущее внушает ему жалость и вызывает в нем отвращение; чем предмет священнее и выше, чем более всеми чтим, тем бóльшую радость черпает он в его унижении и попрании. В богохульстве страдалец находит какое-то горькое сладострастие.

Беременность Аполлины близилась к концу, а нищета становилась все безысходней. Первые восемь месяцев ее еще поддерживала та небольшая сумма, которую ей прислал Бертолен. Теперь у нее уже ничего не осталось. По вечерам она ходила рвать сорняки по обочинам пустынных дорог, но этот подножный корм, столь неподходявший ее нежной натуре, так ослабил ее, что к концу девятого месяца она уже была не в силах спуститься по лестнице. Такое воздержание, можно сказать полное, довело ее до обмороков и постоянных головных болей; временами она теряла рассудок. Бред ее был мрачен. Ее мучили жестокие рези в животе и нередко у нее случались припадки падучей. Уже два дня у нее куса во рту не было, а теперь вот начались родовые схватки. Растянувшись на убогом ложе, терзаемая голодом, она грызла свиную кожу старинного переплета, лишившаяся рассудка, изможденная. . .

Ее мрачное безумие встрепенулось вновь, когда она увидела ребенка, и это придало ей силы: поднявшись на ноги, она то целовала, то колотила его; она совала ему свои пустые груди, она швыряла его на пол, а потом, плача, бросалась его обнимать.

Наконец, обернув его холстиной и зажав под мышкой, как сверток, она поплелась вниз по лестнице, едва передвигая ноги.

Было темно.

Около двух часов после полуночи Эрман Бузембаум, винодел из Вожирара, отправился на рынок. Он проезжал по улице Дюфур, взгромоз-

дившись на свою повозку и насвистывая веселую песенку. Возле одного из грязных и глухих переулочков, ответвлявшихся от улицы, он вдруг услышал плач младенца. Винодел перестает свистеть, что-то выкрикивает на провансальский лад и прислушивается. Плач продолжается и как будто исходит из соседней канавы. Он спрыгивает на землю, прикладывает ухо к отверстию сточного люка и испуганно пятится назад.

Он тут же бежит известить охрану тюрьмы Аббе о необыкновенном происшествии. Комиссар случайно оказался на месте: он выговаривал двум девицам легкого поведения, задержанным за то, что они пырнули ножом своего клиента. Он тотчас же возглавил патруль, а Эрман Бузембаум показывал дорогу несшему фонарь капралу. Когда они прибежали к канаве, все было тихо и слышалось только журчанье стекавшей воды. Солдат, большой насмешник, начал уже язвить, что Бузембауму все это почудилось со страху, а представитель власти с перевязью через плечо готов был ругать незадачливого простака за то, что тот заставил его понапрасну прогуляться. Но тут плач возобновился с новой силой и еще громче, патрули вздрогнули, а у капуцинок зазвонили в колокола. Капрал, который нес фонарь, осветил сточную канаву и, нагнувшись, увидел засунутый с краю белый сверточек, из которого доносился жалобный писк. Один из сторожей приподнял его штыком и выволок наружу.

Тогда Бузембаум и комиссар, подобно дочери фараона,³⁷ развернули холстину и обнаружили новорожденного младенца.

— Боже милостивый! Право же, этот новобранец ловко открутился от высшей кары! — воскликнул караульный.

— Бедное ты мое дитяtko! — растроганно твердил старик Бузембаум.

— Да, вот пример, когда для детей действительно несчастье иметь родителей, — сказал смазливый капрал.

— Господа, — изрек тогда проницательный комиссар, став в позу калифа, — совершено преступление. Произведем расследование. — И он принялся осматривать младенца, на теле которого, однако, не оказалось никаких серьезных повреждений.

К вящей радости армейских после основательного обследования, достойного того, чтобы его утвердила сама академия, он был большинством голосов признан мужеского или среднего пола; довольная улыбка скользнула по губам Бузембаума.

— Куда же вы денете малыша? — спросил он комиссара. — У меня, как нарочно, хозяйка на сносях, да вот три раза подряд все мертвые рождались, так она убивается, что детей нет. Кабы вы мне его препоручили, я бы мигом его домой отнес, вот бы ей утешенье было. Мы бы его на место сына взяли.

Но когда он брал ребенка, чтобы сесть с ним в повозку, тот внезапно вытянулся и тут же испустил дух. Комиссар заметил тогда капельки крови и, приблизив фонарь, обнаружил, что следы тянутся вдоль

по улице, и приказал отряду следовать за собой. Капли эти, хоть и на большом расстоянии друг от друга, навели их на верный след. Дойдя до улицы Берьер, они исчезли, чтобы вновь появиться на улочке, примыкающей к Вье-Коломбье, и таким образом, продолжая свой путь, шествие достигло улицы Кассет, на которой тоже были заметны пятнышки крови. Наконец, они привели их к какому-то подъезду.

— Это здесь, господа, — закричал комиссар, — идемте!

Капрал постучал несколько раз молоточком.

— Именем закона, отворите! — вскричал он, ударяя прикладом ружья. Перепуганный привратник открыл дверь.

— Боже ты мой, господа, что случилось? Что вам угодно?

— Пойдете с нами. Мы пришли сделать обыск. Ага, вот опять кровь показалаась, глядите! Следуйте за мной.

Они поднялись на самый верх по лестнице и вошли в коридор, где следы крови опять обрывались у каких-то дверей.

— Кто тут живет?

— Тихая девушка скромного поведения.

— Отворяйте же, именем закона!.. Капрал, велите взломать дверь!

Створки двери сразу же распахнулись под натиском прикладов, и при свете фонаря жадным взорам, устремленным в комнату, предстала иссохшая бледная женщина, распростертая на полу в луже крови.

Ее подняли, она еще дышала.

Воротившись домой, Аполлина потеряла сознание, обессилев от проделанного пути и огромной потери крови.

Ее перенесли на носилках в уют родильниц, прозванный попросту Бурб.

V

VERY WELL *

На утро во всем Париже только и было толков, что о ребенке, брошенном в канаву, и газетчики целой процессией обходили город, продавая за су точнейшие подробности чудовищного детоубийства, совершенного в сен-жерменском предместье³⁸ девушкой из хорошего дома.

Это происшествие исполнило ужасом горожан, которым не терпелось присутствовать на суде, чтобы поподробнее узнать дело; злопамятные мешане заранее ликовали, предвкушая, что увидят девушку из благородной семьи на скамье подсудимых и на плахе.

В приюте вначале не надеялись, что Аполлина останется жива, но ее окружили исключительною заботой — по просьбе судейских, опасавшихся,

* Отлично (англ.).

что смерть без них порешит дело и присвоит их право палачей. К концу недели Аполлина немного окрепла и сознание к ней вернулось.

Она удивилась и огорчилась, узнав, что находится в больнице. У нее не осталось ни малейшего воспоминания о том, что с ней произошло; так пьяница, пробудившись, ничего не помнит о безумствах, которые он сотворил в пьяном виде. Она принялась расспрашивать, ей отвечали уклончиво. Когда она совсем выздоровела, ей объявили, что ее переведут в тюрьму Форс.

— В Форс? — воскликнула она, — но за что же?

— По обвинению в детоубийстве.

— Меня! Да вы с ума сошли!

— Вы бросили вашего ребенка в канаву.

Тогда Аполлина, совершенно потрясенная, схватилась за живот и, словно внезапно очнувшись ото сна и припомнив все, похолодела и за-мертво повалилась на каменный пол.

Когда она пришла в себя, она была в узкой и темной тюремной камере.

Судебное следствие тянулось долго; и вот после четырехмесячного тюремного заключения, где она соприкоснулась со всем, что есть наиболее зловонного и развращенного на дне общества, она предстала наконец перед судом присяжных. Жажда скандала привлекла бесчисленную толпу любопытных, рвавшихся поглазеть на красавицу-детоубийцу из сен-жерменского предместья. Молва гласила, что красота ее не уступает жестокости. Окна торговцев эстампами были уставлены портретами, якобы написанными с прекрасной Аполлины, в которых было не больше сходства, чем в портретах Элоизы³⁹ или Жанны д'Арк: на одном она напоминала госпожу де Лавальер,⁴⁰ на другом — Шарлотту Корде,⁴¹ на третьем — Жозефину,⁴² но публика, которая любой ценой хочет быть обманутой, была очень довольна.

Дворец Правосудия был до того переполнен, что можно было бы подумать, что писцы на своем мраморном столе готовят разыграть мистерию. Поднялся ропот неудовольствия, когда чиновники объявили, что по требованию судей заседание будет проводиться при закрытых дверях.

Вскоре в залу ввели Аполлину; ее юность, женственность, грустный и скромный вид, певучий голос и весь ее облик произвели сильное впечатление на зачерствевших судей.

Чтобы не скомпрометировать Бертолена, она показала, что какой-то человек, совершенно ей неизвестный и которого она никогда более не встречала, однажды вечером проник к ней и совершил насилие. Что касается преступления, которое ей вменяют в обвинении, она признает, что это могло быть, но она ничего об этом не помнит и что, лишенная пищи в течение нескольких дней, она, должно быть, была в состоянии полного безумия, когда наступили роды.

Из пяти докторов, призванных дать заключение о ее душевном состоянии, только один подтвердил безумие, четверо его отрицали.

В ту минуту, когда общественный обвинитель, г-н де Ларжантьер, поднялся и начал свою цветистую речь, Аполлина, пораженная знакомым звучаньем голоса, обратила к нему взоры и тотчас, пронзительно вскрикнув, упала без чувств.

Никогда обвинительная речь не бывала неистовее и бесчеловечней: господин де Ларжантьер не упустил ничего, чтобы изничтожить обвиняемую. Он так далеко зашел в своей безудержной ярости, что приравнял ее к Сатурну, пожирающему собственных детей,⁴³ и под конец потребовал ее казни.

— Не позволяйте соблазнить себя, — воскликнул он, — прекрасной внешностью этого чудовища в образе матери; и олеандры ведь напитаны тонким ядом, в красоте нередко таится коварство; не дайте себя разжалобить, господа! Чтобы в корне пресечь детоубийство, нужен пример. Будьте же неумолимы, господа, этого требует справедливость!

Адвокат Аполлины защищал ее с редким талантом; его речь исторгла бы слезы у тигров, но суд остался холодным; и обвинитель приступил к своему свирепому заключительному слову.

Когда к бедной Аполлине вернулось сознание, она порывисто вскочила и стала грозить кулаком обвинителю г-ну де Ларжантьеру.

— Это он! — вскричала она, — это он, я узнаю его голос, это он! Тот самый человек, что говорит сейчас. Я разглядела его при лунном свете, бледного с багровыми пятнами на щеках, с запавшими глазами...

Тут она разразилась слезами, прерываемыми стенаниями.

— Девочка обозналась, — холодно заметил господин де Ларжантьер, чье унылое лицо не выразило ни малейшего волнения.

— Уведите обвиняемую и перейдем, господа, в зал заседаний, — объявил председатель.

Через четверть часа заседатели вернулись в залу суда, присяжные ответили утвердительно на все поставленные вопросы, и председатель огласил окончательный приговор: Аполлину приговорили к смертной казни.

Она выслушала приговор с достоинством и только сказала, обратившись в сторону общественного обвинителя:

— Тех, кто посылает меня к палачу, самих бы следовало послать туда!

Защитник в растерянности плакал, хватался за голову; потом он заключил ее в объятия и расцеловал к великому возмущению судейских, осведомившихся, не желает ли она обжаловать приговор.

— Да, — отвечала Аполлина, — но только на божьем суде.

Наутро к ней прислали священника, чтобы подготовить ее; он от нее уже не отходил. Аполлина простодушно рассказала ему свою историю, и бедняга, убедившись в ее невинности, плакал в отчаянии; тот, кто пришел ее утешить, оказался еще слабее и безутешнее.

— Несчастливая страдальца, — говорил он, целуя ей ноги, как целуют раку с мощами.

Он не посмел даже заговорить с ней о своем справедливом и милосердном боге; провидение слишком себя опорочило злосчастною жизнью этой девушки.

В четыре часа ночи тюремщик поднялся, чтобы предупредить ее. Когда ее одели, она сошла вниз, поддерживая своего исповедника.

Тележка тотчас тронулась. Казалось, что весь Париж высыпал на улицу, заполнив пространство от Дворца Правосудия до Гревской площади. Жадные до зрелищ зеваки усеяли дома сверху донизу; никогда казнь не собирала большей толпы народа.

— Вот она! Вот она! — повторялось из ряда в ряд.

Как прекрасна была с высоты своей повозки бедная обездоленная Аполлина! Сколько достоинства! Сколько покорности судьбе! Лицо ее было бледнее облачавшего ее покрывала, а волосы — чернее рясы священника, плакавшего рядом. Она обвела толпу печальным взором: мещанки грозили ей кулаками, а умиленные молодые люди посылали ей воздушные поцелуи.

Наконец повозка въехала на Гревскую площадь. Когда Аполлина вошла на помост, она заметила в окне господина де Ларжантьера, холодно разглядывавшего ее; она испустила долгий крик ужаса и упала без сил на руки помощника палача.

Тут вдруг поднялась общая суматоха в толпе, и все пришло в движение. Полил дождь.

— Закройте зонтики, не видать ничего, — кричали со всех сторон. — Закройте зонтики, — восклицали женские голоса, — сделайте милость, господа, ничего не видать!

Весь сброд, вытянув шеи, поднялся на цыпочки.

Когда нож упал, по толпе пронесся глухой гул, а какой-то англичанин, высунувшись из окна, нанятого за пятьсот франков, протяжно прокричал «very well» и от удовольствия захлопал в ладоши.

ЖАК БАРРАУ, ПЛОТНИК

Г А В А Н А

Ибо крепка, как смерть, любовь;
люта, как преисподняя, ревность.

*Библия*¹

Черна я, но красива, как шатры
Кидарские, как завесы Соломоновы.

*Библия*²

Ах! Зачем эта ревность? . .

*П. Л. Жакоб, Библиофил*³

I

PESADUMBRE Y CONJURACION *

Был воскресный день; об этом говорила тишина селений, веселый вид и белые одежды рабов, которые проходили вдали и не хрипели под своей непомерною ношей. Несчастные! Не хватало еще навесить им колокольчики, как мулам. Это были часы сестры, и солнце светило ослепительно; меж тем плотник Жак Баррау, огромный крепкого сложения негр, вышел посидеть у входа в хижину, словно втиснутую в самую бухту, где стояли на якоре две рыбацьи шлюпки и неаполитанская баланчелла, которую чинили. На берегу валялись бревна, чурбаны и доски.

Жак Баррау не успел еще снять полосатой рубахи и рабочего платья; однако, будучи человеком глубоко верующим, он не работал, — в такой день это было бы смертным грехом. Он был бос. Во всем обличье его сквозила небрежность, никак не вязавшаяся с его энергической повадкой. Из-под курчавых черных волос сверкали большие белки глаз; он то и дело оглядывал море и окрестности, много раз возводил глаза к небесам, а потом начинал пристально смотреть на Гавану, мигая, затягиваясь длинной сигарой и презрительно выпуская изо рта клубы синего дыма.

Было бы трудно объяснить движения и порывистые вздохи этого человека; взгляд его, печальный и угрожающий, останавливался то на широком Антильском море,⁴ просторы которого он, казалось, силился изме-

* Обида и тайный замысел (исп.).

ритель, то на городе, и это наводило на мысль, что он погружен в мечтания, что сердце его охвачено тоской по родине, той страстной любовью к далекой отчизне, которую ничем нельзя излечить. Тоска эта еще и по сей день заставляет старых канадцев, согнувшихся под унижительным игом англичан, проливать слезы при одном лишь имени своей прежней родины, и, томимые ею, они иной раз с отвращением отталкивают от себя своих юных соотечественников, говорящих на грубом языке порабощителей, который так раздражает их слух.

Негр словно измерял взглядом расстояние от американского берега до родной Африки и проклинал европейских дикарей, которые завезли его сюда, выменяв у работорговца на какую-нибудь пилу или саблю.

Можно было бы с головой погрузиться в эти горькие мысли, и, однако, все это нисколько не тревожило Баррау, истого сына Кубы, в котором от Африки были только обличье и душа. Но вот он отшвыривает прочь недокуренную сигару, поднимается и снова грузно садится, отрывисто цедя сквозь зубы хриплые односложные слова, которые звучат, как грубые ругательства. Он лягал зубами, бился головою о стену; наконец, как будто успокоившись, он стал плачущим голосом причитать:

— Ревность, ревность! Как ты меня мучишь! Как ты меня истязает, ревность!.. О, будь он проклят, будь проклят Жак Баррау! В груди у меня печет, будто я наглотался кубебы⁵ с перцем. Ревность! Ты вгрызаешься мне в сердце зубами и жалишь меня как змея! Только я вздумая оттолкнуть тебя, как ты впиваешься в меня еще упорнее. Оттолкнуть тебя? Надо бы, да только как?.. Они мне и сомнений не оставили; вечером, когда я возвращался из города, в третий раз я видел, как он убежал; ясно, что убежал из моего дома... Да, я его видел, подлого Хуана Касадора.⁶ Чего ты крутился возле моей Амады?⁷ Чего ты хотел... О, я еще слишком добр!.. А кто мне поручится за Амаду? Нет, нет, моя Амада, ты чиста, не правда ли?.. И, однако, можно ли этому верить?.. Женщины так лукавы. Жестокая судьба! Томительная неопределенность! Скоро я разрешу ее или порешу с собою. Предатель! И я еще звал тебя моим Хуанито; ты, кто знал меня мальчишкой, когда я был таким, как вот эта козочка! Сколько раз мы засыпали с тобой мертвецки пьяные на одной циновке далеко за полночь; ночи напролет душевных излияний и мечтаний слаще тех, что являются в сновидениях! Сколько мы выпили вместе тафьи!⁸ Сколько выкурили сигарет!.. Далеки те времена, бедняга Баррау! Да, в молодости ты погулял, а теперь, когда ты уже спорбился, как твой отец, придется тебе поплакать.

Как несправедливы люди! Возжелал ли я когда чужой жены? Так за что же мою обхаживают тайком? Я беден; у меня ничего нет, у меня была только одна Амада. Видно, мне, несчастному, уже ничем не придется владеть на этой земле, пришел черед расплачиваться за все. Ничем! Даже тою, что я избрал среди тысяч! Ах! Не слишком ли я поверил во все худое?.. Хитрая слежка, засада смогут мне все открыть: если это

ошибка, если я обманулся, я вновь обрету покой; но если... тогда мщение!.. Santa Virgen! * Помоги мне, и завтра все будет сделано, — внезапно он притих, нагнувшись и напрягая слух, точно вдруг послышался какой-то шум; он обдернул рубаху и застыл, притворившись совершенно спокойным; из хижины стремительно выбежала молоденькая женщина и, подойдя к нему, оперлась о его плечо.

О, сколь она мне показалась красивой и сколь достойной лютой страсти Баррау! Не знаю, был ли я ослеплен этой роковой любовью, этим симпатическим притяжением, влекшим меня неизменно к цветным женщинам, которые являлись всегда мне как воплощения африканской красоты; мальчишкой еще я прельщался объятьями негритянок и оставался холоден к ласкам наших креолок. Какой она мне показалась красивой! Стройная, заливающаяся радостным смехом; цвет кожи ее говорил о смешанной крови; таких вы презрительно называете мулатками; черты ее были тонки и очерчены, как у арлезианок, а глаза живые, миндалевидные. Вокруг головы она изящно обвила муслиновый тюрбан; коралловые подвески покачивались в ушах; монисто из венецианских медяков как бы подчеркивало золотую чертой изгиб ее тонкой шеи; тонкие пальцы были унизаны драгоценными кольцами; коротенькая саяя⁹ из бумажной ткани открывала округлые колени и ножки Золушки, обутые, правда, лишь в испанские деревенские esparteñas.**

— Что ты там делаешь? — спросила она, отстраняя рукой длинные волосы и касаясь губами низкого лба Баррау. — Так поздно уже, а ты все еще не одет? Непокойно мне за тебя, мой Жак, ты такой грустный, что с тобой? Поделись со мной всеми твоими огорчениями, скажи все, доверься мне!

— Ничего не случилось, уверяю тебя, может быть, это просто, от жары.

— Нет, ты что-то скрываешь! Ты говоришь, точно во сне, точно ты engolfado.*** Будто я своими ушами не слышала, как ты только что разговаривал сам с собой, ссорился, жаловался на что-то вслух.

— Согazon mio! **** Ты ошибаешься, я напелал, думая, что ты отдыхаешь, я мурлыкал тихонько твой любимый напев:

Paхарито que vienes herido
Por las balas del cruel Cazador,
Cesa, cesa tu triste gemido,
Mientras duerme mi dulce amor.*****

* Пресвятая дева (исп.).

** Плетеные туфли (исп.).

*** Погружен в мечтания (исп.).

**** Сердце мое (исп.).

Как ты жалобно стонешь, пташка,
Знать, охотник пулю всадил.
Не пищи, не пищи, бедняжка,
Мне любимую не буди! (исп.).

— О, как вы добры, мой Жак, к своей Амаде: вы даже соблаговолили о ней подумать.

— Вы благоволили любить меня; но хватит об этом. Не угодно ли тебе приготовить к вечеру хороший ужин? Угощение на славу! Я хочу пригласить Касадора!

— Касадора... Зачем?

— Зачем? Глупый вопрос! Что ты находишь тут странного? В первый раз, что ли, наш друг обедает с нами?

— Ничего странного; только ты не в духе, ты сегодня такой мрачный, что уж, конечно, его ждет холодный прием.

— Ну и что же, зато хозяйка примет его потеплее! Позови сюда Пабло. Он, верно, где-нибудь на дворе, я только что его видел, он там с твоим старым псом Спалестро играл; сходи за ним.

Мои страшные предчувствия еще раз подтвердились. Как она покраснела при одном его имени! Как смутилась! Как была поражена! И эта обычная женская хитрость — напустила на себя холода, у самой сердце запрыгало от радости!

— Хозяин, ваша милость звали меня; что вам угодно?

— Вот что, Пабло, возьми-ка в сундуке пачку табаку, потом сходи за Хуаном Касадором, — он у своего хозяина, Гедеона Робертсона, — отдай ему это от моего имени и пригласи поужинать сегодня вечером с его другом Жаком Баррау; торопись и, смотри, без него не возвращайся. Ступай с богом.

II

EL CORAZON NO ES TRAYDOR *

Когда маленький Пабло убежал, Баррау вернулся в хижину. Амада приготавливала вечернюю трапезу, он умылся и принарядился. Затем, сняв ружье, висевшее на стене над лепными изображениями и образами святых Иакова Галлисийского и мадонны в покрывале, он принялся чистить его с какой-то мрачной радостью; Амада заметила это.

— Чего это ради ты возишься с ружьем? — обратилась она к нему.

— Просто так, дорогая моя, хочу ржавчину отчистить.

— А! Только и всего, что отчистить ржавчину; зачем же тогда заменяешь кремь? Боже мой, Santa Virgen! Что это ты делаешь? Порох! Пули! Хочешь зарядить? Это неосторожно, не надо, прошу тебя; может случиться беда, кто-нибудь наткнется.

— Беда... Может быть!..

— Но зачем все это, — ответь?

* Сердце не предает (исп. — *Здесь и дальше в старинной орфогр.*).

— Зачем! Тебе хочется знать? Ну что ж, — я должен завтра поехать в глухие места, дров надо закупить; дороги кишат разбойниками; без ружья лучше не ходить. Амада, а где мой cuchillo? * Он был тут, но я что-то его не нахожу.

— Вот он, милый, но зачем тебе понадобился еще и кинжал? Все для тех же разбойников? . .

— Это уж как господь приведет!

Выслушав все эти тирады Баррау, Амада без единого слова закончила стряпню и накрыла стол для ужина. Муж ее прохаживался перед хижиной взад и вперед большими шагами и время от времени с нетерпением поглядывал вдале. Взволнованная и расстроенная, Амада продолжала заниматься хозяйством, ее терзали самые разноречивые мысли, множество догадок, одна страннее и нелепей другой. Она отдала бы самую сладострастную из своих ночей и даже свои золотые четки, чтобы только поскорее наступил завтрашний день или чтобы суметь что-то прочесть в самых сокровенных уголках сердца Баррау. Много раз у нее вырывался глубокий вздох: «Alma de Dios! ** Сохрани рабу твою. Ангел хранитель, отведи руку Баррау, как ты удержал руку отца нашего Авраама! . .».

Пабло нашел Хуана Касадора, когда тот собирался на танцы и с увлечением наигрывал что-то на своей надтреснутой мандолине, из которой доносились гнусавые звуки.

— Хозяин прислал меня, — сказал он, — передать вам табачку с королевских посадок и звать вашу милость на ужин; не велено без вас возвращаться.

Удивленный и обрадованный, Касадор поблагодарил Пабло за добрые вести и пустился в путь.

Дорогой он не мог сдержать веселости и ломал голову: «Кто бы это мог надумать Жака на такие любезности? — спрашивал он себя. — Он ведь такой мрачный, давно уже он старается всячески меня отдалить, это не иначе, как Амада. А что, если это действительно ее влияние? Нет, быть не может! Выходит, она меня немножечко любит? Любит. . . любит. . . Нет, я слишком несчастлив!».

III

TRAYCION Y TRAYCION ***

Заметив Хуана еще издалека, Жак, расхаживавший взад и вперед перед хижиной, пошел ему навстречу. Он дружески поздоровался с ним, наговорив всяких любезностей, на которые Касадор ответил так же при-

* Нож (исп.).

** Господи! (исп.).

*** Предательство за предательство (исп.).

ветливо. В ту минуту, когда они входили, Амада вздрогнула и, незаметно воздев глаза и как бы взывая к милосердию божьему, поспешно перекрестилась, после чего обернулась к ним.

— *Do you a usted la bienvenida,** — спокойно сказала она Хуану Касадору. — Можно уже садиться за стол, все готово.

— *Vien esta, querida,*** — ответил Баррау, усаживая Хуана по правую руку от себя. — *Сомраñего!**** Давненько я не имел счастья поужинать с тобой; нужно отметить и достойно отпраздновать нашу встречу. Откупорим-ка несколько старых бутылок и попытаемся, старина, вновь обрести уют наших прежних мальчишников, которых еще не украшало присутствие милой Амады; тот, кто откажется, наречется трусом и подлецом! . . .

— Bravo! Bravo! Пусть так и будет, — сказал Касадор, — согласен, а проигравший заплатит штраф; берегись, Баррау!

— *Сомраде,***** побереги соболезнавания для себя; Хуанито, сколько раз я тебя хоронил; берегись же, *сobarde.******

С этими словами Баррау глубже заткнул торчавшую рукоять кинжала. Следившая за ним глазами Амада в ужасе закричала; оба тотчас подхватили ее, стали спрашивать, что с ней такое, стараясь оказать ей помощь, однако она быстро овладела собой.

— Пустяки, — сказала она, — сердце что-то забилося, вот я и вскрикнула.

— Как ты меня напугала! — сказал Жак.

— Вы мне вскружили голову и сердце, — пробормотал Касадор.

— Ах, Хуанито, хитро сказано, вот так признание.

— Я это сказал без задней мысли и не ставлю себе в заслугу.

— Что ты на это скажешь, наша Амада?

— Боже правый! Баррау, это может наскучить!

— Ну ладно, друзья, пошутили и не будем больше об этом говорить; *dehad as burlas,****** выпьем по этому поводу! Амада сходила бы за бурдюком хереса в погреб. Или нет, не беспокойся, я сам схожу, тебе не найти. Вот я схожу, Хуанито, и ты скажешь свое мнение.

— Не будем терять времени, Амада, любимая, мы здесь одни, скажите мне, это вам я обязан этим счастьем?

— Каким счастьем?

— Разделить ваш. . .

— Нет, нет, мне вы ничем не обязаны; не мне, вовсе нет! . . .

* Добро пожаловать (исп.).

** Хорошо, дорогая (исп.).

*** Товарищ (исп.).

**** Приятель (исп.).

***** Трус (исп.).

***** Шутки в сторону (исп.).

— Вы, значит, все так же ко мне суровы? Дайте же хоть разок поцеловать вас сейчас; вечером тогда вы мне отказали.

— Нет! Я вас ненавижу, проклинаю... И все-таки мне вас жаль.

— Какое счастье!

— Послушайте, здесь вам угрожает опасность, будьте осторожны и молитесь богу, чтобы и он вас хранил.

— Объяснитесь!..

— Больше я ничего не знаю; замолчите или вы нас погубите, Хуан; молчите, он идет... .

— Вот это херес! Дай-ка стаканчик, Хуан, попробуй только!

— *Visa usted! Es un ambre,** превосходное вино.

— Ну, *compadre*, давай-ка еще разок, без церемоний. Ты не боишься прослыть трусом?

— Хуан Касадор не какой-нибудь новичок. Мне кажется даже, Баррау, что тебе придется готовить штраф, у тебя что-то глаза заблестели. Эй, что ты там делаешь? Осторожно, ты точно на качелях качаешься.

Положительно, Баррау был уже не просто навеселе, а по-настоящему запьянел. Он пел, покачиваясь, сердился и стучал по столу кулаком, громко хохотал, читал молитвы и отпускал грубые шутки, напоминавшие те своеобразные импровизации, которые бискайские *argieros,*** когда у них хорошее настроение, расппевают, едучи на мулах: в песенках этих довольно забавно смешано библейское и евангельское.

После долгой борьбы с собой и наговорив множество пошлостей, претивших Амаде, он склонился над столом и уснул.

— Нельзя оставлять его в таком состоянии, помогите мне, Касадор, уложить его на циновку, там он лучше проспит. Пьянчуга несчастный!..

Баррау не сопротивлялся.

— Касадор, возьмите у него нож, вон там, он может поранить себя. Набросим на него плащ. Что вы делаете? Касадор, не закрывайте ему лицо, он же задохнется! Нет, нет, не закрывайте, говорят вам!

— Какая вы глупая!.. Ах, простите меня, Амада, я увлекся. Случай мне помог! Он опьянел, и мы избавлены от его слезки, он сам облегчил мне свидание. Дайте мне покрыть поцелуями руку, которая меня отталкивает; Амада, не будь такой суровой.

— Замолчите!..

— Такой суровой к тому, кто любит тебя больше, чем волю!

— Перестаньте, Касадор, я жена вашего друга Жака Баррау.

— Вы что же, так и останетесь каменной?.. На наших последних свиданиях я валялся у вас в ногах, и вы самой малости не позволили несчастному, что влюблен в вас. Вы меня дразните, Амада, бойтесь же моей мести!..

* Полюбуйся! Какой аромат! (исп.).

** Погонщики мулов (исп.).

— *Alma de Dios*, спаси меня!.. Перестаньте, Хуан... Я позову Баррау!..

— Разбуди его, если посмеешь, мне-то что, зови своего мужа, он пьянехонек!

При этих словах Жак Баррау, отбросив плащ, внезапно выпрямился.

— *Sarajo, sobarde!*..* Ты думаешь, *gufian*,** что можно спойть Баррау, как спаивают Касадора? Подлец! Ты попался в ловушку. Умри же!..

Тут он хватает ружье и, прижав к щеке, наводит его на Касадора, который бежит к дверям. Амада, ухватившись за ствол, молит о пощаде и удерживает его.

Он вырывается, хватается со стола нож, заносит руку, чтобы ударить Хуана, но тот выскакивает вон, изо всех сил хлопает дверью, лезвие глубоко уходит в дерево. Баррау с пеной у рта преследует его, отчаянно ругаясь.

— Пстой, пстой! Жак, остановись! Послушай Амаду; будь великодушен, дай ему убежать!

Но муж, не обращая на нее внимания, стремительно как шквал, гнался за своим врагом, который старался спрятаться в чаще.

Совершенно обессилевшая Амада с трудом передвигалась по хижине. Она винила себя в смерти Хуана и горько плакала.

И, однако, Амада была безупречна; она не подала Хуану ни малейшей надежды, она решительно отвергла его любовные притязания, наконец, она попросту его не любила.

Но даже когда человек, который совсем не нравится женщине, страдает из-за нее и несчастен, ничто не может помешать сладостному чувству, зарождающемуся в ее душе; любви к нему по-прежнему нет, это верно, но в ней пробуждается жалость!.. Амада уже начала было надеяться, что ему удастся ускользнуть от обезумевшего ревнивца, как вдруг грянул выстрел.

— Все кончено! *Santa Virgen!* — воскликнула она, без сил падая на колени. — *Virgen Maria*,*** помилуй нас! *Jesu Cristo*,**** избавитель душ наших, будь милостив к нему! *Buen Dios, Dios de mi corazon*,***** смилуйся над ним в судный день!.. — Ее голос мало-помалу стих, и она застыла, погрузившись в печаль.

Послышались поспешные шаги: Баррау возвратился тяжело дыша, с блуждающим взглядом, тупо волоча ружье за португую.

* Негодный, трус! (*исп.*).

** Распутник (*исп.*).

*** Дева Мария (*исп.*).

**** Иисусе Христе (*исп.*).

***** Боже мой, господи! (*исп.*).

— Вставай, Амада, после помолишься. Дай мне воды.

Она приближается, дрожа и протягивает ему кувшин, а Баррау засучивает рукава куртки; видя, что обе руки у него в крови, Амада роняет и разбивает таз.

— Жак, ты убил его! . .

— Нет, к сожалению, нет. Господь не сподобил меня такой милости, я было сам так подумал, когда он упал, я подбежал, чтобы его прикончить, да он вскочил и вырвался из моих когтей, отделался легкой раной. Но, клянусь всеми святыми, я до него доберусь! Ничто не спасет его от моего гнева. Амада, я измучился, а ты разве не устала? . . Приляжем, в твоих объятиях я, может быть, обрету покой и отдых.

— Жак, перемени по крайней мере рубашку, она вся в крови.

IV

A LAS ORACIONES *

На следующий день, в понедельник, чуть свет, когда Амада еще спала, Баррау уже отправился в Гавану.

Целый день его видели в той части города, где жил Геден Робертсон. Четыре дня и четыре ночи он слонялся по улицам, но все напрасно: Хуана нигде не было, должно быть, рана приковала его к постели.

Наконец роковой день настал — это была пятница: Баррау высмотрел своего врага в порту и пошел за ним по пятам; когда тот вышел на безлюдную улочку позади большого форта, он закричал ему:

— Стой, негодяй! Тебя-то мне и надо!

— Вы меня искали? Вот я.

— Ладно же. Защищайся, если можешь!

С этими словами он кинулся на него как гиена, занеся нож для удара; Хуан уклонился и, быстро вытащив свой, пропорол Баррау руку, а тот ухватил его за пояс и пырнул в бок. Хуан, отчаявшись, навалился на него, прокусил ему щеку, выдрал кусок мяса так, что обнажилась челюсть; Баррау выплюнул кровавую пену ему в глаза.

В это мгновение бьет восемь часов и звонят las oraciones ** в ближайшем монастыре; оба бешеных расходятся и опускаются на колени.

Баррау

Ангел господен возвестил Марии, и дух святой сошел на нее, и она зачала во чреве своем.

* В часы молитвы (исп.).

** На молитву (исп.).



ПЕТРЮС БОРЕЛЬ

Хуан

Матерь божия, дева, радуйся! Благодатная Мария, господь с тобой. Благословенна ты среди жен, и благословен Иисус, плод чрева твоего.

Пресвятая Мария, мать божия, моли бога о нас, бедных грешниках, и ныне и при скончании дней наших. Аминь.

Баррау

Вот раба господня. Да будет мне по слову твоему.

Хуан

Матерь божия, дева, радуйся! Благодатная Мария, господь с тобой. Благословенна ты среди жен и благословен плод чрева твоего.

Пресвятая Мария, мать божия, моли бога о нас, бедных грешниках, и ныне и при скончании дней наших. Аминь.

Баррау

И слово стало плотью и жило среди нас.

Хуан

Матерь божия, дева, радуйся! Благодатная Мария, господь с тобой. Благословенна ты среди жен и благословен плод чрева твоего.

Пресвятая Мария, мать божия, моли бога о нас грешных и ныне и при скончании дней наших. Аминь.

— А ну, подымайся, Касадор, что ты там еще ползаешь на коленях?

— Я молился о вашей душе.

— Не надо, я помолился о твоей: берегись!

Он стремительно ударяет его ножом в грудь, кровь брызжет во все стороны; Хуан кричит и опускается на одно колено, хватая Баррау за бедро, а тот тащит его за волосы и колотит по пояснице; ответным ударом он ему вспарывает живот. Теперь они повалились и катаются оба в пыли; то Жак подминает под себя Хуана, то наоборот; оба извиваются и рычат от боли.

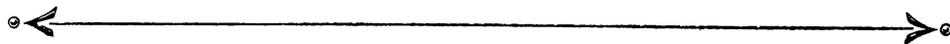
Один заносит руку и ломает лезвие о каменную стену, другой насквозь пронзает ему горло ножом. Окровавленные, изрубленные, они отвратительно хрипят и кажется, что перед глазами одна только кровь; сначала она сочится, потом постепенно запекается на ранах.

Уже целые мириады мошек и жуков забираются им в ноздри и в рот и вылетают обратно или копошатся в гноящихся ранах.

К полуночи какой-то купец споткнулся об их трупы.

— Всего-навсего негры, — сказал он и прошел мимо.¹⁰

ДОН АНДРЕАС ВЕЗАЛИЙ,¹ АНАТОМ МАДРИД



Когда эта новелла об Андреасе Везалии была закончена, ее отнесли в «Ревю де Пари» и предложили г-ну Амеде Пишо² как переведенную с датского неким Изаи Вагнером. По форме своей она не подошла этому литературному журналу. Г-н Амеде Пишо не смог ее там напечатать, но, уплатив за этот мнимый перевод, он вывел потом того же самого героя в очаровательном анатомическом рассказе, который вы, разумеется, читали в этом сборнике.³ Впрочем, поскольку в подробностях рассказы не совпадают, мы просим лишь признать первенство этой находки за Шампавером.

I

SNALYBARIUM *

В спокойные ночные часы, когда города напоминают собой склепы, одна только извилистая улочка Мадрида безвестною жилкою все еще билась, бешено, лихорадочно; этой улочкой-полуночницей в опочившем городе была Кальяхуэлья Каса дель Кампо; в конце ее высился богатый особняк, принадлежавший чужеземцу, некоему фламандцу. Стекла окон светились от зажженных огней, вычерчивая косые линии на темной стене дома напротив, и казалось, что мрак испещрен горнилами печей, пронизан золотой сетчатою вязью.

Двери стояли настежь, и виден был огромный вестибюль с перекрестными сводами, оттуда брала начало широкая каменная лестница с резными кружевными перилами, похожими на веер слоновой кости, вся уставленная благоухающими цветами.

Это был, образно выражаясь, целый карнавал стен, ибо каждая внутренняя перегородка была переодета и спрятана под коврами, бархатом и сверкавшими канделябрами.

Несколько алебардчиков разъезжали верхами взад и вперед у входа.

Когда по временам крики бушевавшей снаружи толпы несколько ослабевали, можно было различить приятную танцевальную мелодию, лившуюся вниз по лестнице и отдававшуюся эхом под гулким сводом.

Весь дворец имел праздничный вид, но заполнивший улицу сброд дико орал и рвался к дверям; наверху это были звуки органа в храме, а внизу, на каменной паперти, — галдеж нищих.

* Меч (лат.).

То это были торжествующие наглые крики, то хихиканье и лязг меди; звуки эти перекатывались в темноте от одной кучки народа к другой и угасали вдаль как сатанинский смех, разносящийся в отголосках грома.

— Доктор правильно сделал — для своей свадьбы выбрал субботу, как раз когда ведьмы шабаш справляют. Надо быть самому колдуном, чтобы все так придумать, — сказала беззубая старуха, притулившаяся к амбразуре окошечка в воротах.

— Вот уж верно, милая, верно, как бог свят! Кабы все, кого он уморил, сюда собрались, так они хороводом бы вокруг всего Мадрида ходить могли.

— А что кабы и впрямь, — снова заговорила первая старуха, — все бедные кастильцы, те, с кого этот палач кожу содрал, — да воздаст им господь за это сторицею! — пришли бы к нему требовать ее обратно?

— Меня уверяли, — вставил приземистый бородач, затерявшийся в гуще людей и привставший на цыпочки, — что на завтрак ему частенько подают котлеты из мяса, да только такого, каким мясники не торгуют.

— Верно, верно!

— Нет, нет, неправда! — вскричал высокий парень, прилипший к оконной решетке, — ложь это! Спросите-ка мясника Риваденейру.

— Молчи! Да замолчишь ты наконец! — еще громче заорал мужчина, угрожающе закутавшись в бурый плащ и надвинув на глаза сомбреро. — Не знаете вы его, что ли? Это же Энрике Сапата, ученик живодеpa! Verdugo * и ahorcador ** — на одной бы веревке вздернуть обоих! Бьюсь об заклад, что, коли у него под курткой пошарить, так отрезанную руку или ногу найдешь!

— Слыханное ли дело, старому вампиру и взять молодую жену! — встала старуха. — Будь я королем Филиппом, я бы уж не позволила этому живоглоту...

— О, вот в том-то и дело, — возразил незнакомец в буром плаще, — что Филипп Второй⁴ мирволит этому фламандскому псу.⁵ Вчера еще вот Торрихо пропал, пекарь из Себады, не иначе как на свадебный пирог пошел; ужас-то какой! Этому пора конец положить.

— Пусть хоть сам король ему потакает, — слышалось в народе, — надо его сжечь!

— Христиане! Этот человек еретик! Колдун! Фламандец! Он заслужил смерти! — стали тогда благодушно восклицать монахи из монастыря Аточкой божьей матери, недавно основанного отцами Гарсиа де Лоайса, верховным инквизитором, архиепископом Севильи и братом Хуаном Уртадо де Мендоса, духовником императора Карла V,⁶ куда потекла скопом верующая братия королевского монастыря Сан Иеронимо.

* Палач (исп.).

** Висельник (исп.).

— Смерть ему! — редела толпа, которую отталкивали алебардчики, осыпая ее ругательствами.

— Смерть ему! — вторил закутанный в плащ дворянин.

— Смерть ему! — вопили монахи с крестами в руках, разжигая чернь. — Смерть ему! Разведем огонь!

Нависшая буря разразилась. Послышались яростные крики, угрозы; какой-то монах потрясал над головою факелом, но алебардчики с помощью Энрике Сапаты и других школяров дали отпор и заставили распоясавшийся сброд отступить с ревом. В ответ гул удвоился: теперь били в набат, стучали ножами, колотили по котлам, — это был резкий, оглушительный грохот, какая-то смертоубийственная музыка.

II

SALTATIO, TURBA, MORS *

В гостиных царила сердечная или язвительная беспечность; никого не занимал наружный шум, ибо всегда такое бывало, когда старик брал себе в жены молоденькую девушку.

Бурый плащ висел у входа в галерею, служившую прихожей. Новобрачная танцевала с красавцем-кавалером, которого до этого вечера никто не видел. Казалось, они больше заняты перешептыванием, чем танцами. Муж в противоположном углу зала любезничал с молоденькой девушкой, приходившейся ему родней.

Зал завершался лоджией, которая выходила на лужайку, там собралось много народа: дамы, кавалеры, старики, дуэньи; все они, выйдя туда якобы для того, чтобы подышать свежим ночным воздухом, дали волю пересудам своим и злословию. Это было состязание в колкостях и остроумии, целый хор голосов, нежных как флейта, приглушенных, отрывистых, дребезжащих; множество миловидных личиков и лиц, искаженных неистовым смехом или оживленных лукавой усмешкой, ртов, открывавших клавиатуры цвета слоновой кости, и других, изрезанных как башни замка, или зазубренных, подобно карнизу под сводом.

— Кто же этот красавец кавалер, с которым так любезничает новобрачная?

— Сеньорита, какая же вы злючка!

— Ха-ха-ха! Взгляните-ка на дону Везалия, какой у него важный вид в его calzас bermijas ** и в этом черном камзоле. Клянусь Магометом! Неправда ли, он так обут, что ноги его похожи на перья в чернильнице?

* Пляска, толпа, смерть (лат.).

** Красных башмаках (исп.).

Смотрите же, как он скачет с Амалией де Карденас, этой свеженькой и розовой пышкой! Не кажется ли вам, что он похож на самого Сатурна? ⁷

— Или на Смерть, ведущую в танце Жизнь.

— Танец Гольбейна. ⁸

— Скажите, Оливарес, что он будет делать con su muchacha? *

— Учить ее анатомии.

— Разговаривать.

— Благодарю покорно за novia! **

— Вот уж и сарабанда кончилась, посмотрите, как он целует ручку нашей кузине Амалии.

— Это не простая городская свадьба, не какая-нибудь saraguete, *** это блистательный saгао. ****

— Но где же новобрачная?

— И где красавец кавалер?

— Дон Везалий ее ищет, совсем растерялся, busca, busca, pero viejo! *****

— Пойди, спроси у него, Оливарес, ведь его почитают за колдуна, пусть-ка он скажет, что делает в эту минуту Мария?

— Не надо лезть не в свое дело!

Танец возобновился; Везалий снова пригласил Амалию де Карденас, которая ответила ему милой улыбкой, но потом, отвернувшись, снова с кем-то смеялась.

Молодой не было в гостинной, не было и бурого плаща в прихожей, а в темном коридоре послышались шаги и кто-то прошептал:

— Накинь этот плащ, Мария, скорее, бежим!

— Не могу, Альдеран.

— Чтобы я оставил тебя добычей этого старика? Нет, нет, ты принадлежишь мне! В мое отсутствие ты предаешь меня, я об этом узнаю, спешу приехать сегодня утром, смешиваюсь с толпой, наконец отзываю тебя в сторону, говорю тебе «бежим»; может ли быть, что ты мне откажешь? О нет, Мария, ты меня обманываешь! Идем, еще есть время, порви недостойные путы, мы будем счастливы, я буду принадлежать тебе, тебе одной и навсегда! Идем, Мария! . .

— Альдеран, ярмо это мне навязала моя семья, и я его вынесу. Но ты навеки мой! Я навеки твоя! Какое нам дело до этого человека? Кто он мне такой? Лишний слуга, ширма, которая прикроет нашу тайную любовь. Пусти меня, пусти меня, прощай!

* Со своей девочкой (исп.).

** Обрученную (исп.).

*** Домашняя вечеринка (исп.).

**** Светский бал (исп.).

***** Ищи, ищи, старый пес! (исп.).

— Так ты не хочешь, Мария, хорошо же, ступай, замарай себя грязью! Поступай как знаешь, а я сделаю все по-своему, ступай!..

Он выпустил ее из своих объятий, и она быстро проскользнула из галереи в гостиную.

Альдеран был сам не свой; несколько мгновений он все проклинал, топал ногами, потом внезапно скрылся в глубине комнат.

За это время толпа стала еще многочисленней; так пруд разбухает после грозы. Рокот все нарастал, и разгул становился все страшнее. К черни вернулась ее дерзость, и, теснясь все плотнее и плотнее, она хохотала под самым носом у алебардчиков. Проклятья, угрозы, крики «смерть ему» загрели снова. Люди швыряли камнями в стекла, пачкали стены бычьей кровью и грязью. Но вот толпа неожиданно раздалась, пропуская простоволосую женщину, которая выла, как собака на луну; то была Торриха, булочница; она пришла за своим мужем и взывала о мести.

— Это Торриха, булочница, — слышалось со всех сторон. Потом разгоряченная толпа вдруг разжалобилась, и все сочувственно замолчали, а Торриха продолжала всхлипывать и вопить.

Тогда человек в буром плаще, взобравшись на ступеньки, крикнул зычным голосом:

— Друзья, расправимся с ним! Тот трус, кто не последует за нами! Отомстим! Смерть Везалию! Смерть колдуну!

В ответ камни градом посыпались в стекла окон и в притиснутых к лестнице алебардчиков. Толпа врывается в portик, кидается на занесенные пики, выхватывает их и ломает; она уже поднялась по лестнице и ломала теперь двери гостиной, когда вдали послышался стремительно приближавшийся стук подков скачущих галопом всадников.

— Спасайся кто может, это альгвазиль! — Охваченная паническим ужасом толпа схлынула вниз, люди стали разбегаться по коридорам и выскакивать в окна; только несколько смельчаков стояли недвижно.

— Именем короля, разойдись!

— Король казнит убийц, еретиков, колдунов! Смерть фламандцу!

— Именем короля, разойдись!

Тогда альгвазиль верхами въезжают в portик, на них сбрасывают мебель, они отвечают ружейным залпом, сражающим смельчаков. Человек в буром плаще, вскрикнув, хватается за сердце. Невредимые, раненные — все бегут, и только пять трупов остаются лежать на каменных плитах.

Внезапно дворец и улица помрачнели. Стража уносила тела убитых; гости, дрожа от страха, убегали черным ходом. Заперли двери, потушили лампы; там, где все было жизнью, все стало смертью. Только в боковом крыле, в покоях Везалия, два окна пламенели среди темноты.

III

QUOD LEGI NON POTEST *

Сквозь выбитые двери гостиной Мария заметила мужчину в буром плаще, сраженного выстрелом; услышав его пронзительный крик, она упала без чувств. Ее перенесли в спальню и положили на диван, и она долго лежала так, разметавшаяся и недвижимая; Везалий на коленях перед ней, плача и дрожа, покрывал ей руки и лоб поцелуями.

— Как ты себя чувствуешь, Мария, любовь моя?

— Лучше; правда ведь, все улеглось?

— Да, эту мерзкую чернь проучили как надо. Трудно даже вообразить, в чем эти люди меня обвиняют, меня, тихого отшельника, проводящего дни в скромных трудах, занятиях анатомией на благо человечеству, ради развития науки, во славу божию! Этим людям мою голову подавай, они считают меня колдуном; стоит кому-нибудь в городе пропасть, как уже ходят толки, что это я, Везалий, велел похитить его для своих опытов. Чернь всегда останется мерзкой и глупой, глупой и неблагодарной! Вот доля, ожидающая всех тех, кто для нее пожертвует жизнью, всех тех, кто придет указать ей дорогу, кто скажет новое слово! Она распяла Иисуса Назарянина и надругалась над Христофором Колумбом.⁹ Чернь всегда будет мерзкой и глупой, глупой и неблагодарной!

— Гоните эти мрачные мысли, Везалий! Только, откровенно говоря, такой схваткой, как сегодняшняя, не завоеешь ее любви.

— О что мне в конце концов до любви этого сброда, лишь бы у меня была твоя любовь, Мария! О, ведь ты любишь меня, не правда ли? Ты любишь меня немножко?

— Как вы еще можете спрашивать меня об этом?

— Я знаю, Мария, что я стар, а в старости человека всегда мучают сомнения; я знаю, что у меня нет изящных манер, я разбит бессонными ночами, немощен и стал похож на скелеты моей собственной выделки, но сердце мое молодо и горячо. Видишь ли, страсть, которую я к тебе питаю, не какая-нибудь прогорклая муть; в ветхой оболочке я приношу тебе юную душу; я много встречал женщин на своем веку, но ни одна, клянусь тебе, не зажигала во мне подобного огня. Судьба! Нужно же было дожить до седых волос, чтобы узнать любовь и ее терзания! Мария, приучи свой взор к грубому сосуду, заключающему в себе молодую душу; соки кипят даже и под корою векового дуба.

Мария обняла его одной рукой и коснулась губами лысого черепа и седой бороды; Везалий плакал от радости.

О час захода солнца! Вождеденный час, полный трепета, сладострастия и стыда! Час, сливающий воедино тела и души, зажигающий жела-

* Немыслимая для прочтения (лат.).

ние и погружающий в негу! Час заката! Обнажающий или являющий красоту! Ты слишком часто становишься часом жестоких несоответствий! А иногда ведь и роковым!..

Новобрачная пленительным движением сбросила подвенечный наряд и драгоценности; так роза роняет свои лепестки; то была кастильская красота, такая может только во сне присниться!..

Везалий неловко скидывал с себя праздничную одежду, обнажая безобразное тело; казалось, что это мумия разматывает свои пелены!¹⁰

Когда вдруг погасили лампу, кольца занавесей скрипнули на прутьях; наступила полная тишина, однако не слышно было, чтобы Мария вскрикнула...

И уже далеко за полночь — ласки и поцелуи без ответа, а потом шепот и глухие проклятия, и ученый профессор анатомии твердил, весь дрожа:

— О, не вздумай только принять это за слабость, Мария; это сила моей любви так разбила меня, твои прелести наполняют меня стыдом, мне кажется, что я прикасаюсь к какой-то святыне, я так тебя люблю, Мария; я так тебя люблю! Но не вздумай только принять это за слабость! Завтра днем я покажу тебе десятка два книг, ты прочтешь об этом у Мундина,¹¹ у Галена,¹² у Гюнтера из Андернаха,¹³ моего учителя и придворного врача Франциска Первого Французского,¹⁴ ты увидишь, что, напротив, — это признак могущества, избытка любви, я так тебя люблю, Мария!

Надо полагать, что этот избыток любви не иссякнул, ибо не прошло и нескольких дней, как Мария переселилась в другое крыло дома, в пустовавшую комнату, и жила теперь там вместе с бывшей экономкой ученого, которую он давно купил и из которой он сделал дуэнью своей супруги. Филин виделся со своей голубкой только в часы трапез, они относились друг к другу с подчеркнутой холодностью, как чужие.

Везалий снова увлекся своими занятиями; с головой погрузившись в науки, он переходил из лаборатории в анатомический театр и из анатомического театра опять в лабораторию.

Девушки и невесты! Вот урок, который вы можете из этого почерпнуть: поелику возможно, особенно коли у вас пылкие страсти, не идите замуж за доктора медицины, за члена Академии Надписей и Литературы,¹⁵ а наипаче за бессмертного академика Сорока Кресел и нескончаемого Словаря.¹⁶

IV

NIDUS ADULTERATUS *

Года через четыре после всех этих событий донья Мария, которая против обыкновения уже несколько дней как не выходила к столу, велела позвать к себе своего мужа Везалия. Он тотчас же к ней явился; жена его лежала в постели, бледная, изнуренная; глаза ее глубоко ввалились, голос совсем ослабел. Пододвинув кресло, Везалий сел и наклонился к ней, чтобы ее выслушать. Ощувив на лице его теплое дыхание, Мария открыла глаза, узнала Андреаса Везалия и, вздыхая, начала говорить прерывающимся голосом:

— Вы мой господин и повелитель, Андреас! Я чувствую, что слабею с каждой минутой; скоро я предстану пред грозным судьей. А я ведь не чиста! Я столько против вас нагрешила. Но грешница молит о прощении. Не выходите из себя; вы мудры, вы мой добрый милостивый супруг и господин! Дайте мне открыть перед вами душу.

— Сеньора, вы совсем не так плохи, как вам кажется; просто ваш рассудок повредился.

— Никто лучше самого страждущего не знает своего недуга. Что-то во мне вопиет о близкой кончине. Вы мой супруг и милостивый мой господин. Выслушайте и простите, может быть в чем-то я и заслужила прощения.

Мы оба принесли клятву у алтаря, и мы оба ее нарушили: я — потому что была молодой и слишком пылкой, а вы — потому что ваши волосы поседел от занятий, а тело было разбито трудом. О горе мне, горе мне! Дойти до того, чтобы сетовать на свою молодость! О, Везалий, если бы вы знали, как трудно быть молодой женщиной, если бы вы знали все, что творится у этой женщины внутри, вы бы меня простили!

Выслушайте же хладнокровно.

Так вот, признаюсь, я вам была неверна, я вас подло обманывала. Я очень виновата, Андреас! В ваш дом я водила любовников и поила их вашим вином, кормила их за вашим столом, и в то время как вы были погружены в науки или забывались сном, вместе с ними я смеялась над вами; в своем беззаконии мы потешались над вашим добродушием; вы служили пищей нашим насмешкам, а это большая низость, не правда ли?.. Само ложь, на котором я умираю, содрогается еще от прелюбодеяния. И вот господь призывает меня к себе!.. И я умираю!.. Неужели вы меня оттолкнете?.. — Тут рыдания заглушили ее голос; затем, после минутного молчания, она отчетливо сказала:

— Я была уже очень зло, очень жестоко наказана! Должно быть, и в самом деле прелюбодейка всегда отвратительна! Со времени нашей

* Гнездо прелюбодеяния (лат.).

свадьбы у меня было трое любовников; но, по правде говоря, я обладала каждым из трех только по одному разу. Когда после их долгих ухаживаний я уступала всем их настояниям, когда я отдавала им и делила с ними это вот ложе... Да, преступная жена всегда отвратительна!.. Наутро, проснувшись, я оказывалась одна! И я их уже никогда более не видела, никогда! Можно ли быть более жестоко наказанной? Преступление связано с возмездием, преступление требует кары. И если надо все договаривать до конца, чтобы получить отпущение грехов, — вы же милосердны, Андреас!.. Последнего я полюбила безумно, безграничной любовью, слышите! Гибель его меня убила, покинутая им, я умираю с горя!.. Теперь я все сказала: именем Аточской божьей матери, именем Святого Исидора Лабрадорского, именем Святого Андрея, вашего патрона, именем моего отца, вашего тосау,* вашего солотмгойо,** простите слабой женщине, так вас оскорбившей; пусть ваше благословение очистит ее. О, простите ей, она умирает...

И, схватив его руку, она покрывала ее слезами и поцелуями; Везалий грубо отдернул руку, оттолкнул кресло и сурово сказал:

— Встаньте, Мария, следуйте за мной.

— У меня нет сил, не могу.

— Говорю вам, следуйте за мной.

Приподнявшись с трудом, Мария завернулась в накидку и, шатаясь, последовала за Везалием, который спустился по парадной лестнице, пересек лужайку, открыл низенькую решетчатую дверь, ведущую в невысокое строение, куда свет проникал через широкие проемы в камне. Дверь за ними захлопнулась, и щеколды внутри заскрипели в своих кольцах.

V

OPIFICINA ***

Мы в мастерской, или лаборатории, Везалия: это большая квадратная зала со сводами как в монастыре, с каменными стенами и полом. Грязные, засаленные деревянные столы, станки, две-три лохани, шкафы и ларь — вот и все ее убранство. Несколько котлов стояло возле широкого камина, который начинался от самого свода, книзу расширяясь; на крюке был подвешен еще один котел, кипевший на жарком пламени. На станках лежали вскрытые трупы, под ногами валялись куски человеческого мяса, отсеченные части тела. Анатом наступал своими сандалиями на разбросанные всюду мышцы, хрящи. Над дверью висел скелет, и, когда она

* Соименника (исп.).

** Тезки (исп.).

*** Лаборатория (лат.).

открывалась, кости стучали, как деревянные свечи, которые свечники вывешивают у себя над дверями лавки, чтобы, раскачиваясь на ветру, они зазывали к ним покупателей.

Свод и стены были сплошь увешаны костями, позвонками, остовами и хребтами, иные из которых были человечесьи, большая же часть — кости обезьян и свиней — животных, наиболее близких по своему строению к людям и служивших материалом для занятий Андреаса Везалия, — по сути дела первого, кто сделал из анатомии настоящую науку, кто осмелился вскрывать трупы даже правоверных христиан и открыто их изучать. Это не то, что было раньше, когда в 1315 году Мундин, болонский профессор, впервые выставил на обозрение три расчлененных человеческих скелета. Дерзкий вызов этот больше не повторился, церковь наложила на подобные опыты строжайший запрет, осудив их как святотатство. Сам Мундин, напуганный свежим еще указом Бонифация VII, не сумел воспользоваться данными собственных открытий. Соприкосновение с трупом и даже лицезрение его считалось у древних нечестивым, и никакие повторные очистительные омовения и иного рода церковные покаяния не могли его искупить. В середине века расчленение существа, созданного «по образу и подобию божьему», почиталось кощунством, и преступника казнили на плахе.

VI

ENODATIO *

— Чего вы от меня хотите, Везалий, зачем вы привели меня сюда? — твердила плачущая Мария. — Чего вы от меня хотите? Я не могу тут оставаться, я задыхаюсь от запаха всей этой гнили, отоприте и откройте дверь, выпустите меня, мне дурно!

— Какое мне до этого дело! Слушайте в свой черед: у вас было три любовника, не правда ли?

— Да, сеньор мой.

— Вы их поили моим вином, не правда ли?

— Да, сеньор мой.

— Так вот, вино это было с примесью; ваша дуэнья подливала в него зелья, опиума, и вам крепко спалось, и сон был глубокий, не правда ли?

— Да, сеньор мой, а когда я просыпалась, около меня никого не было.

— Никого, не правда ли?

— Да, сеньор мой, и я их больше никогда не видела.

— Никогда! Вот и хорошо! Подойдите-ка сюда!

И, схватив ее одной рукой, он поволок ее в глубь залы; там он отво-

* Разъяснение (лат.).

рил шкаф, где висел скелет, все сочленения которого были целы, белый, как слононая кость.

— Узнаешь ты этого человека?

— Как! Эти кости? ..

— Узнаешь ты эту куртку, этот бурый плащ?

— Да, сеньор мой, это плащ кавалера Альдерана!

— Вглядитесь-ка получше, сеньора, и постарайтесь узнать также и самого кавалера, носившего этот плащ, того, с кем вы так любезно танцевали на нашей свадьбе.

— Альдеран! — вскричала Мария так, что крик ее разбудил бы мертвого.

— По крайней мере, донья, вы видите, что все идет на пользу науке, — сказал он, повернувшись и холодно на нее глядя, — вы видите, наука вам премного обязана.

Потом, ухмыляясь, он подвел ее к чему-то вроде раки или клетки со стеклами, сквозь которые виден был на редкость хорошо сохранившийся человеческий скелет; места, где проходили артерии, были подцвечены красной жидкостью, а вены — синей; казалось, что остов весь окутан шелковой сетью; изучать его было удобно, сохранились даже кое-где клочья бороды и волос.

— А вот этот, донья, не припомните ли вы его? Поглядите-ка на красивую бороду и белокурые волосы.

— Фернандо!!! Вы его убили! ..

— До сих пор, поелику еще не расчленили живых людей, наука имела лишь смутное и неточное представление о кровообращении и о мышечной системе; но благодаря вам, сеньора, Везалию удалось сорвать с природы не один покров и приобрести бессмертную славу.

Схватив Марию за волосы, он подтащил ее к огромному ларю, крышку которого ему нелегко было поднять; он притянул несчастную ближе и заставил ее наклониться.

— На прощанье взгляните еще вот сюда! Это твой последний, не правда ли?

В ларе стояли банки, наполненные спиртом, в которых плавали куски трупа.

— Педро! Педро! .. И его вы убили!

— Да! И его! ..

Со страшным стоном Мария рухнула на каменный пол.

На следующий день из ворот дома проследовала погребальная процессия. Могильщики, опускавшие гроб в склеп Санта-Мариа-ла-Майор, обратили внимание, что он был тяжел и гулок и что, когда его опускали, раздался стук, непохожий на стук тела.

А на следующую ночь сквозь просветы дверей можно было видеть, как Андреас Везалий в своей лаборатории расчленил на станке труп красивой женщины, чьи белокурые волосы ниспадали до самой земли.

VII

AFFABULATIO *

При пышном мадридском дворе, наполненном всеми сокровищами Нового Света и могуществом своим превосходившем всю Европу, Андреас Везалий был прославлен, богат и чтим. Лавируя между инквизицией и Филиппом II, насколько то было возможно, он способствовал развитию анатомии, пока тяжкое обвинение не повергло его в ужасные бедствия.

Когда он публично производил вскрытие трупа одного дворянина, присутствовавшим показалось, что сердце вдруг забилося под скальпелем. Злопамятная инквизиция, обвинив ученого в человекоубийстве, потребовала его казни, и Филиппу II лишь с большим трудом удалось отстоять его жизнь и добиться замены казни паломничеством в святую землю. Везалий отправился в Палестину¹⁷ вместе с Малатестой, главою венецианских войск.

Избежав многих опасностей в этом многотрудном странствии, он на обратном пути был выброшен бурей на берега Занта, где и умер от голода 15 октября 1564 года.

Венецианская республика приглашала его в Падую, в университет, временно осиротевший в тот год после смерти его ученика Габриеля Фаллопия.¹⁸

Если верить Бургаву¹⁹ и Альбину,²⁰ Андреас Везалий стал жертвой своих вечных насмешек над невежеством, облачением и нравами испанских монахов и инквизиции, которая с жадностью ухватила за возможность избавиться от столь неугодного ей ученого.

Большая анатомия Андреаса Везалия «De corporis humani fabrica» ** вышла в свет в Базеле в 1562 году, украшенная рисунками, приписываемыми его другу Тициану.²¹

* Послесловие (лат.).

** «О строении человеческого тела» (лат.).

THREE FINGERED JACK,*

ОБИ

ЯМАЙКА

...Издавав трепет,
Вам, смертным, всем, как псам, влачить придется цепи
И на дороге выть...
Иаков лишь обрел свободу вновь — в пустыне.

Александр Дюма¹

When fortune means to men most good,
She looks upon them with a threatening eye.**

Shakespeare

Честолюбца — ревнивице, корсара — еще более отчаянному корсару.

Андре Борель³

I

NEXT NIGHT, AT THE THREE PALM-TREES ***

— Авигея, Авигея, ну Расскажи, Расскажи нам, пожалуйста, сказку!.. — кричали ребяташки; кожа у одних была как черное дерево, у других как слоновая кость, а у иных — цвета меди или самшита; они посасывали длинные стебли сахарного тростника, резвясь на зернистом песке у ног молодой негритянки, простодушно прекрасной, одетой в грубую холстину. Авигея, — это имя дал ей господин ее, пуританин, — сидя на земле у дверей богатого дома, держала вцепившегося ей в пальчик белого ару и поглаживала его; то она напевала ему вот эту креольскую песенку Французских Антильских островов, смысла которой она, безусловно, не понимала:

Mouché Béqué li un boun blan,
Quand li coqué li payé comptant,
Résonnablement! **** —

* Трехпалый Джек (*англ.*).

** Чем к нам Фортуна благосклонней,
Тем нам в глаза глядит она грознее.
Шекспир (англ.)²

*** Завтра ночью у трех пальм (*англ.*).

**** Месье Беке — французик славный,
А уж когда прибьет исправно,
Тогда подавно (*испорч. франц.*).

то, невозмутимая, грустно склонив голову на плечо, она, казалось, была погружена в рисовавшиеся ей картины будущего счастья, в мечты, которым любят предаваться все молодые женщины.

— Авигея, так расскажи нам сказку, — не отставала детвора, — мы будем умными, мы не станем больше обижать маленького Джона Блэкхита.

Девушка очнулась от сладостных мечтаний.

— Чего вы от меня хотите, детки?

— Сказку, Авигея!

— Сказку? Не знаю я никаких сказок, милые мои.

— Да, да, да, сказку про пикарунов,⁴ что тебя увозили, помнишь? .. И еще про оби. . .

Тогда Авигея, продолжая водить пальцами по перьям своего ары, заговорила нараспев, и вся детвора уставилась на нее черными глазами, раскрыв свои большие рты с рядами ослепительно белых зубов.

— В те времена шла война, и пикаруны из Испанского Сан-Доминго часто ночами совершали набеги на остров; они похищали мирно спавших в своих хижинах негров, чтобы продавать их на рынках своей страны. На этот раз, как ни зорко следили все шестнадцать сторожевых судов, они проскользнули в бухту и отважились подойти к самым подступам Сент-Энн. Пробравшись сюда, все до единого вооруженные до зубов, крадучись, проникли эти злодеи на плантации; они уже перетащили добрую сотню негров к себе в шлюпки, и вот они добрались до хижины, где спала Авигея, ваша нянюшка, которая вас любит, когда вы пайинки; несколько страшных мужчин, похожих на чудовищ, ворвались ко мне в темноте, схватили меня прямо со сна, связали мне руки и поволокли к берегу.

Заметьте себе хорошенько, миленькие мои, что эти злые люди были белые, только хоть и белые, да говорили они совсем не так, как здешние белые, и слова-то у них все такие были, как вот собаки лают, на конце непременно либо «о», либо «а».

Уже шлюпки, нагруженные бедными неграми, которые плакали и кричали, хоть у них были кляпы во рту, уплывали в открытое море, а сама я была в лодке с последними пикарунами. Едва только лодка снялась с якоря и отошла немного от берега, как вдруг мы услышали шум падающего в воду тела и тут же увидели негра, он быстро плыл к нам.

— Que viva! ..* — закричали пикаруны, что, конечно, на их тарабарском языке означает «берегись».

Негр стремительно проплыл под водой; когда он приблизился к лодке и ухватился рукой за борт, один из этих злодеев занес топор, чтобы ударить его, как вдруг, высунувшись из моря и всей своей тяжестью тряхнув лодку, он толкнул ее так, что она перевернулась и накрыла собою всех, кто в ней находился.

* Кто идет? (исп.).

Я вскоре всплыла на поверхность и вдруг почувствовала, что меня хватают поперек туловища. Вынесенная на сушу тем высоким негром, который опрокинул лодку, я лежала там, простертая, едва дыша, а юный незнакомец в это время вытирал мне лицо и мокрые волосы.

— Вы спасли меня! Я вам обязана жизнью! — прошептала я.

— Мало кто мне ею обязан, — возразил он глухо.

— Позвольте же мне поцеловать ваши руки, скажите по крайней мере, как вас зовут, чтобы я благословила ваше имя.

— Мое имя... вы содрогнетесь!..

Вдруг он вскочил: слышалась пальба из мушкетов, приближавшиеся шаги и крики. То были соседние колонисты и местные жители, разбуженные шумом, поднятым пикарунами, и криками находившихся в лодках негров: они хоть и поздно, но прибежали на помощь.

— Прощай, прощай, — прошептал совсем тихо незнакомец, сдавив мне пальцы так, что они хрустнули в его грубой руке, — прощай!..

— Так как же ваше имя, как вас зовут, ради бога! Я — Авигея, дочь Джона Фокса!

— А я — для людей я хуже какого-нибудь сервала, за которым охотятся; я — Three fingered Jack * из Ливана.

— Three fingered Jack, обимен? ⁵

— Да, обимен!

У меня вырвался крик ужаса; спаситель мой исчез в темноте, а я осталась совсем растерянная, точно с солнца свалилась. Тотчас на берег подоспели все колонисты; на причале не оказалось ни единой лодки, чтобы преследовать разбойников в море. Разъяренные, они дали по ним несколько залпов, однако не настигли их. Пикаруны издали их дразнили и распевали свои дикие песни, которые заглушались стоном сбившихся в кучу несчастных негров.

Детвора глядела на рассказчицу своими черными глазами, открыв рты с рядами ослепительно белых зубов; в это время из-за хижины вышел метис и, проходя мимо, шепнул:

— Авигея, сегодня ночью у источника, где три пальмы.

II

VOICES IN THE DESERT **

Была глубокая ночь, все погрузилось в дремотное забытие, воздух, небо и земля — все притихло, и только там и сям в горах слышно было звучное пение птиц, поющих лишь тогда, когда умолкает все земное и

* Трехпалый Джек (англ.).

** Голоса в пустыне (англ.).

CHAMPAVERT.

CONTES IMMORAUX,
PAR PETRUS BOREL

LE LYCANTHROPE



PARIS.

EUGENE RENDUEL, ÉDITEUR-LIBRAIRE,
RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, N° 22.

1833.

Титульный лист первого издания „Шампавера“.

внемлет им только небо. Да еще у источника под тремя пальмами мужской голос шептал:

— Авигея, подожди минутку. Любовь! Любовь!.. Все это хорошо, но я честолюбив. Видишь ли, я позвал тебя сегодня ночью, чтобы на время проститься с тобой и рассказать тебе, что я задумал. Да, я честолюбив, и под моей легкомысленной наружностью прячется сердце, снедаемое жаждой славы. В жилах моих течет кровь, которая меня принижает, и мыслящее чело мое и мощные чресла склоняются под бичом глупых и жестокосердных существ с белой кожей, для которых наслаждение видеть, как я обливаюсь потом, и радость насмехаться над моими хриплыми стонами, исторгнутыми изнеможением. Довольно я страдал! Эта подлая жизнь убивает меня, мне нужна другая! Раб хочет подняться и разбить оковы. Видишь ли, я горд, я честолюбив, что-то толкает меня, простого раба, добиваться власти; ребенком еще я мечтал быть царем, мечтал о золотых одеждах, о длинной сабле, коне. . .

Бедный Куошер! Мечта твоя несет тебе горе!

И вдруг такой случай, такое стечение обстоятельств — я могу разбогатеть, возвеличиться, могу купаться в золоте! Те, кто сегодня отталкивают меня, будут протягивать мне руку, и придет мой черед плюнуть им в лицо!

— О, мой Куошер, останемся лучше бедными, богатство делает людей злыми.

— За голову *обимена*, Трехпалого Джека, назначена награда, огромная награда!.. И она достанется мне!..

— Ты с ума сошел, Куошер! Тебе сражаться с Трехпалым Джеком, с *оби*, да ты с ума сошел!..

— Я знаю, что Джек и его *оби* сильны, но и Куошер тоже не трус. К тому же разве я не решил умереть, не жить совсем или жить свободным!

— Нет, нет, Куошер, прошу тебя, береги свою жизнь; если ты меня любишь, останемся бедными, одни только бедные счастливы, они счастливее своих господ; будем довольны тем, что нам послала судьба!..

— А зачем нам оставаться бедными?

— Ах, зачем, зачем! Ты сам отлично понимаешь, Куошер!

— Чего тебе бояться, Авигея? Я выкуплю тебя, выкуплюсь сам, мы будем свободны; у нас будет своя хижина, у нас будут рабы, мы сможем целыми днями любить друг друга, быть с тобой вдвоем, всегда и всюду, где нам захочется, понимаешь?.. Мы будем свободны!..

— Мой Куошер, ты честолюбив, ты сам говорил, ты только что этим хвалился; стоит тебе разбогатеть, и ты отпихнешь от себя бедную негрятянку, которая так тебя любит, тебе захочется взять в жены европейку, я чувствую, что теряю тебя.

— Выслушай, Авигея: женщина, которая способна расслабить сильного мужчину, — низкая женщина! Уж не думаешь ли ты, что твои чары

достаточно могущественны, чтобы меня к себе приковать? Уж не думаешь ли ты склонить меня слезами? Нет! Твои поцелуи не помогут. Я так хочу. Коушер сказал: «Хочу!». Верь ему, он отдал тебе свою любовь, остался тебе верен. Клянусь богом и словом его, Коушер твой навеки. Не будь подозрительной и ревнивой, он придет и сложит золото к твоим ногам... Плачь, плачь, но не надейся расслабить меня. Прощай!..

III

HATSARMAVETH, ABRAHAM, WESTMACOT *

Оставшись одна, Авигея быстро поднялась, движимая жестокой ревностью; у нее было такое чувство, что она теряет своего любовника. Она боялась, и уж конечно не без основания, ибо знала его бешеное честолюбие и смелость, знала, что он либо погибнет в этой схватке, либо, выйдя из нее победителем и получив огромную награду, даст волю своим необузданным страстям, своей безумной гордости, и что, возомнив о себе сверх меры и разбогатев, он отвернется, когда она его позовет, что он вытолкнет ее за порог своего нового дома, ее — бедную черную рабыню с добрым сердцем, которой он предпочтет надменных белых красавиц, готовых продавать свои холодные сердца, свои низкие и подлые души любому юноше, на чье добро они зарятся как скорпионы на свою добычу. Боялась она еще и другого: чтобы, набравшись благоразумия, он не поторопился выбрать себе в жены богатую девушку, дабы прибавить к своему состоянию какое-нибудь большое наследство, большое приданое. Бедняжка понимала, что он неминуемо ее покинет, и эта мучительная мысль ее удручала.

Вместо того чтобы вернуться дорогой, которая вела к хижине, словно приняв какое-то внезапное решение, она углубилась в саванну и все шла и шла, направляясь в горы, прячась при приближении островитян, в особенности же избегая встреч с беглыми неграми и с кудхос. Трудный путь через горы, трясины, овраги, через лесную дремучую чащу вконец изнурил ее. Израненные ходьбою ноги отказывались идти. Всю ее пищу составляли плоды растущих по горам деревьев акажу, а пила она воду потоков, в которых и омывала свои красивые ноги, распухшие от ходьбы по раскаленной земле.

На третий день, в часы, что сочинители фортепьянных романсов торжественно именуют сумерками, а госпожа де Севинье попросту зовет «порой меж волком и собакой»,⁶ в часы, когда природа мрачнеет и укрывается

* Хацармавех, Авраам, Уэстмэкот (англ.).

от глаз, словно знатная красавица, опускающая вуаль и становящаяся загадкой для жадных взглядов, в часы, когда меркнут краски, а контуры становятся отчетливее, как причудливые тени на лазоревом штофе обоев, Авигея брела по крутой каменистой тропе, окаймленной, впрочем, даже скорее заросшей лиственницами, опустив голову, как те бедные путники, что к наступлению темноты добираются до предместья и потухшими глазами как утешенья ищут успокоительную вывеску «Постоялый двор». Пот струился с ее лица; она тяжело дышала и, натываясь ногой на булыжник, тихо стонала. Тропинка круто поднималась на вершину скалы и огибала ее. Будь путница не так утомлена и не так погружена в свои мысли, она заметила бы на этой вершине неподвижно распластавшуюся темную фигуру, похожую на сломанную мачту затонувшего корабля, а еще больше — на друидический пельван армориканских дюн старой Галлии.⁷ Авигея была уже в каких-нибудь трехстах шагах от таинственного существа, когда внезапно все озарилось яркой вспышкой света, за которой последовал выстрел, — раскаты его еще долго отдавались в долинах; в отчаянии она вскрикнула и ничком упала наземь. Тотчас же с быстротою гончей, кидаящейся на подстрелянную охотником дичь, черный призрак сбежал вниз по тропинке, устремился прямо к Авигее; при виде ее он в замешательстве отступил, обронив лишь одно слово: «Женщина!». Бия себя в грудь, став на колени, он приподнял ее и уложил на траву. Призраком этим был высоченный негр; в руках он держал длинный карабин, какие бывают у бедуинов, на поясе у него висела большая сабля и охотничий нож.

— Что с вами, женщина, вы ранены? — повторял он, пытаясь смягчить свой грубый голос.

Но Авигея онемела от боли: пуля вошла в голень. Негр приподнял ей юбку и, прильнув губами к ране, стал отсасывать бившую ключом кровь. Какой-нибудь путешественник, если бы ему привелось стать очевидцем этого странного зрелища, без сомнения, подумал бы, что это вампир насыщается женской кровью. Затем он полил водки из своей фляги на листья, приложил эту примочку на рану, а остатками жидкости потер ей виски. Вскоре Авигея открыла глаза и стала осматриваться.

— Не бойтесь, женщина, около вас друг.

— Но это вы меня подстрелили, — ответила она, приподнимаясь и прислоняясь к дереву.

— Не гневайтесь, женщина! У Джека столько врагов, что ему не следует никого подпускать близко к своему убежищу. Я не разглядел, было темно, мне показалось, что я стреляю в мужчину. Простите меня, я ненавижу мужчин, потому что они трусливы и свирепы, и чем свирепей, тем трусливей. Утешьтесь, рана не опасна.

— Вас зовут Трехпалый Джек?.. О! Слава богу! Наконец-то я вас нашла, ведь я вас искала.

— А зачем?

- Я Авигея, вы такую не припомните?
- Нет.
- Вы позабыли женщину, что вы спасли два года назад от пи-карунов, они увозили ее с собой?
- Так это вы!
- Джек, за вашу голову назначена награда.
- Я это знаю.
- Я вам обязана жизнью, и если я пришла сюда, в эти горы, чтобы вас найти, то для того, чтобы уплатить свой долг. Будьте осторожны, Куошер придет на днях выследить вас и убить, он хочет получить награду.
- Убить меня... — равнодушно повторил Джек.
- Смотрите, не попадайтесь ему, но и не убивайте его, прошу вас!
- Благодарю тебя, женщина, забудь то зло, которое я нечаянно тебе причинил.
- Мне ли еще прощать? Разве я вам не обязана жизнью? Вы только распорядились своей собственностью.
- Чего ты теперь хочешь, женщина? Что мне с тобой делать? Хочешь, отдохни у меня в убежище?
- Вот уже три дня, как я ушла из дома моего господина, он, должно быть, очень беспокоится; если бы не рана...
- О, если дело только за этим, — подхватил Джек, — на вот, возьми себе это на память обо мне и всегда носи на себе, и у тебя будет сила.

Это был заговорный мешочек *оби*. Осторожно приподняв Авигею, негр взвалил ее на свои крепкие плечи, спустился по тропе и исчез в ветвях акажу.⁸

День начинал брезжить, а между тем все в окрестностях Сент-Энн было объято сном, когда перед жилищем появился Трехпалый Джек с Авигею на плечах. Он нес ее с такой же легкостью, как девушка несет к источнику кувшин. Приблизившись к хижине, он опустил ее у входа.

- Прощай, Авигея!
- Прощайте, Джек, поберегитесь!
- Обимен с силой толкнул дверь ножом и убежал с быстротой оленя. Хацармавевф Авраам Уэстмэкот вышел не один; наткнувшись на распростертую негритьянку, которая была вся в крови, он вскрикнул от ужаса.
- Успокойтесь, не надо пугаться, господин, это ваша служанка Авигея!
- Авигея!
- Да!.. Беглые негры сначала ранили меня и утащили в горы, а потом подбросили к вашей двери.

IV

TIRESOME CHAPTER *

Прежде чем перейти к дальнейшему повествованию, коль скоро я уже заговорил об *оби*, *обименах* и заговорных мешочках *оби*, не мешает растолковать вам, европейцам, что же такое *оби*.

Что касается людей ученых, полагающих, что они все это знают, или тех, кто прочел то, что об этом говорится у доктора Мозли, им просто-напросто следует пропустить эту педантическую и по-академически скучную главу.

Доктор Мозли, которому я обязан этой ямайской историей, самым серьезным образом утверждал в своем «Treatise of Sugar»,** что *оби*, да еще плутовство или игра — единственные обнаруженные им примеры, в которых у уроженцев африканской земли могла проявиться способность комбинировать.

Ах, доктор Мозли, вы не любите негров! Бедняга! Пописывая на Ямайке о сахарном тростнике, он даже и не подозревал, что у него будут последователи, что в 1832 году вдруг заговорят и о нем, и о его «Treatise of Sugar», и о его рассказе о Джеке. О неисповедимая цепная связь событий! Нужно же было, чтобы родился альпийский горец, чтобы он спустился с гор и, пытаясь применить свои силы среди жителей долины, начал листать английскую книжонку!

Вообще говоря, слово *оби* обозначает колдовство и самого колдуна, однако в английских колониях колдуна называют словом *обимен*. Я ограничусь лишь одной из этимологий, точнее теорий, выясняющих происхождение и значение этого слова, вывезенного из Африки неграми в Новый свет, вот она: *поби* по-арабски означает «пророк», и, несомненно, существует большая близость между этими двумя словами; отбросьте опускаемую в единственном числе начальную назализованную согласную, как это делают арабы, чтобы передать множественное число, и вы получите сходное слово; я не выдаю это за бесспорную истину, однако, откинув ложную скромность, я и впрямь почитаю себя весьма приемлемым этимологом. После того как я проделал немало палеографических и палеологических изысканий и, между прочим, еще в невинном шестнадцатилетнем возрасте написал большущий *in folio*, посвященный вопросу о происхождении имен собственных и географических названий, достойный бенедиктинцев ордена Святого Мавра,⁹ — небольшой артезианский кладень премудрости и эрудиции, мне следовало поработать еще каких-нибудь пятнадцать лет, чтобы завершить его, а в качестве издателя иметь в виду корр-

* Скучная глава (англ.).

** «Трактат о сахаре» (англ.).

левскую типографию, которая вообще ничего не печатает, — но тут я забросил сей труд ради произведений куда более удобоваримых и болес гармонирующих с нашей лощеной эпохой, нежели изучение Паскье,¹⁰ Фоше,¹¹ Менажа¹² и П. Бореля¹³ и т. п., и т. п.

В общем-то я искренне убежден, что эта этимология не хуже многих других, в том числе даже тех, что создал сам г-н Аруэ Вольтер, утверждающий, что слово «бульвар» (boulevard) происходит от игры в шары (boules) и от того, что он зелен (vert). Смотри его «Философский словарь» под философским словом «Бульвар».¹⁴

Наука *оби* весьма обширна, куда обширнее, нежели фармакология и фармакохимия, и, если бы пришлось сдавать экзамен на звание *оби*, не один из наших блистательных фармакологов оскандалился бы и был бы выпихнут вон; из действительно достойных этого звания я могу упомянуть лишь господина Ру¹⁵ с его парагвайским снадобьем, магистра Герена¹⁶ с его микстурой да еще фармацевта Лабаррака¹⁷ с его хлором; все трое собаку съели в науке *оби*, и тем не менее завистливые невежды рады были бы, если бы их с камнем на шею сбросили в закись водорода — иначе говоря в Сену.

Чтобы сделать *оби*, талисман, назначением которого является заколдовать наш бедный мир или наслать на него наваждение изнурительными недугами, сплином, — берется могильная земля, волосы, зубы акулы и каких-то зверей, кровь, перья, яичная скорлупа, восковые куклы, птичьи сердца, чудодейственные корни, травы и шипы, неизвестные европейцам, но которые еще древние употребляли для тех же целей. Взятые в определенных соотношениях, ингредиенты эти прокаливаются или закапываются очень глубоко в землю, подвешиваются к дымовой трубе или подсовываются под порог у двери того, кого следует подвергнуть действию чар; все это сопровождается заговорами и заклинаниями, произносимыми в полночь в соответствии с фазами и положением луны.

Негр, предполагающий, что его околдовали с помощью такого талисмана, обращается к *обимену* или колдунье, подобно тому как больной, заболевший по вине врача, обращается к аптекарю.

В Вест-Индии были введены иезуитские законы, каравшие смертной казнью тех, кто занимается колдовством с помощью *оби*; меры эти ни к чему не привели. Глупые законодатели! Не вашим кровавым законам, пушенным в ход в вашей Вест-Индии, уничтожить последствием идей, берущих начало в центральной Африке, куда вы едете набирать рабов!

Наш старый знакомый, доктор Мозли, все в том же «Трактате о сахаре», «*Treatise of Sugar*», говорит, что он видел *оби* знаменитого негра, вора, как он называет Трехпалого Джека, грозу Ямайки 1780—1781 годов, который беглые негры, убившие Джека, ему потом принесли. Талисман этот состоял из обломка козьего рога, наполненного смесью могильного праха, крови черного кота и человеческого жира. Все это было растерто

в виде теста; только в результате внимательного и длительного анализа он смог установить состав. В колдовском мешочке оказались также: сушеная жаба, кошачья лапа, тоже черная, свиной хвост и связка пергамента из козьей кожи, на котором кровью были начертаны какие-то буквы.

Эти вещи да еще затупившаяся сабля и два ружья, какие были у Робинзона Крузо, составляли весь его оби. С помощью этого оби да еще своей отваги, как истый хайлендер,¹⁸ он спускался в низину, совершая набеги и грабежи, чтобы обеспечить себя необходимым для жизни. Ловкость, с какой он прятался в непроходимых зарослях, делавших убежище его неприступным, наводила ужас на жителей и в течение двух лет бросала вызов гражданским и военным властям соседних провинций.

У него никогда не было ни сообщников, ни сотоварищей; в лесах вокруг горы Ливан, на которой он укрывался, жило только несколько беглых негров; после того как он пометил им лбы своим оби, они уже не могли его предать. Он никому не доверялся, презирая всякую помощь; он воровал один, один вел свои сражения, всегда убивал тех, кто его преследовал, и он был единственным человеком, поднимавшимся выше горы Спартак.

Колдовские чары сделали его грозой негров, да и немало белых были убеждены, что он обладает сверхъестественной силой. В жарких краях женщины выходят замуж совсем молодыми, и часто разница в годах жены и мужа бывает весьма велика. Джек слыл виновником раздоров и неладов; ибо в то время, как, впрочем, и всегда, как и в наши дни, было много несчастных браков, супружеских измен и уже не знаю чего еще.

Дайте собаке скверную кличку и тогда остается только ее повесить — гласит английская поговорка: give a dog an ill name and hang him. Наветы, наветы и еще новые наветы оплетали жестокого колдуна, и почти все неудачные браки приписывались порче, напущенной Трехпалым Джеком в день свадьбы.

Видит бог, бедному Джеку и своих грехов хватало, нечего было взваливать на него чужие!

Он скорее решил бы устроить *Медвин котел*¹⁹ для жителей целого острова, заявляет тот же доктор Мозли все в том же своем «Трактате о сахаре», «*Treatise of Sugar*», нежели смутить счастье хотя бы одной-единственной женщины.

Сознаюсь чистосердечно, я не очень-то понимаю, что такое *Медвин котел*; будучи полнейшим ослом в мифологии и пуританином, я никогда даже ногой и то не касался словаря язычника Шомпре.²⁰ Как бы там ни было, случай-то ему уж, конечно, бы представился, и, однако, несмотря на всю ненависть Джека к белым, никто никогда не слыхивал, чтобы он причинил малейшее зло ребенку или насиле женщине.

V

HOUND'S FEE *

Но Джек был обречен на смерть. Привлеченные вознаграждением, обещанным губернатором Даллингом в воззвании от 12 октября 1780 года и в постановлении, принятом затем колониальной ассамблеей, house of assembly, двое цветных — знакомый вам уже Куошер и Сэм, сын капитана Дейви, который убил мастера Томасона, штурмана лондонского судна, на рейде Олд-Харбор, оба из Скотшалла, городишка беглых негров, taqoon town,** — с отрядом своих сограждан пустились на его поиски.

Прежде чем отправиться в эту экспедицию, Куошер крестился и переименовал свое имя на Джеймса Ридера.

Начался поход, и вся партия прочесывала лес в течение трех недель, окружив, впрочем, безрезультатно, самые глухие уголки наименее доступной части острова, где Джек укрывался вдали от всякого человеческого жилья.

Джек был из тех сильных натур, рожденных чтобы властвовать, которым не хватает воздуха в тесной клетке, куда их забросила судьба, в обществе, которое хочет все принизить, всех заставить жить мелкими интересами. Такие натуры всегда порывают с людьми, которых они гнушаются, если не порывают с самой жизнью. Трехпалый Джек был ликантропом!²¹

Ридер и Сэм, изнуренные бесплодной охотой, решили пробраться в убежище Джека, взять его там силой или погибнуть.

Они прихватили с собой одного смелого юнца, хорошего и меткого стрелка, и отделились с ним от отряда. Едва лишь трое смельчаков, знакомством с которыми гордится наш доктор Мозли, пустились в путь, как тотчас их опытный глаз различил по примятой траве и зарослям кустарника, что недавно здесь кто-то прошел. Они тихонько пошли по следу, стараясь ничем не выдать себя, и вскоре приметили дымок.

Они приготовились к борьбе и кинулись на Джека прежде, нежели он мог их увидеть. Он жарил на маленьком огне бананы-пизанги прямо на земле у входа в пещеру.

Здесь-то и произошло действие, в котором необычные актеры сыграли необычные роли.

Джек бросал на них свирепые, страшные взгляды, он сказал, что убьет их. Вместо того чтобы стрелять в него, Ридер сказал, что *оби* Джека теперь уже никак не может ему повредить, ибо он крещеный и зовут его

* Собачья подачка (англ.).

** Разбойничьего города (англ.).

уже не Куошер. Джек знал Ридера, и от этих слов точно окаменел; он оставил свои два ружья на земле и захватил только нож.

Много лет назад им уже случалось отчаянно драться друг с другом, в схватке этой Джек лишился двух пальцев, отсюда и произошло прозвище *Three fingered* — Трехпалый. В тот раз он поборол Ридера и убил бы его и тех, кто ему помогал, если бы они не успели спастись бегством.

Правду говоря, Трехпалый Джек, если бы захотел, без труда мог убить Ридера и Сэма, ибо сначала они действительно испугались его вида и грозного голоса.

Да, он запросто мог это сделать, тем более что у тех не было иного выхода, и им непременно пришлось бы схватиться врукопашную с сильнейшим и свирепейшим из людей. Но Джек растерялся, ибо он самому себе предрек, что белый оби возобладает над ним, а по собственному опыту знал, что чары не потеряют в руках Ридера своей силы.

Не говоря ни слова, Джек с ножом в руке бросился в пропасть позади пещеры. Стреляли и Сэм и Ридер; пуля Сэма попала ему в плечо. Ридер, зажав в кулаке нож, не глядя, точно бульдог, кинулся за Джеком; почти отвесный обрыв был около тридцати метров глубиной; ни тот, ни другой, падая, не выпустили из рук ножа.

Место это и стало ареной, на которой начался кровавый поединок двух самых мужественных сердец, какие когда-либо бились в груди человека.

Молодой парень, которому велели держаться позади и не мешать их единоборству, появился над краем пропасти и во время схватки пустил Джеку пулю в живот.

Сэм был хитер, он хладнокровно пошел в обход, чтобы спуститься к самому полю боя; когда он подоспел, Джек и Ридер, вцепившись друг в друга, скатились вместе на дно другой пропасти у края горы; на этот раз при падении оба выронили свои ножи. Сэм, соскользнув туда за ними следом, также потерял тесак среди деревьев и кустарников. Когда он добрался до них, хотя и безоружный, он не остался в стороне; Ридеру повезло; рана Джека была глубокой и серьезной, начиналась жестокая агония.

Сэм явился как раз вовремя, чтобы спасти Ридера: Джек сдавил ему горло своей могучей хваткой; у Ридера была почти отсечена рука, а у Джека кровь хлестала из плеча и из живота; оба были покрыты запекшейся кровью, все в ссадинах и порезах. В таком положении Сэм стал судьей боя и решил исход дела. Он добил Джека обломком скалы. Когда лев был повержен, два тигра разможили ему голову камнем.

Вскоре после этого и молодой парень отыскал тропку и спустился к ним; у него был тесак, которым они отсекали Джеку голову и руку с тремя пальцами и снесли их в Морантбей; там они сложили свои трофеи в кадку с сахарной водкой и, окруженные огромной толпой негров, ко-

торые теперь уже не боялись *оби* Джека, отнесли их в Спаниш-Таун — Сантьяго де ла Вега, в Кингстаун, чтобы истребовать вознаграждение, обещанное в королевском воззвании колониальной ассамблеей.

VI

BLOOD'S REWARD *

Когда Ридер и Сэм проходили мимо, мне как раз случилось гостить в Спаниш-Тауне у двух очень стареньких старушек испанок, почти столетних сестер, родившихся в семье колонистов много лет спустя после 1655 года, когда адмирал Пенн с помощью большого числа английских и французских флибустьеров²² отвоевал остров у испанцев.²³ Это был единственный и сохранившийся в двух ипостасях памятник испанскому владычеству на этих землях; надгробья, принявшие человеческий образ, чтобы напомнить об иберийском прошлом, так же как друидические дольмены,²⁴ стоят еще и сейчас, чтобы напоминать нам о наших предках-галлах, ныне превратившихся в особый растительный пласт, покрывающий, точно некое удобрение, почву всей Франции. Эти вдовствующие праведницы, несмотря на то что правительство выплачивало им пенсию, ненавидели его черной ненавистью; пройдя нетронутыми сквозь несколько поколений, старушки эти не пожелали усвоить язык победителей и по-прежнему говорили на своем дивном кастильском наречии.

Умиленный поклонник всяческих развалин, я приехал их повидать. Мое посещение наполнило их радостью, омолодило чуть ли не на целый век, разбудило в их душе тысячу нежных и скорбных воспоминаний: они уговорили меня пожить у них несколько дней. Приняв меня как родного, они рассказывали мне о старине, которой, кроме них, никто уже не помнил, извлекая на свет божий, и, разумеется, уже в последний раз, уцелевшие сокровища своей памяти, перелистывая запыленные страницы книги великой радости, которую время тупо гложет как крыса и которой вскоре суждено навсегда закрыться и кануть вместе с ними самими в могилу.

Мы сидели у окна и мирно беседовали, когда вдруг послышался какой-то отдаленный гул и выстрелы из мушкетов. Мы поднялись и, высунувшись из окна, увидели наших героев, Ридера и Сэма, торжественно шествовавших, неся на острие пики голову и руку несчастного Джека. За ними следовала целая толпа; в большинстве своем это были кудхосы, из *maoon town'a*, разбойничьего городишка, одетые в грубые холщовые штаны и куртки, которые государство им выдавало раз в год,

* Плата за кровь (англ.).

а раз в пять лет — ружья в уплату за услуги, оказанные колонии. Эти молодчики были на острове чем-то вроде полиции или конной стражи; они задерживали и водворяли назад беглых негров, бродяг, прятавшихся в горах, и военнопленных, бежавших из Пор-Рояля. Это было пестрое сборище людей всякого рода, сущие клефты,²⁵ с которыми англичанам приходилось считаться и выполнять их требования, ибо приручить их они не смогли. Кличка кудхос произошла от имени одного из их отчаянных главарей. Лишившись возможности воевать, они стали дрессировать зверей, которых потом продавали на местном рынке. По большей части эти горцы отличались стройностью, высоким ростом, силой и ловкостью.

Неподалеку от дома моих старушек молодая негритянка, раненная должно быть в ногу, сидела на камне, задумчиво опустив голову. Внезапно восторженно отреагировав на выстрелы, которыми туземцы обычно выражают свою радость, она обратила лицо в сторону, откуда был слышен шум, и осталась недвижимой, точно львица, почуявшая добычу. Когда Ридер проходил мимо, она несколько раз окликнула его:

— Куошер! Куошер! . .

Но Ридер, заметивший ее еще издали, зазнавшись, отворотил голову.

— Куошер! Куошер! Ты уже забыл Авигею? . .

Ридер ничего не ответил и, казалось, ускорил шаги.

Негритянка снова присела на камень, повернувшись спиной к дороге, и просидела так весь вечер. Выйдя перед сном подышать свежим воздухом и прогуливаясь вокруг дома при свете луны, я вдруг увидел, что кто-то лежит, растянувшись на земле, прислонившись головой к придорожному камню, я подошел поближе — женщина спала.

На заре следующего дня я был разбужен грохотом, подобным тому, что был накануне; из любопытства я вышел: это были те же Ридер и Сэм, которые, получив обещанную королевским воззванием и колониальной ассамблеей награду, снова проходили мимо со своими земляками.

Вся свора горланила «ура», редела, как дикие звери, распевала хором песни, слова которых были мне незнакомы, плясала под звуки балафо²⁶ и еще каких-то инструментов, названия которых я уже не припомню, довольно распространенных у негров, — это лошадиные челюсти, брэнчащие, когда водят палочкой по зубам. Горцы эти все почти были пьяны и отвратительно неряшливы. Они, как видно, провели ночь в попойках и приволокли с собой из города несколько распутных женщин, соблазненных запахом денег.

Впереди четверо негров несли в корзинах, подвешенных на палку, плату за кровь, уже изрядно пощипанную ночным разгулом. Ридер шел впереди, мертвецки пьяный, под руку с такой же пьяной девкой.

Как только они дошли до нашего дома, молодая негритянка, лежавшая возле камня, завидев Ридера, внезапно вскочила, бросилась на него, как тигрица, и с криком: «Куошер, ты трус и предатель!» — вонзила ему нож в грудь.

На крик Ридера сбегались негры и окружили Авигею, но та размахивала над головой ножом, с которого капала кровь, и талисманом, тем самым оби, которым ее снабдил Джек, и нагнала на них страху, так что они пали перед ней ниц; пройдя по их телам, она убежала в горы.

Когда я говорил, что был в Спаниш-Тауне в то время, когда Сэм и Ридер проходили, я сказал неправду, я солгал, клянусь головой!..

Но пусть не винят меня в том, что я увлекся ужасами, это — сама правда! Беру в свидетели доктора Мозли и его «Treatise of Sugar». Это сама история!²⁷ И я не посмел ее подчистить, как отец Жуванси²⁸ подчищал классиков *ad usum scholarum*.*

В то время как я писал это, 6 января 1832 года, черное население Ямайки, вообразив, что король подписал указ об освобождении рабов, взбунтовалось в приходах Сен-Джеймс и Трелоне;²⁹ в первом селении было уничтожено пятнадцать дворов.

В Вестморленде, в Монтегю-Бэй сэром Уилобай-Котоном было объявлено военное положение.

Трех анабаптистских миссионеров заковали в кандалы как виновников и подстрекателей восстания.

В Монтегю-Бэй утвержден военный трибунал и назначены награды за поимку нескольких вожаков.

И сейчас вот, без сомнения, некоторым из этих африканских удальцов отсекли головы на плахе, и во имя христианского равенства английский топор вновь купается в крови рабов.

* Для школьников (лат.).

ДИНА, КРАСАВИЦА-ЕВРЕЙКА

Л И О Н



Читатель мой, пойми, я не преувеличил
Сей дивной красоты, сих строгих черт величья.
Была ль она такой иль чудилась глазам?
Не все ли мне равно, обман ли просветленный
Иль истина любовь как алгебры законы
И доказательства, — коль ощущаешь сам,
Что счастлив, счастлив, веря. . .

Теофиль Готье¹

Rosa mystica.
Turris Davidica.
Turris eburnea.
Domus aurea.
Foederis arca,
Janua coeli.
Stella matutina.
Regina virginum.*

Литания пресвятой девы

Поскорей уступи; ничто тебе не поможет,
милочка, это все равно что отойти, что прыгнуть
с разбега! Ах ты, сука этакая, кусаться возду-
мала! Ну, успокоимся, сударыня. Чччерт!

П. Л. Жакоб,² Добродетель и темперамент

*

Роза святейшая.
Башня Давидова.
Кости слоновой вся,
Чистого золота.

Связей сердечных свзд.
Синих небес врата.
Утра звезда ты нам,
Дева пречистая (лат.).

I

AMOUR É RÀSCO, RÈGARDO PA OUNTE S'ATÀCO *

Где нет ограды, там расхитится именно,
а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь.
Ибо кто поверит разбойнику, скитающемуся из
города в город?

Библия ³

Звонили в колокол: было время гасить огни; разводили подъемные мосты; запоздалые горожане заторопились. Богатей Лион, расположившийся между двух рек, готовился почтить, укрывшись в свои стены, как воин в железный панцирь.

По узкой пустынной набережной шагали двое — юноша и старик; шедший впереди слуга нес фонарь.

Я не совсем точно выразился, назвав это набережной, ибо в старину в большинстве случаев набережные, застроенные двойным рядом домов, больше походили на обычные улицы. Основания домишек, окаймлявших реку, омывались водой. Стоя на сваях или просто погруженные по пояс в болото, эти земноводные жилища фасадом своим выходили на улицу, в то время как противоположная сторона гляделась в реку, а отлогая, глубоко прорытая каменная лестница спускалась к испанскому водоему, местами отделенная от воды полоской земли, местами затопленная до половины.

Сколько преступлений перевидали эти камни!

От скольких убийств должны были содрогаться стены! О ужас! Проще простого было избавиться от врага, от соперника, от постылой жены, от зажившегося отца; несчастную жертву сбрасывали вниз: открывали люк, и все кончалось. . . Самое большее, слышался плеск падающего тела — гул водоворота заглушал предсмертные хрипы. О, если бы эти хранящие столько тайн развалины заговорили! . .

Юноша, закутанный в светлый плащ, под фетровой шляпой, надвинутой чуть ли не до самых усов, был высокого роста и строен; по его развязной и щеголеватой походке, по бряцанию шпор, по шпаге, приподнимавшей край плаща, вы бы без труда распознали дворянина.

Старик кутался в черный плащ; из-под черной же бархатной шапочки выбивались седеющие волосы; в руках он держал свиток пергамента: словом, даже на расстоянии выстрела можно было бы узнать в нем доктора прав.

Но был ли то член муниципального совета, прокурор, судья или обыкновенный нотариус, — так или иначе черная ворона эта внезапно прервала молчание.

* Любовь что чесотка, обе нападают вслепую (*прованс.*).

— Сеньер Эмар, — прокаркала она, — не сочтите меня чересчур бесцеремонным, но сия девица, с коей мне предстоит иметь дело, ежели верить вашему совершеннейшему вкусу, должно быть, недурна, не так ли?

— Хороша ли она, почтенный? О, признаюсь, ваш вопрос оскорбляет меня, мне кажется, что нет человека, который не ощутил бы на расстоянии ее красоту. О, моя Дина, он еще спрашивает, красива ли ты!.. Да она прелестнее самой распрекрасной суданской саражинки! Это башенка из слоновой кости, сосуд из чистого серебра.

— По крайней мере, сеньер Эмар, надеюсь, вы не потребуете, чтобы я на расстоянии ощутил ее богатство? Золото у нее есть?

— Вы спрашиваете, есть ли у золота золото, вы спрашиваете, сияет ли солнце. Да, сударь мой, у нее достаточно золота, чтобы раздавить весом своего приданого самого крепкого иноходца.

— Вы молоды, сеньер Эмар, чего же ради вы так спешите жениться? Поверьте моей опытности, надо смирить уздой пыл норовистого жеребца, надо немало поскитаться и потрудиться на свете, прежде нежели заточить свою любовь в одной-единственной женщине. Это ведь серьезное дело — шутка ли закабалиться навеки! Послушайте, я вот вступил в эту корпорацию в сорок лет, ей-богу же, в самый раз! Когда жизнь начинает клониться к закату, человеку нужна поддержка, согбенному путнику нужен посох, хозяйка, которая взяла бы на себя все заботы; вот тут-то и выбираешь девушку кроткую и добрую, с завидным достатком. Так я и поступил, лучше нельзя придумать. Честное слово, молодость люди должны проводить бурно, шумливо; я вот вспоминаю мою парижскую жизнь, мне было тогда двадцать лет, и я стал судейским писцом!.. Уж славы-то сколько было, славы! В пословицу вошел, послужил, можно сказать, вехой для исчисления времени: и по сей час помнят во Дворце Правосудия о веселеньких годочках Бонавантюра Шастеляра.

Приподняв магистерскую шапочку и раскланиваясь, весельчак подъячий хихикал и взвизгивал, с восторгом вспоминая былые проказы, а может стать, и подлости.

— Не хочу вас обидеть, мэтр Бонавантюр Шастеляр, но позвольте, однако, вам заметить, что советы ваши не очень-то благородны, хотя, можете быть спокойны, лично мне они не причинят никакого вреда.

— Вы очень решительны в своих суждениях, молодой человек, но я не считаю себя побежденным и сошлюсь на мудрого Пьера Шаррона,⁴ парижского доктора прав. Святое таинство брака само по себе — вещь ничего не стоящая; послушайте, вот доподлинные слова, сказанные по этому поводу в одной весьма язвительно написанной главе его трехтомного сочинения, посвященного мудрости, на которое я всю жизнь молился.

Хотя брачное состояние есть источник и основа общества человеческого, *prima societas in conjugio est, quod principium urbis seminarium*

geipublicae,* многие великие люди резко осуждали брак, решив, что таковой недостойн людей умных и благородных, и выдвигали против него все эти возражения.

Узы его — это несправедливое и жестокое рабство, особенно ежели ошибешься выбором, прогадаешь в корысти приговоре либо возьмешь более золота, нежели прелести. Приходится потом по гроб каяться. Какая уж тут справедливость, когда сделкою, заключенной в течение какого-нибудь часа, ошибкою, совершенной не только без всякого злого умысла, но помимо твоей воли и из одного только послушания, из желания последовать чужому совету, ты обрекаешь себя на вековую муку? Уж лучше петлю на шею да в омут головой — и кончить свои дни поскорее, нежели ежечасно терпеть возле себя сварливую злобу, либо упрямую глупость, либо еще какие ни на есть несчастья.

Тот, кто выдумал супружеское ярмо, нашел вернейший способ отомстить людям, он расставил капканы, раскинул сети, чтобы ловить дичь, а потом поджаривать ее на медленном огне.

Брак развращает и губит большие и редкие умы; ведь ласки любимой жены, привязанность к детям, заботы о доме, о семейном уюте расслабляют, развенчивают, умаляют силу величайших людей: примеры тому Самсон,⁵ Соломон,⁶ Марк Антоний.⁷ На худой конец, следовало бы женить лишь тех, в ком больше тела, нежели души, и взвалить на них в соответствии с их способностями все мелкие и низменные заботы. Но неужели же не жаль приковать и привязать к плоти, как животное к стойлу, тех, в чьем слабом теле живет великий дух?

Польза, возможно, и будет на стороне брака, а уж честность, разумеется, — на другой.

Брак мешает человеку странствовать по белу свету, чтобы набраться мудрости или же самому научить чему-то других; он опошляет и принижает духовное начало, привязывая мужчину к женской юбке и детям.

— Довольно, довольно, мэтр Шастеляр. Довольно, умоляю вас!

— Но это еще полбеда. . .

— Хватит, хватит, прошу вас, мэтр Шастеляр, вы меня совсем оглушили! . . . Кончайте свое пустозвонство!

— Натуры развращенные, люди, поврежденные в уме и сумасбродные, для этого не годятся. . .

— Хватит, хватит, прошу вас. Проклятущее краснобайство!

— Не горячитесь, любезный кавалер, по крайней мере, уж вы-то не обвините меня в том, что я, подьячий, королевский стряпчий, сужу со своей колокольни.

— Может быть, оно и так, даже, может быть, оно и справедливо, мэтр Бонавантюр Шастеляр, но это никак не общее правило. Вы только

* Первое, что связывает людей, — это супружество; с него начинается государство, зарождается всякое общество (лат.).

что говорили, что следует умерить свой жар, — совершенно согласен, но для человека с горячо любящей душой, для того, кто бежит таверн и ненавидит игру в кости и разврат, — для того все счастье заключается в милой приветливой жене, мирном очаге и куче ребятишек! Я горяч, но чист, мое пылкое сердце жаждет предмета высокой безмятежной любви! Сперва я предался свободным искусствам, желая воодушевиться ими, отдать им свои силы, но отец, которому хочется изображать собою владетельного сеньера, для кого все художники проходимцы, а ремесленники прошелыги, сломал мой мольберт и сжег все, что я писал о Филибере Делорме.⁸ Скусающая и праздная душа моя выпорхнула как голубь из ковчега и стала искать какой-нибудь ветки, чтобы сесть; она выбрала цветущий мирт и склонилась к нему... Если есть Далилы, подрезающие силы любовников и предающие их, то есть и такие, что поддерживают их, источают вокруг себя счастье и льют бальзам на все наши раны.

— Ах, ах! Сеньер Эмар, сколько пышных фраз! Любовь нас сводит с ума, вот мы теперь и бредим. Однако же что-то уж очень долго мы с вами блуждаем, скоро ли мы наконец доберемся? Святой Поликарп! Куда же, черт возьми, вы меня завели?

— Сами-то вы, пожалуйста, не горячитесь, Шастеляр, мы почти дошли; еврейский квартал совсем уже близко.

— Еврейский квартал?

— Да! Еврейский квартал, где нас ждут.

— Как, неужто ваша невеста еретичка? Еврейка?

— Израильтянка, сударь.

— Господи Иисусе! Час от часу не легче! Вам вздумалось затащить меня в эту пору к нехристям, благодарю покорно! Вы что хотите, чтобы я возглавил синедрюн⁹ или поплясал на шабаше ведьм? Покорнейше благодарю! У меня нет ни малейшей охоты хороводиться с этим проклятым племенем. Да это настоящий заговор, вы задумали натянуть на меня желтую рубаху и сдать меня господину Карнифексу,* чтобы меня сожгли живьем в нечистом месте! Благодарю покорно!

— Чего вы опасаетесь, Бонавантюр? С вами истый дворянин. Нет здесь ни шабаша ведьм, ни синедриона, просто надо составить брачный контракт.

— Мальчишка! За кого вы меня принимаете? Что я вам — приказный по делам преисподней?.. Вы и без меня отлично скрепите свои контракты сами. До свиданья!

— Ты пойдешь со мной, говорят тебе, а не то я приколю тебя к этим дверям, как филина! Дурак! Осел в попоне правоведа! Пойдешь со мной и исполнишь свой долг, а потом я швырну тебе в лицо этот кошель и пихну в зад сапогом; пошел!

* Палачу, — лат. carnifex (прим. ред.).

— Господин кавалер, я все сделаю как вам захочется, только воткните шпагу в ножны. — Бедняга весь трясся с перепугу. — Умоляю вас, успокойтесь, я ваш покорнейший слуга.

— Трус! . .

Эмар вложил клинок в ножны, и оба молча продолжали свой путь. Минуту спустя Бонавантюр Шастеляр, лицензиат по словоизвержению, вторично нарушил обет молчания.

— Позвольте мне, сеньер Эмар де Рошгюд, по меньшей мере высказать вам свое крайнее удивление по поводу вашего союза с еретичкой; в качестве человека многоопытного и судейского доки разрешите вам указать, сколь непристойно и опасно брать в жены еврейку.

— Сам ты еврей!

— Это я-то! . .

— Да! Осел! Кто же ты такой, если не бедный еврей?

— Я, Бонавантюр Шастеляр, законный сын Клода Шастеляра, почетного печатника лионской примасской церкви, и дамы Анны Петрониль-Магелон де Сен-Марселен, матери моей, да хранит их господь в лоне своем! И младший брат Пантелеона Шастеляра, казначея-келаря капитула Святого Павла! Это я-то еврей, еретик! Да вы просто рехнулись!

— Похуже правоверного еврея, доктор! Вдумайтесь в существо дела, разве все мы не язычники или отколовшиеся иудеи, неверные, еврейские гугеноты из секты Иисуса Назарянина, отщепенцы, ренегаты, отступившие от Моисеева закона, от сабеизма,¹⁰ от саддукеев,¹¹ от многобожия — ради новшеств Вифлеемского селянина. Мы сущие чудовища! Мы хотим сравнять с землей скалу, откуда бежит поток, нас поящий. Выродки! Мы готовы убить нашего общего предка. Мы сжигаем иудеев и лобызаем их книги — блажь! Мы сжигаем их за то, что они верны своим законам, своему богу, а вокруг их костров мы распеваем псалмы их же царя Давида,¹² вознося к небу Hosanna in excelsis! * Кровавый маскарад! . .

— Ну, теперь уж, должно быть, скоро придем, сеньер Эмар?

— Скоро.

— Но как, скажите ради самого Вельзевула, князя тьмы, как это вам удалось раздобыть себе эту ласточку?

— Случай.

— Случай?

* Слава в вышних! (лат.).

II

ACO'S FA CANSON DE L'AGNEL BLAN *

Голубица моя в ущелье скалы под кровом
утеса! Покажи мне лице твое, дай услышать го-
лос твой, потому что голос твой сладок и лице
твое приятно.

Библия¹³

Да, каждый год я выезжал из Монтелимара, где я родился и где жил мой отец, чтобы провести от нечего делать несколько дней в Авиньоне. Однажды вечером, когда я прогуливался от скуки по городскому валу, стараясь уйти от многолюдья и шума, меня невольно привлекли звуки чарующей музыки, и я оказался, точно пробудившись от сна, в самой гуще толпы, на лужайке, где по вечерам собирается избранное общество города и бродячие певцы и музыканты, играющие на лютне, на мандолине, на виоле,¹⁴ на трубе и на букцине,¹⁵ услаждают его своим пением и игрой.

Сколько чудесных вечеров я провел там под темно-синим небом, усеянным звездами, на овевавшем нас свежем вольном ветерке, душистом и певучем, убаюканный и зачарованный звуками человеческих голосов и божественной музыки! О, какой это был восторг! В особенности, когда запевали какую-нибудь песню или романс на сладостном провансальском наречии или когда в праздничные дни раздавалась церковная музыка, духовные гимны, торжественные погребальные каноны, величавые псалмы, томный звучный *Stabat*,** загробный *Dies irae*,*** который даже без органа и таинственной темноты церковных сводов заставляет содрогнуться от ужаса, как одинокое ночное созерцание бесконечности.

Точно на турнире, девушки и дамы сидели в кругу на почетных местах; снисходительные мужья и поклонники услужливо расположились за их спинами, расточая любезности и лоя малейшее движение пальчика, каждый брошенный украдкой взгляд, знак одобрения и удовольствия, чтобы тут же похлопать мотетам или певчему, угодившему их даме.

В тот самый вечер я заметил подле себя поодаль от дам и в стороне от толпы совсем юную девушку, склонившуюся на плечо старика.

В удивлении я обернулся и залюбовался ею.

Музыка тотчас же перестала меня занимать, я ее уже не слушал или, может статься, она уже не достигала моего слуха, я весь был поглощен красотой молодой девушки. Слова бессильны сказать, какое это было

* Так сказывается сказка про белого ягненка (*прованс.*).

** Стояла скорбящая мать (*лат.*).

*** Гнев божий (*лат.*).

упоение: неподвижный, как изваяние, чье мраморное сердце вдруг забилось, я изучал ее, она казалась мне пресвятою девою, окруженной сиянием, сошедшей с картины Бартоломео Мурильо или Диего де Сильвы Веласкеза. Я не мог отыскать в памяти образа, сколько-нибудь схожего с этой красотой, она не походила ни на красавиц моих родных гор, ни на очаровательных арлезианок, ни на шустрых марселек, ни на лионских прелестниц, ни на парижских барышень, ни на белокурых брабанток; в ней было что-то восточное, неземное, неведомое!

Рыжие волосы, удлинённые черты исполненного благородства лица, где алый румянец сочелся с ослепительной белизной, нежный взор из-под полуопущенных прозрачных век, гранатовые губы. Одеты она была просто, но драгоценные камни вплетались ей в волосы, ниспадали на лоб, уши, грудь и сверкали на пальцах, выдавая ее богатство.

Седобородый старик, сидевший подле нее с непокрытою головою, казалось, дремал, опершись на палку.

Так я долго глядел на нее и не мог оторваться, как вдруг ненароком она остановила на мне взгляд своих прекрасных синих глаз. Зрачки этих глаз, словно пули, пущенные из аркебузы,¹⁶ поразили меня в самое сердце. Впервые в жизни ощутил я подобное потрясение при виде женщины; ноги у меня подкосились от сладостного волнения, я краснел и бледнел, леденел и пылал, вся жизнь моя, вся душа, вся кровь устремились к восхищенному сердцу. Мой взор, движимый неведомой силой, обратился внутрь и, казалось, видел лишь то, что творилось в это время у меня в груди. Впервые я испытал на себе женские чары, впервые был поработан, впервые любовь, доселе неведомая и казавшаяся мне страшной, поражала меня, как молния, которая ударила в голубятню и не находит выхода. Вот так и любовь моя его не нашла; страсть моя будет длиться вечно.

Очнувшись и вернув себе утраченную храбрость, я воспользовался передышкой певцов и, подойдя к старику, почтительно поздоровался с ним и сказал:

— Мессир, позвольте мне выразить удивление по поводу того, что столь знатная молодая особа находится вдали от общества, которое бы ее присутствие весьма украсило. Ежели вам будет угодно, я пойду впереди, и толпа расступится, пока вы не проводите ее в кружок дам.

— Милостивый государь, я не могу воспользоваться вашим любезным предложением; благодарю вас от всего сердца.

— Вы отменно любезны, мессир, — ответил я, — но отсюда мадмуазель будет трудно расслышать музыку.

В это мгновенье прелестная девица, зардевшись, поклонилась мне в знак благодарности, я же так смутился, что пробормотал что-то очень невнятное.

— Милостивый государь, — сказал тогда старик, — дочь моя Дина весьма вам признательна за ваше участие, я также сердечно вас благо-

дарю, но для нас это невозможно, мы из чужого роя, и пчелке нашей нельзя забираться в осиное гнездо, ей это слишком дорого обойдется.

Я отошел; у меня было легко на душе, и я втайне радовался своей смелости. Однако я удалился лишь на несколько шагов, не теряя их из виду и не упуская возможности последовать за ними до их дома, в надежде разузнать о прекрасной незнакомке, увидеть ее на балконе, пробраться к ней самому или послать ей записку. Я тешил себя заманчивыми планами, игрою воображения; я узнаю, где она живет, прохожу под ее окном, она склоняется ко мне, я улыбаюсь ей, снимаю шляпу, жду, когда она выйдет, подкупаю ее дуэнью; или же следую за нею в церковь, мы как бы нечаянно встречаемся возле кропильницы, я слегка касаюсь перстами ее хорошенького пальчика, передавая святую воду; она подносит ее к милому личику, которого вскоре коснутся и мои губы. Все уже уладилось, я объяснился ей в любви, она мне ответила взаимностью, я принят в доме ее отца. Я испытывал неизъяснимое блаженство, я предавался мечтам. Однако по временам загадочный смысл речей, сказанных старцем, смущал меня: «Мы из чужого роя, и пчелке нашей нельзя забираться в осиное гнездо, ей это слишком дорого обойдется». Я строил тысячи догадок и начинал в них верить; фантазия моя все поминутно преображала: то мне казалось, что родина их — Испания, то — Богемия, то Босния, то Венеция, то Кифера; я производил их то в господарей, то в бояр, то в князей, путешествующих инкогнито, в изгнанников, потом предположения эти казались мне дикими; в самом деле, все это не могло побудить их держаться особняком и бояться беды. Затем я стал думать о самом имени Дина, оно не было мне незнакомо, мне смутно вспоминалось, что я уже слышал его, но я никак не мог припомнить, где и когда. Отдаленный шум заставил меня внезапно очнуться и разогнал все мечтания. Я стоял, опершись на ограду, в полном одиночестве, на опустевшем валу. Концерт окончился, и толпа разбрелась. Я топнул ногой, проклиная свою неуместную рассеянность; за миг счастье мое исчезло, нет больше надежды снова увидеть ее, страсть, вспыхнувшая ех abirto,* теперь столь же стремительно обрывалась.

Ах, не правда ли, встреча с милым существом, которое привлекает вас, завладевает вашими мыслями, какое это великое страдание! Вы повстречались на прогулке, на балу, в пути, в церкви, вы взглянули на него, на вас посмотрели в ответ, вы коснулись руки, вы поговорили украдкой, и вот вы влюблены, очарованы, захвачены, вы строите мечты о будущем, это уже любовь, пустившая корни, и внезапно, в одно мгновение, краткое, как вздох, как взгляд на небо, существо это упорхнуло, как птица, видение погасло — и вы остаетесь потрясенный, убитый. Мысль о том, что вы никогда больше не увидите молнию, ослепившую

* Внезапно (лат.).

вас, женщину, неожиданно ставшую вам подругой и пробным камнем всех способностей ваших и сил, мысль, что два существа, созданные друг для друга, для совместного счастья здесь, на земле, и даже в вечности, разлучены навсегда и обречены влачить жалкую жизнь, никогда уже не найдя родственной души и дорогого им разума и сердца, — мысль эта несказанно горька.

Долго прохаживался я по валу, сетуя на свою роковую неудачу и насмешку судьбы, которая поразила меня своей коварной стрелой, заронила мне в сердце любовь к женщине и тем нанесла мне смертельную рану.

Я бродил и проникался одиночеством и покоем, то и дело нарушаемым милым образом Дины, вновь и вновь проносившимся передо мной, касаясь моего лица и погружая меня то в мятежные бури, то в аскетический экстаз, то в лихорадочное сладострастие.

Когда я пришел к себе, башенные часы пробили час, час ночи; мучимый бессонницей и возвращаясь мыслями к пережитому, я вспомнил, что имя Дины, показавшееся мне знакомым, встречается в Библии; я зажег лампу, раскрыл свою Библию, всегда лежавшую на столике у кровати, и, перелистывая Книгу Бытия, прочел в главе XXXIV о том, как Дина была уведена Сихемом.

«¹ Дина, дочь Лии, рожденная от Иакова, вышла посмотреть на дочерей земли той. ² И увидел ее Сихем, сын Эммора Евейнина, князя земли той, и взял ее, и возлег с нею, и принудил ее насильно» и т. д., и т. д.

Находка эта исполнила меня радостью, я заключил, что, коль скоро у этой девушки еврейское имя, она, очевидно, еврейка. Восточный облик ее подтверждал мою догадку, и этим же я объяснил загадочный смысл слов, сказанных мне ее стариком-отцом. Успокоенный своим открытием, подбодренный этой маленькой удачей, я снова окрылился надеждой отыскать ее жилище и торжественно поклялся сделать все, чтобы достичь цели.

На следующий день рано утром я обегал весь город и, решив, что они, очевидно, приезжие иностранцы, начал с гостиниц; я ходил от «Золотого Креста» к «Святому духу», от «Герба Франции» к «Трем Маврам», от «Серебряного Льва» к «Святому Видалю», повсюду спрашиваясь у хозяев, не остановился ли у них седобородый старик с юной дочерью по имени Дина. Но я всюду получал только отрицательные ответы. Я пошел к раввину, но и от него ничего не узнал.

Тогда, не падая духом, я стал опять ходить на гулянья, бродил по городскому валу, по площадям, посещал церкви, заглядывал в синагогу, не пропустил ни одного концерта, ездил даже в окрестности; но все было напрасно: я так и не напал на их след. После двухнедельных непрерывных и трудных поисков я отказался от этой мысли. Однако необходимость

что-то делать поддерживала меня; без нее я сразу впал в отчаянье и в тоску; я перестал выходить, пролеживал полдня в постели, держа открытой Библию, и снова и снова перечитывал и целовал страницу, на которой светилось имя Дины.

Авиньон мне опостылел, я ненавидел его, я ненавидел все на свете; все мне казалось смрадным и пошлым, и эта страшная пустота постоянно становилась между мною и миром; меня стала преследовать мысль о смерти; мысль эту я, правда, и раньше постоянно носил в себе тяжелой ношей. Сердобольная хозяйка посоветовала мне съездить на несколько недель к отцу, поразвлечься и оправиться от недуга, который она по доброте своей приписывала глетворному весеннему воздуху.

Итак, я возвратился в Монтелимар, но тоска моя неотступно следовала за мной. Уже с давних пор мне хотелось посмотреть прекрасный город Лион, вот я и отправился туда без промедления.

III

LOU GAL RÈMÈNO L'ALO *

Повела бы я тебя, привела бы я тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблок моих.

Библия 17

Спустя несколько дней после моего приезда в этот город, где скука уже одолевала меня и где я укрепился в моем решении покончить все счеты с жизнью, за углом величественного и мрачного собора Святого Иоанна я увидел вдруг молодую девушку, она очень спешила. Походка ее показалась мне знакомой, я догнал ее, — это была Дина! И, однако, я не посмел себе в этом признаться, не посмел остановить ее и к ней обратиться. Я следовал за нею на расстоянии нескольких шагов, негромко окликая ее время от времени: «Дина! Дина!».

Наконец она обернулась и поздоровалась со мной, хотя, как видно, не узнала меня. Тогда я заговорил с нею, весь дрожа.

— Сударыня, — начал я, — помните, как в Авиньоне, на городском валу, на концерте к вашей бабушке обратился молодой человек, вы еще тогда поблагодарили его за любезность?

— Как! Это вы? .. — воскликнула она, приметно волнуясь, и коснулась моей руки, вся зардевшись, опустив голову, будто рассматривая плиты соборной паперти.

* Петух хлопает крыльями (*прованс.*).

— О, прелестная Дина, как я счастлив, что вас повстречал! Не отталкивайте меня, дайте мне излить мои муки, все, что накопилось за это время в сердце. С того самого часа, как я увидел вас, я потерял покой! Вы возбудили во мне внезапную любовь, безудержную страсть.

Я ждал окончания концерта, чтобы проводить вас до дома, в надежде рано или поздно открыться вам в своей любви; с волнением слушал я музыку, и мне хотелось, чтобы она поскорее умолкла; но вы так сильно поразили меня в самое сердце, что мало-помалу я забылся в мечтах, а когда очнулся, то увидел, что стою один на валу; я долго искал вас потом, блуждая по городу, и все было тщетно; я дошел до отчаянья, смертельная грусть овладела мной, и, как видите, красавица Дина, я влачу свою тоску за собой! О, да будет благословенно небо, если это оно посылает мне счастье снова вас видеть! Вы, Дина, владычица моей жизни, я на коленях перед вами. Не отталкивайте меня, вы меня убьете!..

— Сударь, не годится молодой девушке останавливаться так посреди улицы и вести разговоры с мужчиной; не удерживайте меня, прошу вас, успокойтесь, смотрите, прохожие на нас оглядываются.

— Заклинаю вас, войдемте тогда в эту мрачную церковь, там под темными сводами мы поговорим о любви вдали от косых взглядов.

— Нет, сударь, мне нельзя ступить в храм, где обитает враг моего бога. Мой отец очень бы огорчился, если бы об этом узнал.

— Какой же у вас бог?..

— Бог Израиля!

— Я так и подумал, когда прочел ваше имя в Книге Бытия. Если так, то будьте мне сестрой, позвольте мне вас проводить, и мы поговорим.

— Я вполне на вас полагаюсь, сударь.

— Давно вы живете в Лионе?

— Я здесь родилась, сударь.

— Мне следовало об этом догадаться по вашей красоте. Но когда же вы уехали из Авиньона?

— На следующий день после того, как вы меня увидели на концерте. Может быть, нехорошо быть такой откровенной, но я не умею лгать: я тоже была взволнована, когда увидела вас, и какое-то новое чувство овладело мною; я заметила ваше волнение и поняла, что скрывается за вашей учтивостью. Когда мы поднялись, чтобы уйти, вы стояли, опершись об ограду, и были в такой задумчивости, что мы прошли мимо вас, а вы даже не заметили, как отец вам поклонился. Я несколько раз оборачивалась дорогой, но никого не увидела. Может быть, не принято во всем этом признаваться, но только это правда. Воспоминание о вас всю ночь не давало мне покоя. Я пыталась уговорить отца отложить наш отъезд в надежде повидаться с вами еще раз на концерте, но все было напрасно; отец ведет торговлю драгоценными

камнями и наезжает в Авиньон по делам, а тут его безотлагательно отозвали в Лион. Я тоже ужасно страдала с тех пор. — Девушка утерла набежавшие слезы. — Увы! Мне было никак не свыкнуться с мыслью, твердившей мне: «Ты его никогда не увидишь». Однако я должна была через несколько месяцев снова возвратиться в Авиньон, и я надеялась. . .

— О, Дина, Дина, как я счастлив! О! Как я вас люблю! О! Как вы мне дороги! Я вас обожаю, верьте мне, вы моя Рахиль,¹⁸ мой добрый ангел во плоти. Дина, до того часа, как вы явились мне, я гордо и презрительно проходил мимо женщин, а теперь я припадаю к вашим стопам!

— О, если все, что я к вам чувствую. . . Но скажите же мне ваше имя, чтобы и я могла вас называть.

— Эмар де Рошгюд.

— О! Если все то, что я к вам испытываю, мой Эмар, если все то, что я чувствую, — любовь, то, поверьте мне, я действительно вас люблю!

Так, признаваясь друг другу в наших чувствах, мы добрались до самого порога Динино дома, и тут я попросил у нее следующего свидания.

— А зачем же? — спросила она.

— Чтобы мы могли видеться и говорить о любви!

— Эмар, нам нет нужды в свиданиях: вы человек благородный, вы меня любите, я вас тоже люблю, приходите запросто к отцу, если хотите, поднимемся хоть сейчас. Я скажу отцу: «Вот молодой человек, который с вами беседовал однажды на авиньонском валу вечером во время концерта. Разве вы его не узнаете? Сейчас я его повстречала, у него никого нет в этом городе; он всем сердцем меня полюбил, я его тоже люблю. . .». И отец примет вас и будет любить за вашу любовь ко мне.

Я вошел. Добрый старик Иуда встретил меня приветливо и представил своей супруге Лии; и с тех пор вот уже добрых десять месяцев я, можно сказать, все свое свободное время провожу в их доме.

Моя любовь к Дине еще больше возросла благодаря этой целомудренной и упоительной близости; я окружил заботами и всевозможными знаками внимания старого Иуду, обласкавшего меня, и Лию, заменившую мне родную мать, которой я лишился еще ребенком.

IV

PLOUJHAS DE MARSELHA *

Он сойдет, как дождь на ско-
шенный луг, как капли, орошающие
землю.

Библия¹⁹

В эту минуту они свернули в какую-то улицу.

— Мэтр Бонавантюр Шастеляр, — сказал тогда Рошгюд, — не зевайте так громко, прошу вас, вы такой шум подымаете, что весь город перебудите, того гляди сбежится стража.

— Сеньер Эмар, дело в том, что...

— Ладно, ладно, утешьтесь, все позади; к тому же мы уже на месте. Вот и еврейский квартал.

— Господи Иисусе! Еврейский квартал!.. — вскричал стряпчий, весь трясясь и то и дело осеняя себя крестным знамением.

— Да, любезный, это здесь, вон на том углу, тот красивый дом с витиеватой башенкой, построенный вашим славным земляком Филибером Делормом.

— Филибером Делормом!.. Чернокнижником, не правда ли? Звездочетом?.. О, горе мне, сеньер Эмар, прошу вас, прикройте меня немного вашим плащом, я смертельно боюсь! Мне так и кажется, что сверху что-то плюхается нам на голову; а мне не раз приходилось слышать, что вовсе небезопасно ходить ночью по еврейскому кварталу, что там на голову так и сыплются всякие котлы да реторты, черные коты да корни мандрагоры,²⁰ летучие мыши да греческий огонь²¹...

— Слыханное ли дело в ваши лета верить подобным небылицам? А еще правовед! Законник! До чего же вы жалки! Мэтр Бонавантюр, честью поручусь и заверяю вас, что если сверху что и падает по ночам в этом квартале, то уж наверняка не мандрагоры и не черные коты!

* Марсельские дожди (прованс.).

V

MELH ÈS NOCÈIAR QÈ ÈSSER USCLAT *

Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от господя.

Библия ²²

Слуга, шедший впереди с фонарем, остановился посреди улицы напротив дома, окна которого на шестом, седьмом, восьмом, девятом и десятом этажах были заклеены промасленной бумагой: должно быть, там жили парчевники и шелкоделы, которым нужен мягкий и слабый свет. Дверной проем был узеньким и низким, Эмар был на целую голову выше. Тяжелые деревянные ворота, все в резных ромбах, были украшены и укреплены большими гвоздями со шляпками, круглыми как миланские щиты. На середине двери висела кованая медная колотушка в виде забавного человечка; верхний косяк двери был изрешечен крестообразными перекладинами.

Эмар де Рошгюд дважды стукнул задом медного человечка в дверь — на третьем этаже тут же со скрипом отворилось окно и нежный голос спросил:

— Это вы, сеньер Эмар? Сейчас спущусь.

Лестница сразу засияла огнями, и свет из высоких окон косыми полосами скользнул по стене противоположного дома. Дверь растворилась с протяжным стоном: Дина предстала во всем своем великолепии, выделяясь среди мрака, одетая в коротенькое парчовое платье и по обыкновению вся увешанная драгоценными камнями. Ее белое лицо светилось в темноте; можно было подумать, что перед вами ангел, приносящий благую весть. Тоненькая ручка ее держала узорный железный подсвечник, перевитый спиралью и похожий на перегонный куб какого-нибудь алхимика.

При виде такой красоты Шастеляр от изумления широко открыл глаза и попятился на несколько шагов — так неотразима бывает настоящая женственность! Эмар подошел к невесте, взял ее за руку и поцеловал в увенчанный фероньеркою лоб.

— Вы опоздали, — сказала она недовольным голосом.

— Это верно, я действительно задержался, но не по своей вине; не браните меня, прошу вас. Не мог же я явиться без нотариуса, вот он.

Тут Бонавантюр Шастеляр снял свою судейскую шапочку и отвесил Дине немало нижайших поклонов; потом они поднялись по каменной винтовой лесенке, держась за служивший поручнем канат, весь истертый и

* Лучше вступить в брак, нежели быть сожженным (прованс.).

лоснившийся, как рукоять копья. Пока они взбирались наверх, Бонавантюр то и дело дергал Эмара за рукав и шептал ему в ухо: «Ну и хороша же эта еретичка, что правда, то правда, Рошгюд!».

— Отец, — радостно закричала Дина еще с площадки, — это Эмар и с ним нотариус!

Они прошли галерею, нависавшую над двором, и вошли в большую залу, освещенную канделябром на позолоченной деревянной подставке. Стены были обшиты золоченым сафьяном, тисненым и рифленным, как корешок переплета. В глубине комнаты, в просторной нише, стоял буфет наборного палисандра, инкрустированный слоновой костью и перламутром; на доску из швейцарского мрамора в красновато-коричневых крапинках, выдолбленную посредине в виде кропильницы, из урны струилась вода. Справа и слева стояло по большому оловянному кувшину, пузатому как амфора и похожему на те, с которыми и сейчас еще служанки ходят по воду к уличному фонтану.

У одной из стен стояла застекленная горка, полки которой сплошь были уставлены деревянными чашами, наполненными бирюзой, аметистами, бериллами, ониксом, сердоликами, неограненными рубинами, изумрудами, авантюринами, топазами, бриллиантами, япис-лазурью, марказитами и множеством других камней. Под стеклом висели гранатовые, янтарные, коралловые и жемчужные ожерелья и многое другое — все то, чем торговал гранильщик Иуда.

Сам он в наглухо застегнутой черной куртке сидел в кресле перед столиком, накрытом бергамской тканью скатертью, на которой лежала Библия in folio с тяжелыми застежками, и громко и торжественно читал что-то из Исхода.

Его супруга Лия в праздничном наряде сидела по левую руку от него; смуглая кожа ее шеи и рук почти сливалась с темно-коричневым муаровым платьем; густые длинные рыжеватые ресницы и брови укрывали глаза, светившиеся точно сквозь сетку. Ее крючковатый нос резко выдавался, точно лезвием ножа деля лицо пополам. Но, вообще говоря, во всем ее облике были достоинство и учтивость, а мягкий и сладкий звук ее голоса пленил бы каждого.

Неподалеку от нее расположилась группа мужчин и женщин: их полу-восточные костюмы и головы в иноземных тюрбанах говорили о том, что родом они из Месопотамии. Все это были близкие родственники и свойственники Иуды, собравшиеся, чтобы присутствовать при обручении и подписать брачный контракт. Я не берусь сказать, были это талмудисты или караимы,²³ но зато я смею утверждать, что все они по семейной традиции причисляли себя к племени Аарона.²⁴ Когда Эмар вошел, они склонили головы и приветствовали его, а тот в ответ низко им поклонился.

— Простите, любезные родственники, — сказал он, положив шляпу и плащ, — если я заставил себя ждать, это по вине нотариуса, Бонавантюра Шастеляра, которого я имею честь вам представить. Нельзя было дольше

откладывать: как вам хорошо известно, отец принуждает меня воротиться в Монтелимар, и я завтра же должен уехать под угрозой лишиться наследства.

— Юдифь, — сказал Иуда старой служанке, стоявшей у входа, — подвинь столик и скамью, принеси чернильницу, чтобы господин стряпчий смог приступить к исполнению своих обязанностей.

Стоя справа от отца, Дина обменивалась с Рошгюдом понятными им одним улыбками, потешаясь над растерявшимся Бонавантюром, который в это время лихорадочно перебирал четки. Чтобы подбодрить его, Рошгюд с силой стиснул ему руку и с притворной мягкостью прошипел ему в самое ухо: «Олух ты этакий», усаживая его за стол, как будто то был манекен.

— Если вы готовы, господин стряпчий, пишете все, что положено, — произнес Иуда, — задавайте вопросы, а мы будем отвечать.

— Сударь, мой писец уже подготовил вместе с вашим зятем брачный контракт, — пролепетал Бонавантюр, доставая из своей записной книжки кусок пергамента, — минуту внимания, сейчас мы все вам прочтем. Итак, слушайте:

«Теодебер де Шантемерль, шевалье, сеньер Рошкардона, Горж-де-Лу и иных поместий, сенешаль Лиона, сим доводим до вашего сведения ниже следующее.

В присутствии нижеподписавшихся советников, нотариусов города Лиона, сеньер Карломан, Эмар де Рошгюд, проживающий в Лионе в доме Корнамюз, по улице Катр-Шапо, Сен-Низьерского прихода, законный сын сеньера Тибюрса Эмара, шевалье Рошгюда, проживающего в Дье-лефи, близ Монтелимара в Дофине, и покойной Мадлены Гарно, из Ремюза близ Ниона; будущий супруг — с одной стороны;

и дамуазель Дина, законная дочь Израиля Иуды из Сирийского Триполи, гранильщика этого города, и дамы Лии Барух из Дамаска, проживающая вместе с отцом и матерью в еврейском квартале, в приходе святого Павла, будущая супруга — с другой стороны, настоящим заверяют, что оба они — будущий супруг, будучи совершеннолетним, свободным и вступившим во владение своим имуществом, после того как трижды почтительно и смиренно после кончины матери просил согласия на брак у своего отца, доказательства чего он представит по получении отчего благословения на брак, и будущая супруга, с соизволения и согласия упомянутых отца и матери своих и всех здесь присутствующих, — обещают повенчаться истинным и законным браком и для этого явиться в церковь...».

— Нет, нет, господин Бонавантюр, поставьте, пожалуйста, в синагогу, — воскликнул Рошгюд.

— Ну, в синагогу, так в синагогу, хоть ко всем чертям, ежели вам так угодно! — проворчал подьячий.

— Господин королевский стряпчий, вы не учтивы! Вы порочите судейскую честь.

«...и для этого явиться в синагогу, чтобы получить там прокля... то бишь благословение, как только одна сторона пригласит другую.

По случаю упомянутого бракосочетания названный выше Израиль Иуда вручил и отписал в приданое и наследство будущей супруге, дочери своей, пятнадцать тысяч экю, каковую сумму он сего дня и представил наличными, имеющей хождение звонкой монетой, и передал в руки будущему супругу, что последний и подтверждает, на чем как оный сеньер, так и его будущая супруга, убоготоренные, покидают Израиля Иуду с соизволения последнего и благодарят его за все.

По тому же случаю будущая супруга берет за собой в приданое все остальное имущество и права, а также каковые могут после этого...».

— Дальше, дальше, мэтр Шастеляр, все это можно пропустить, мы уже ознакомились с содержанием документа.

— Тогда постойте... постойте... Ага! Вот оно:

«Настоящим будущий супруг заявляет, что его имение, перешедшее от покойной матери, состоит: во-первых, из двух поместий и угодий, к ним относящихся, расположенных в местности, носящей название „Ремюза“ близ Ниона, оцененных в двадцать тысяч ливров; во-вторых, загородного дома, находящегося в том же месте, оцененного в тридцать две тысячи ливров; в-третьих, гостиницы, известной под названием „Золотая рука“ в Монтелимаре, оцененной в девять тысяч ливров, и сверх того суммы денег не менее пятиста пистолей; а будущая супруга объявляет, что не имеет другого состояния, нежели пятнадцать тысяч экю, ей отписанных.

Таким образом, по обоюдному согласию принявши и давши обещание выполнить все условия, возместить проценты, убытки и расходы по имущественному обязательству, полюбовно, в отношении приданого и прочего, в соответствии с обычаями сего города и теми законами и устоями, какие в нем принято соблюдать; обе стороны тому добровольно соподчиняются и по вышеуказанной причине решительным образом отвергают все иные законы и обычаи, могущие быть с данными в противоречии, а также всякого рода письменные обязательства и отказы. Сие составлено и заверено, как сказано выше, в Лионе, на дому у нижеподписавшегося господина Израиля Иуды, после вечерни, 28 июня, года 1661.

При сем присутствовали господин Авраам Барух, торговец галантерейными товарами, брат Израиля Иуды, и Гедеон Товий, торговец духами в Грассе в Провансе, каковые в этом и подписываются совместно с обеими сторонами».

— А теперь извольте подходить и подписываться, вы сперва, сеньер Эмар де Рошгюд, затем вы, мадемуазель, а там и вы, господа.

В это время служанка Юдифь поставила на стол две огромные вазы, наполненные приготовленным к свадьбе засахаренным миндалем, и разные корзиночки, сундучки и коробки.

Когда родственники и свидетели поставили свои подписи, мэтр Бонавантюр воспользовался своим правом: следуя обычаю, он поцеловал в обе щеки Дину, подносившую ему вазу с угощением, и, запустив туда свою крючковатую руку, прихватил изрядное количество сластей.

Дина и Эмар бросились в объятия Лии и Иуды, плакавших от радости, а потом обняли и всех родственников. Потом Юдифь обошла всех собравшихся, разнося угощения, и каждый брал полными пригоршнями. Обрученные поднесли в подарок женам и дочерям Авраама Баруха и Товия, своим теткам, двоюродным сестрам и подругам коробки с засахаренным миндалем и богатой одеждой, как того требовал установленный в городе обычай.

По окончании церемонии, когда были принесены все поздравления, уверения в любви и дружбе навеки, любезные родственники поднялись, чтобы расходиться; было уже поздно.

— Прощайте, друзья мои, — обратился к ним Рошгюд, — прощайте, я еду завтра в Монтелимар, отец решительно требует моего возвращения. Я постараюсь убедить его усерднейшими мольбами и, стоя перед ним на коленях, надеюсь склонить его к согласию, а заручившись его благосклонностью, вернуться, быть может, с ним в скором времени, чтобы как следует отпраздновать нашу свадьбу. До скорого свидания, и да хранит вас бог в здравии телесном и душевном.

— Прощайте, сеньер Эмар, прощайте, друг наш и брат, прощай, племянник, счастья вам и удачи во всем!

— Прощайте!

— А вы, мэтр Шастеляр, подождите меня, мы пойдем вместе.

— Любезные мои родители, — промолвил тогда Эмар, — так как мне не удастся завтра нанести вместе с Диной свадебные визиты, то вы уж, пожалуйста, извинитесь за меня перед нашими друзьями и передайте предназначенные им угощения и подарки. А теперь мне остается только прижать вас крепко к груди, равно как и Дину, которую я так люблю!

— Ах, зачем же вы уезжаете, Эмар, останьтесь, останьтесь еще хоть на несколько дней!

— Не плачь, Дина, я скоро возвращусь и больше тебя уже никогда не покину по гроб жизни!

— Останься, останься со мной! Меня одолевают мрачные предчувствия.

— Все это глупости, девочка моя.

— Нет, я ощущаю что-то смутное и горестное, меня томит какая-то тоска. Небо не может нас так обманывать.

— Утешься, доченька, — сказал Иуда, — речь идет всего-навсего о нескольких днях ожидания. Подумай об отце нашем Иакове, который у дяди своего Лавана семь лет ожидал Рахили, которую он любил. По несправедливости после семи лет она ему так и не досталась, тем не менее беспрекословно он прождал еще семь долгих лет; и только после четырнадцати лет желаний, обещаний и трудов он получил ее в награду за свое постоянство. Наберись мужества, дочь моя!

— Будь мужественна, дорогая! — повторяла Лия, которая держала ее в своих объятиях и целовала ее заплаканные глазки.

— Отец мой, — сказал Эмар, опускаясь на колени перед Иудой, — отец мой, благословите меня!

Тут Иуда возложил обе руки на голову своего зятя, прочел вслух несколько мест из Библии, произнес несколько молитв по-еврейски, а затем громко добавил:

— Сын мой, благословляю тебя именем божьим, благословляю тебя, как Исаак благословлял Исава;²⁵ пусть потомство твое будет многочисленным; пусть потомство твое станет племенем и пусть всевышний господь пребудет в тебе и в твоём потомстве! Восстань, сын мой, ты не собьешься с пути, ибо сам господь заступится за тебя и пойдет с тобой.

Эмар заплакал; он покрывал поцелуями руки и седую бороду Иуды, потом наконец вырвался из объятий Дины и Лии, обе плакали.

Эмар не мог больше выдержать.

— Прощайте, прощайте!.. Идем, Шастеляр, живее, идем!..

На набережной при свете фонаря, который нес лакей, можно было увидеть, как сверкнуло несколько золотых монет на ладони Рошгюда; потом в окружавшей их тишине слышно было, как из мощны Бонавантюра Шастеляра вырвался глубокий вздох, мгновенный и звонкий.

VI

LANGHIMEN *

Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою.

Библия ²⁶

Близился конец июля; прошел почти месяц с тех пор, как Эмар де Рошгюд уехал в Монтелимар и поселился у отца в поместье Дьелефи. Он пообещал своей невесте, что вскоре вернется, однако ничто не возвращало Дине его скорого возвращения. После его отъезда она получила от

* Томление (прованс.).

него только одну-единственную посылку; в ней была коробочка нуги из Монтелимара, ящичек лиственничной манны²⁷ и бриансонских сосновых орешков и корзиночка восхитительных обварных крендельков с Сенмадленской ярмарки в Бокере. В корзиночку было вложено письмо следующего содержания:

ЭМАР ДЕ РОШГЮД ДИНЕ.

«Прелестная невеста моя, не обижайся, что я обхожусь с тобою, как с девочкой, ведь я люблю тебя, как любят малое дитя! До чего же тяжело мне в разлуке! О, если бы ты была со мной, тогда величественная и дикая природа, что меня окружает и кажется мне такой тяжелой и скучной, оживилась бы сразу и *запрыгали бы козочкой, затрепетала бы как овечка*. О, я полюбил бы ее, проникся бы ею, если бы твой взор отверз мне душу, сжавшуюся, как еж, если бы твой голос распахнул мне сердце, если бы ручка твоя лежала в моей руке, если бы мистраль этих гор, путаясь в длинных огненно-рыжих волосах твоих, обдавал меня нардовым мирром, который он струит; мы резвились бы беспечно на родных лугах, забирались бы на высочайшие вершины и вместе под одним плащом, заблудившись в тумане, созерцали растилающиеся у наших ног облачные ковры, мы приветствовали бы бесконечность творения, и тогда бог твой, обитающий на горных высях, явился бы нам... Прости меня, прости, страдание помрачает мне разум... Однако же, не правда ли, это было бы чудесно? Мы бродили бы от Бальмской пещеры до Бриансона, орлиного гнезда; от Сен-Жана-де-Мориена, где водятся медведи, до крепости Вивье, надежной, как шапка, на гордую вершину скалы.

Недавно горец из Монестье продал мне молоденького орленка, это орлица, я вскармливаю ее, чтобы немного развлечься; надеюсь, ты не рассердишься, что ради удовольствия почаще повторять твое сладостное имя я назвал ее Диной. Отца и всех окружающих удивляет такое прозвание, и они расспрашивали меня, желая узнать его происхождение, а я не знаю, что и отвечать им, и отговариваюсь тем, что это просто моя причуда. Славным жителям Дофинэ больше пришлось бы по вкусу, если бы я назвал ее Марго.

С тех пор как я возвратился в Дьелефи, у меня было несколько объяснений с отцом; разговоры эти неизменно приводили к ссорам, а объяснения, как ты сама понимаешь, ровно ничего ему не объяснили. Отец по-прежнему стоит на своем и непреклонен в своем решении. Мне ничем не сломить его дикого упорства. Раздражительность и исступление его только растут. Однако в последнее время, чтобы завоевать мое расположение, он напускает на себя такую мягкость, которая, вообще говоря, ему отнюдь не свойственна. В то утро, когда я приехал к нему, он обошелся со мной ужасно. Гордому его нраву все три мои почтительных просьбы пришлось не по сердцу. Моя настойчивость выводила его из

себя, он излил на меня всю свою желчь, кощунствовал и ругал меня. Я хранил молчание, но, подумай только, до чего дошел его гнев: меня, молодого и сильного, этот старик сбил с ног, а когда я стал обнимать его колени, он отпихнул меня от себя.

После этих приступов гнева, на которые у него уходит столько жизненных сил, он совершенно слабеет и весь холодеет, бывает, что он после этого проводит по нескольку суток в постели.

Он ничем и слушать не хочет о моем союзе с тобой, с еретичкой, цыганкой, как он тебя называет. Все евреи в его глазах — еретики и воры. Сегодня он не только уже грозит лишиться меня наследства, но даже собирается заточить меня в темницу в Пьер-Ансиз, в Бастилию, не знаю куда еще, может быть в Гранд-Шартрез. Я почти уже потерял надежду его смягчить, однако недалеко то время, когда я попытаюсь еще раз и, что бы там ни было, вскорости окажусь подле тебя, то ли с его благословением, то ли с проклятием.

Обними крепко Лию, матушку мою, обними крепко доброго отца моего, Иуду, мне более чем когда-либо есть нужда в их благословении.

Что касается тебя, моя Дина, я тебя обожаю, и душа моя взирает на тебя, как на святой ковчег.

Если ты найдешь минутку, чтобы написать мне на досуге несколько слов в утешенье, то направь свою записку не в Дьелефи, где она может попасть к отцу, а в Монтелимар, на гостиницу „Золотая рука“, мне ее оттуда доставят».

Это письмо преисполнило Дину радостью и тревогой: по доброте душевной девушка вменяла себе в вину несчастья Эмара и почитала себя причиной дурного обращения и бурь, какие тот претерпевал из любви к ней. Ей, нежной и кроткой, не ведающей зла, никак не понять было старого Рошгюда, отца ее жениха; в ее глазах он стал жестоким чудовищем, людоедом, ей не верилось, что человеческое сердце способно вместить столько жестокости. Это невинное дитя не знало, что общество растлевают все и вся, что безудержное стяжательство и религиозный фанатизм ожесточают людей, делают их кровожадными; что человека по натуре доброго цивилизация превращает в солдата, собственника, священника, судью, палача; не знала, что, когда она еще была младенцем, ее деда сожгли на Гревской площади в Париже, а за много лет до того, чтобы избежать смерти, его отцу, обвиненному в чернокнижии, пришлось убежать из этого города, упившегося человеческой кровью.

Прошло шесть недель, а Рошгюд все не ехал; бедняжка Дина становилась с каждым днем все грустнее и грустнее; веселость ее увядала. О, сколь жестоким казалось ей ожидание! Время для нее тянулось все медленнее, а будущее было темно. Она говорила себе: может быть, сейчас Эмар сидит, скорчившись, в сырой тюрьме, призывая меня слабым голосом, и только хриплое эхо подземелья откликается на его стенания.

Стоит ему немного приподняться, как он ударяется головой о сталактиты свода! А может быть, его уже зарезали разбойники где-нибудь на дороге.

Вот каким веселым мыслям она предавалась. Тоска незаметно подтачивала ее; прежде всегда такая говорливая, она просиживала теперь в праздном оцепенении у своего окна. Состояние девушки сильно тревожило мать и старого Иуду, которых она больше не ласкала, как обычно, а если когда и целовала их в лоб, то всегда при этом заливалась слезами. Изведенная страданиями, она с жадностью цеплялась за все, что щеко-тало нервы, возбуждало и выводило ее из состояния апатии; комнату свою она устала вазами с самыми пахучими цветами; она окружила себя жасмином, чубучником, вербеной, розами, лилиями, туберозами; окуривалась ладаном, бензоем, усыпала все вокруг амброю, корицей, стираксом и мускусом. Часто на нее нападало какое-то беспокойство, и тогда она начинала ходить взад и вперед по комнатам, словно помешанная; иной раз она даже пропадала на несколько часов; ее отлучки огорчали весь дом; ее начинали искать по городу, но найти никак не могли; потом она наконец сама возвращалась, успокоенная.

— Мне было тяжело взаперти, — говорила она, — я прошлась, полюбавалась на небо, и теперь мне лучше.

В это время года, когда все обновляется и вновь пробуждается к жизни, когда приходят в волнение даже самые холодные натуры, когда какая-то сила тянет к душевным излияниям, когда самый угрюмый мизантроп освобождается от неприязни к людям и суровости и хочет быть любезным в обращении с другими, в ту пору, когда чувство симпатии клонит нас к любви, к той юной любви, что тревожит и тех, кто ее не знает, нагоняя на них тоску и скуку, в эту пору Дина, после того как год назад возле нее был любимый, друг и спутник, укрывавший ее своим крылом, человек, с которым она проводила целые дни в упоительных разговорах, чтении Библии, в чистых признаниях, в несбыточных мечтах, Дина, покорная и доверчивая, приучившаяся уже думать помыслами и глядеть глазами того, чью волю ей было сладостно исполнять, от чьего присутствия душа ее расцветала и в ком она, как никогда, нуждалась теперь, — по воле судьбы Дина вдруг оказалась совершенно одинокой: плечо, поддерживавшее ее, направляющая десница, уста, вдыхавшие в нее волю, любовь и ненависть, — все было отнято; бедняжка, подавленная своим горем, совсем захирела от этого страдания; к тому же страх, тайное опасение, что она уже потеряла или может потерять любимого, совершенно ее убивали.

Ничто не могло увести ее от этих тягостных мыслей, хотя ее добрые родители делали все, чтобы ее развлечь. Ей купили тысячи всяких мелочей, которых ей вовсе не хотелось. Как больной ребенок, отталкивающий подаренные ему игрушки, она едва только взглядывала на всякие безделки и драгоценности, которые прежде ей всегда было так приятно

видеть. Родители часто брали ее с собой на городские гулянья, часто катали по окрестностям, возили в Иль-Барб, в Рош-Тайе, в Тассенские или Рошкардонские рощи, на башню Бель-Альманд, на берега Соны и Роны, — все ей постыло, она все время сидела молча под опущенною вуалью.

Однажды она испросила у матери своей Лии соизволения написать письмо жениху; вот оно:

«Эмар, если вы любите Дину так же, как Дина вас любит, возвращайтесь сейчас же, умоляю вас, если вы еще на свободе. Если нет, то порвите оковы; куда бы вы ни направились, я за вами последую повсюду! Или же сообщите мне только, где ваша темница, чтобы и мне там умереть вместе с вами! Ваше отсутствие мне так тягостно, я так ослабела, что с трудом держу перо и мне никак не собрать мыслей.

Вернитесь, жених мой!».

Спустя шесть дней Дина получила следующий ответ:

«Утешься, невеста моя, утешься! Я выезжаю завтра, чуть займется свет. Прости, что я сделал тебе больно, но я и сам очень страдаю. Чтобы заглушить боль разлуки, я охотился в горах на медведя, ну, а ты, что сделала ты, чтобы развеять свою тоску — эту медведицу, которая душит тебя своими свинцовыми лапами? . .

Рассчитывая вернуться со дня на день, я откладывал ответ, мне хотелось самому его тебе принести; я надеялся умиловить отца, но он еще неприступней, чем Альпы. Сегодня вечером я объявляю ему о своем отъезде, можешь себе представить, какая это будет буря! Помолись богу, чтобы меня не сломило ураганом!

Поклонись Иуде и Лии, прощай! Пройдет три дня и я постучусь у твоих дверей».

VII

OUSTAOU PAIROLAOU *

Говоря дереву: «Ты мой отец», и камню:
«Ты родил меня. . .».

Библия ²⁸

Полагает уста свои в прах, помышляя: «Может быть, еще есть надежда».

Библия ²⁹

И вправду в тот вечер, когда он отослал письмо, сразу же после ужина Эмар последовал за отцом, удалившимся в спальню. И вот что он ему сказал, весь дрожа:

* Отчий дом (*прованс.*).

— Простите, отец мой, за то, что я опять пришел вас беспокоить, видите, я у ваших ног, только не гневайтесь, вспомните, что всю жизнь ваш смиренный сын ни в чем вам не прекословил; один-единственный раз ему случилось проявить свою волю, и его послушание стало для него роковым. Вы ведь знаете, любви не прикажешь, истинную любовь из сердца не вырвешь, вы это знаете, ибо вы сами любили мою мать, не правда ли? ..

При этих словах Рошгюд содрогнулся, точно удрученный ужасными воспоминаниями, и весь передернулся, сиюсь вернуть лицу спокойное выражение.

— Моя ли вина, — продолжал Эмар, — что жена, которую мне послало небо, оказалась еврейкой? .. Моя ли вина, что она той же крови, что и ваш Христос? .. Она красива, она чиста, она девственна, я ее обожаю! Она обожает меня, она бы и вас обожала, отец! Разве любовь невестки для вас ничего не значит? Ее веселый нрав станет отрадой вашей старости. Вы ничего не отвечаете, тогда скажите же, наконец, какую вы хотите себе невестку? ..

— Господин Эмар, я никогда не допущу, чтобы христианская кровь Рошгюдов смешалась с нечистой кровью какой-то цыганки! Подлой еретички! Потаскухи! ..

— Потаскухи! .. Ах, отец мой, как вы несправедливы! .. Вот прочтите этот контракт; ему недостает только вашей подписи, вы видите, она не бесприданница, эта девочка богата, если все дело в золоте! ..

Рошгюд вырвал бумагу у него из рук.

— Проклятье! Что это еще за чертовщина! ..

И, не глядя, он разорвал бумагу и бросил в лицо Эмару, хлеща его по щекам.

— Вот тебе твое обручение! Посмотрим, негодяй, удастся ли тебе опозорить твой род!

— Отец мой, вы бьете меня потому, что знаете, что я-то вас не ударю. А ведь я молод, силен, ведь кровь кипит во мне, а сердце раздирает мне грудь! Берегитесь, я разобью вас, как эту вот дверь! ..

Сорванная с петель дверь упала с оглушительным грохотом.

Рошгюд, подавленный и бледный, откинулся в кресле.

— Довольно, довольно отец! Все это меня убивает! У вас каменное сердце, а у меня будет железная воля! Завтра я уезжаю, прощайте!

— Нет, ты не уедешь! Слышишь!

— Уеду, отец! Но, боже мой! Что же вы находите невозможного в этом союзе? Скажите, что приводит вас в такую ярость?

— Цыганка! .. Проклятая! .. В жилах Рошгюдов течет христианская кровь!

— О, боже мой! Очень уж вы кичитесь этой христианской кровью. Полноте, что вам до того, христианская она или мавританская? С каких это пор вы стали таким набожным, таким богобоязненным? .. Готов пору-

читаться, что вы и в бога-то не верите. Правда ведь, вы не верите в бога?..

При этих словах Рошгюд вдруг вскочил, охваченный неистовой яростью. Он схватил нож за лезвие и, окровавив руку, ударил им по столу.

— Прочь, прочь от меня, негодяй! Я тебя проклинаю! — И, сцепившись другой рукой сыну в волосы, он поволок его по всему коридору и спустил с лестницы.

VIII

BENEZETS LOS MALDISORS DE VOS *

... ходит, как рыкающий лев...

*Библия*³⁰

И поколебались верхи врат от гласа восклицающих.

*Библия*³¹

На заре следующего дня Эмар вышел из дома чуть свет; слуги верхом на лошадях уже ожидали его. Тут же был его вороной конь и жеребец, предназначенный для Дины, а также несколько мулов, нагруженных сундуками с добром.

Разбуженный конским ржаньем, Рошгюд распахнул окно с такой силой, что ставни захлопотали о стену, и вне себя от ярости громко крикнул:

— Ты не уедешь, иначе я лишу тебя наследства и прокляну!..

— Я уезжаю, отец мой, — ответил Эмар, — а на прочее ваша воля; другой отец, там, благословит меня.

— Ты не уедешь, говорю тебе!..

Рошгюд исчез за окном.

Эмар двинулся в путь со своим караваном; но не успел он выехать на середину дороги, как Рошгюд снова показался, уже в дверях, полуодетый, но с аркебузой в руках.

— Стой, отцеубийца, стой! Я тебя проклинаю! Разрази тебя громом! Провалиться тебе в преисподнюю! Говорят тебе, стой! Я проклинаю тебя и выгоняю из дому! Отец твой тебя проклинает и бог тому свидетель!.. Ты не уедешь!

Он затопал ногами, забился головой о притолоку; дом весь дрожал. На старика было страшно смотреть. Эмар продолжал безмолвно удаляться, а когда он доехал до поворота дороги, потеряв надежду вернуть его, Рошгюд вскричал еще яростнее:

* Благословляйте клянущих вас (*прованс.*).

— Сгинь отсюда, сгинь, отцеубийца, чудовище!.. Чтоб мне тебя больше не видеть!

Он нацелил аркебузу, раздался выстрел, Эмар вскрикнул. Рошгюд замертво повалился на ступеньки подъезда.

IX

BOURDESCADO *

...ибо я изнемогаю от любви.

Библия ³²

С тех пор, как Дина получила письмо от Эмара, она стала меньше о нем тревожиться, но успокоиться все равно не могла, и на следующий же день под вечер сказала отцу:

— Схожу-ка я навещу подружку мою Елизавету; я скоро вернусь.

Глупая девочка лгала, ей претило общество людей и разговоры; чтобы помечтать на свободе и поглядеть на небо, как она это называла, она отправилась одна бродить по берегам Соны... Какое безрассудство!..

Жених ее должен был приехать дня через два-три. Какие это были упительные мечты, еще более сладостные, чем само одиночество!

Немного подалее Иль-Барб перевозчик сидел на корме своей беши — плоскодонной лодки с навесом, напоминающей собою гондолу.

Вдруг Дине пришла странная фантазия.

— Лодочник, — сказала она, подходя, — мне захотелось покататься по этой чудесной речке, но я одна.

— Ну и что же с того, красавица?

— Лодочник, вот вам эю за перевоз и вот кошелек, чтобы вы уважали девушку, которая к тому же больна.

Лодочник взял эю и кошелек; Дина прыгнула в лодку и скрылась под навесом.

И вот лодка уже уплывала вдаль.

Неожиданно послышалась нежная далекая музыка, скользившая по глади воды, и показалась другая лодка, на которой усердно гребли и откуда часто доносились взрывы безудержного смеха. Она была наполнена молодыми людьми и девушками, отправившимися помузицировать и порезвиться в вечерней прохладе; они силились приблизиться к беше, в которой сидела Дина, и прошли совсем вплотную, наклоняясь, чтобы заглянуть под молчаливый шатер, но перевозчик налег на весла, гребя против течения, и эти нескромные молодые люди унеслись вниз по течению, так ничего и не увидав.

* Прихоть (прованс.).

Беша поднималась все дальше и дальше вверх; было уже совсем темно, а ведь Дина просила лодочника покатать ее всего часок, не больше.

Но вот лодочник встал, проскользнул под навес. С беши, исчезавшей на горизонте, донесся пронзительный крик.

X

ESCUMERGAMÈN *

Волосы на голове твоей как пурпур.

Библия ³³

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Округлость бедр твоих как ожерелье, дело рук искусного художника... Два сосца твои как два козленка, двойни серны.

Библия ³⁴

— Послушайте, что вы делаете? Сидите спокойно и гребите по течению. Будем возвращаться. Вы же видите, что уже поздно. Не подходите ко мне!..

— Какая вы красивая, мадемуазель!

— Вы с ума сошли!

— Да это вы сами меня с ума свели.

— Уйдите, не смейте меня трогать! Чего вам надо?

— Да ничего, только то, чего господину сенешалю захотелось от моей сестрицы месяца три тому назад.

— Господину сенешалю... вы на него клеветеете.

— Это я-то на него клевету?.. Брюхо моей сестры на него клеветет. И белы же у вас ручки! Редко мне доводилось такие потрогать! Наконец-то я натешусь, и меня обласкают белы ручки! И ножки славные!.. Смотри-ка!

— Спасите! Спасите! Не трогайте меня! Наглец!

— Потихе, потихе, мамзель, так и охрипнуть можно... А ножки просто диво!

— Спасите! Убивают!..

— Нет, пока еще не убивают; очень уж вы торопитесь. А ну-ка успокоимся, дайте-ка я расцелую распрекрасные ваши глазки, будьте умницею, малышка, зла вам никто не хочет, ну-ка я шейку поцелую!

— Ах, лучше умереть!.. Сюда! Спасите! Убивают!

* Отлучение (прованс.).

— Попусту вы шум поднимаете, никто не придет; к тому же я без труда заставлю вас замолчать. Веревок у меня вдоволь запасено, найдется из чего кляп сделать.

— Негодяй! Подлец! Убейте меня!

— Чем испугать вздумала! Я к такому привычен; что дается по охоте, мне того даром не надо. Я люблю силой взять. Затем я и в прошлую немецкую войну добровольцем пошел: и вот, как бог свят, я там больше французов посеял, чем немцев поубивал. Напрасно вы отбиваетесь, красавица, силенок-то маловато! Меня не запугаешь, говорю вам, я в этом бывалый; мне девку изнасиловать — все равно что тебе по струнам ударить, а убить, когда уж случится, — что тебе ягодку вышить.

— О, мой бедный жених!

— А, а, похоже, что мы невеста? Ну, вот и отлично! Ночка-то тихая, поболтаем; так вы, оказывается, невеста, моя милая?.. Ничего, женишок-то уж как-нибудь обойдется. Не всегда рыбаку достается поесть плотички, так уж на белом свете водится, ни на что нельзя положиться. Гильо посадил, а Шарло обмолотил. Эх, и хороши же вы, хороши, благородная дама! Больно уж вы мне по сердцу пришлись. Эх, и радость же такую залучить! Вот я, Жан Понтю, перевозчик, деревенщина — и знатная дама!.. Ух! Захоти вы только со мной поладить!.. Перстни-то важные! И цена-то им хороша, уж это как пить дать! Такая же в точности ручонка у моей Марион. Ей-богу! Давайте-ка их сюда, я их ей от вас в подарочек поднесу.

— Вы мне ломаете пальцы!..

— Частенько, когда я был солдатом, ночью, бывало, на карауле станешь умом раскидывать и видишь: вот хоть бы взять, к примеру, простых крестьян, наши сестренки, дочери, бабы наши, вечно они знатным да богатым господам достаются, вот кто нашими подруженьками пользуется, а мы-то дураки, ничего-то мы никогда им не сделаем, ни жен их, ни дочек не тронем; где же тут справедливость? Вот я еще что думал: почему оно так, что мы вот, к примеру, бедные, а те богатые?.. Эх! Вот чего, если на то пошло, никак я в толк взять не могу. Неужто справедливо это? Где уж лучше, как на войне, парню ума набраться да понять, что к чему?

Ожерелье-то уж больно богатое, ну и жемчуг! У моей Марион шейка точь-в-точь как ваша! Ей-богу! Вот ведь до чего удачно сошлось! Я ей подарочек от вас сделаю, ладно?..

Право, жаль обдирать серьги с таких маленьких ушек, дайте-ка я целую их, чтобы утешить. У моей Марион как раз нет приличных серег для воскресных гуляний, а сами знаете... Ну, ну, слезами горю не поможешь. Я ей и подарю. Ну, теперь, как я вас пораздел, вам и золотые гребни в волосах иметь не пристало; придется малость поиспортить вам прическу... Э, да вы во сто раз краше растрепанная!

Теперь нам и терять уже нечего, не считая... .

— Помогите! Помогите! Пустите меня, умоляю вас, или убейте меня сейчас же.

— Выходит, все еще отбиваться будем... У, проклятая! Давайте-ка сюда руки; вот я их сейчас возьму да свяжу. Так-то оно лучше будет.

— Убивают! Неужели никто не поможет!

— Молчи ты, вот повязка тебя уймет, ну, живей, подыми-ка голову, я завяжу кляпик.

— Пощадите, пощадите! О, пустите меня, ради бога. Чего вам нужно? Денег? Чего вы хотите!.. Все у вас будет!.. Больно мне! Палач! Бандит! Ах!.. Ах!.. Я погибла...

В лодке стали слышны только невнятные жалобы, приглушенные крики и стоны; потом постепенно все замерло.

Примерно час спустя Жан Понтю, лодочник, вылез из-под навеса, вольно Дину за волосы; в ту минуту, когда он ее сбрасывал в Сону, повязка сбилась и надломленным голосом она позвала Эмара.

А Жан Понтю с кормы своей лодки, наклонившись, вновь и вновь за-талкивал в воду гарпуном тело Дины всякий раз, когда оно всплывало на поверхность.

XI

DOOU *

Не мертвые восхвалят господа...

Библия ³⁵

Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной.

Библия ³⁶

До самого утра Дину тщетно искали по всему городу.

На рассвете крестьяне, привозившие на рынок молоко и другие продукты, переезжая через мост, заметили в реке труп молодой женщины: длинные рыжие волосы цеплялись за прибрежные камни.

Жан Понтю, лодочник, втащил утопленницу в свою лодку и привез к берегу в месте, прозванном «Смерть-обманщица»; собрался народ, все сокрушенно взирали на покойницу, на ее злосчастную красоту; маленькие израненные ручки были связаны за спиной грубой веревкой.

Внезапно чей-то голос из толпы крикнул: «Не узнаете вы, что ли? Ведь это рыжая Дина! Дина — красавица-еврейка! Дочь Иуды гранильщика, что живет вон там, в еврейском квартале».

* Траур (прованс.).

Целый день народ толпился в доме Израиля Иуды. Дину положили на постель, обрядили в праздничные одежды и убрали драгоценностями по еврейскому обычаю. Лия, ее бедная мать, убитая горем, стонала у нее в ногах; Иуда сидел откинувшись в кресле, безмолвный, в разодранной куртке, с посыпанной пеплом головою, снедаемый горем.

Раввин молился.

XII

GOUDOUMAR! GOULLAMAS! *

Кто сей, омрачающий providение
словами без смысла? . . .

Библия 37

После полудня в портале ратуши у дверей полицейского управления загорелый коренастый мужчина в матросской блузе буянил и распихивал людей, которые старались вытолкнуть его вон.

— Эй вы, молодчики! Что тут у вас за галдеж? — крикнули из-за дверей.

— Мессир, тут лодочник какой-то, ему вот приспичило войти, а вы распорядились никого не пускать.

— Откройте, черт возьми! Это Жан Понтю, перевозчик! Битых два часа меня тут держат, креста, видно, на них нет! Тысяча чертей!

И тут, потыкав кулаками направо и налево, Жан Понтю растолкал челядь, настезь распахнул двери и ворвался в управление.

— Вы, уважаемый лодочник, тупица, негодяй, прощелыга! Наделать такого шума в ратуше, да вас бы за это на ночь в подвал.

— Мессир. . .

— Чего же вам надо?

— Пришел об утопленнике доложить, утром сегодня у каменного моста выловил; два пистоля в награду положено.

— Труп опознан?

— Да, мессир, это молодая девушка по имени Дина, дочка одного там Израиля Иуды, гранильщика.

— Еврейка?

— Да, сударь, еретичка. . . гугенотка. . . еврейка.

— Еврейка! Ты еще будешь мне тут всяких евреев вылавливать, негодяй! И у него еще наглости хватает награду требовать? Эй! Люди! Мартэн! Лефабр! . . . А ну, выставьте мне этого болвана за дверь. Этакий олух!

Запомните, господин лодочник, еретика вылавливать — все равно что собаку.

* Нахал! Олух! (прованс.).

ХІІІ

ГОЛГОФА

И погребен на долине в земле Моавитской против Витфегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня.

Библия ³⁹

Около двух часов пополуночи немногочисленная процессия, следовавшая за белым гробом, который несли четверо мужчин, в молчании шла по городу.

Было слышно, как то там, то сям приподымались рамы, скрежетали петли окон, гремели щеколды, и закутанные головы высовывались на улицу.

Это были благонамеренные горожане или горожанки, разбуженные шарканьем шагов и спешившие к окнам, чтобы высказать вслух свои предположения.

— Что это, женушка, еретика хоронят, сдается? Гроб-то никак белый?..

— Беспременно девушка, молоденькая. Бедняжка! Так рано!.. Счастлив тот, кто умирает, не изведав жизни.

Благонамеренные граждане глубоко вздыхали и закрывали ставни.

— Мэтр Бонавантюр Шастеляр, не гугенотская ли это процессия?

— Нет, соседушка, ни факелов никаких, ни светильников, да и дорого-то из больницы не здесь проходит; не иначе как еврейку тащат, будь она трижды проклята, то ли на Мадлену, то ли на Бешвилен.

Как только начало светать, на левом берегу Роны, по ту сторону равнины, можно было различить двигавшийся шагом караван; во главе ехал молодой человек в сопровождении кавалькады всадников; слуги и мулы, нагруженные поклажей, плелись позади.

Прибыв на Мадлену, погост для казненных, на эту израильскую Голгофу, всадник, гарцевавший впереди, обратился к старику, который копал могилу:

— Скажи-ка, любезный, который теперь может быть час?

— Примерно три; это городские ворота.

— Спасибо, любезный! Но для кого это вы в такую рань спешите вырыть могилу?

— Сеньер, здесь будут хоронить хорошенькую девчонку, что вчера в Соне нашли.

— Молодую, говоришь?

— Семнадцати лет, сеньер.

— Послушай, но ведь это просто поле, а не освященная земля?

— И то правда, это кладбище для душегубцев и евреев.

— Для евреев?.. А как же зовут эту молоденькую женщину?

— Да, сдается, Дина, дочь Израиля Иуды, гранильщика.

— Дина!.. О, ужас! Невеста моя!!!..

— Да вон, сеньер, уж и процессия идет; видите белый гроб?

Эмар с минуту оставался в мрачном оцепенении. Затем подозвал одного из всадников и сказал ему:

— Карл, друг мой, сейчас ты возьмешь этот плащ и отвезешь его моему отцу, как некогда братья снесли окровавленное платье Иосифа отцу его Иакову;³⁹ ты скажешь ему, что видел мою невесту. Ибо вот она грядет, глядите!..

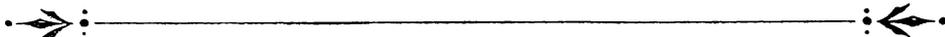
Эй, ты, старик, рой могилу пошире!.. — приказал он, бросив могильщику кошель; потом он пригрозил небесам и громовым голосом закричал:

— Дина!.. С тобой навеки!

И выстрелил себе в лоб из пистолета, висевшего на седельной луке.

ПАСРО, ШКОЛЯР

ПАРИЖ



... К стене
За миг отпрянул он, и можно бы вполне
Его за камень счесть среди нагроможденья
Глядящих ввысь камней; перебегают тени
Причудливо. Он ждет...

Альфред де Мюссе¹

... Другому смерть готова,
Пускай теперь сама за все заплатит кровью.

Альфред де Мюссе²

Любовь — всех смертных бич, безумье, наважденье;
На тонкой ниточке повисло наслажденье,
Страданье ж множеством узлов закреплено.
И если женщине бездушной суждено,
Всю власть твою приняв, своим холодным взглядом
Мне сердце поразить — как лезвием, как ядом,
Я вырву сей клинок, чтоб больше не страдать.
Пусть даже вместе с ним придется жизнь отдать.

Альфред де Мюссе³

А каким должно быть это золото, сударья?
Обагреным кровью или залитым слезами? Так
что же, забрать его все целиком, всадив в человека
кинжал, или воровать понемножку, находясь при
своем деле, на своем месте или сидя за прилавком?

Жерар⁴

I

МЕДИКИ

Один верит, другой не верит. — Что нашел Альбер в комнате Эстеллы. — Виконт де Баньо безнравствен из гигиенических соображений. — Он завтракает за счет дворянства. — Еще одна контроверза по поводу того же. — Филожена. — Инвентарь обоих медиков.

— По счастью, дорогой Пасро, я совсем не верю в женскую добродетель. А не то, клянусь честью, мне бы уже натянули нос!

— Какой ты еще мальчишка, милый Альбер!

— У меня уже были кое-какие смутные подозрения: моя дева казалась мне не такой уже непорочной; а что до ее достойной маменьки, то по всему было видно, что это — притворщица и сводня; к тому же я приметил, что лобная кость у нее мало развита и приплюснута и что расстояние от темени до ушей огромно, а мозжечок, — несомненноеместилище плотской любви, как ты хорошо знаешь — необычайно выдается; разрез глаз у нее притом как у древних Венер, а ноздри открытые и сводчатые — вернейший признак похотливости.

Итак, это было утром, в семь часов; я долго-долго колочу в дверь; наконец мне отпирают и в испуге кидаются мне в объятия, покрывая щеки мои поцелуями; все это выглядит так, будто мне хотят завязать глаза и поиграть со мной в жмурки.

Стоило мне только войти, как обоняние мое чует двуногую дичь.

— Черт побери! Красавица моя! Что это вы тут поджариваете? Пахнет-то мужчиной!..

— Что ты, дорогой! Ничего такого и в помине нет, просто еще с ночи не успели проветрить! Сейчас вот открою окна.

— А эта недокуренная сигара?.. Ты что, куришь сигары?.. С каких это пор ты изображаешь собой испанку?

— Дорогой мой, это брат позабыл вчера вечером.

— Ах, вот оно что! Твой братишка! Каков постреленок! Курить в люльке, вот распутник! Сигару покурит, потом грудь пососет! Ну и ну!

— Мой старший брат, говорят тебе!

— А! Превосходно! Но ты что, носишь теперь трость с золотым набалдашником? Мода эта давным-давно устарела!

— Это отцовская палка, вчера он ее оставил.

— Никак тут вся родня перебивалась? Подумать только, русские сапоги! Отец-то вчера, видно, и их тоже позабыл. Так домой босиком и пошел! Вот бедняга-то!..

Последние слова довершили удар, оскорбленная невинность бросилась передо мной на колени; плача и целуя мне руки, она вскричала:

— Прости меня! Выслушай меня! Прошу тебя! Родной мой, я все тебе расскажу, только не горячись!

— Я и не думаю горячиться, сударыня, я совершенно спокоен и хладнокровен. Только о чем вы плачете?.. Ваш маленький братец курит, отец забывает трость и сапоги, все это вполне естественно; с чего же это вы решили, что я буду горячиться? Нет, поверьте, я спокоен, совершенно спокоен.

— Как ты жесток, Альбер! Бога ради, не отталкивай меня! Выслушай сначала. Ах, если бы ты знал! Я была чиста, пока не пришла нужда. Если бы ты знал, до чего могут довести голод и нищета!..

— И лень, сударыня.

— Как ты жесток, Альбер!

В эту минуту из соседней комнаты донеслось оглушительное чиханье.

— Моя прелестная распутница, может, твой отец и это чиханье позабыл, когда уходил, скажи-ка? Послушай, имей к человеку хоть каплю жалости, сегодня холодно, он у тебя еще простудится, впусти его сюда!

— Альбер, Альбер, умоляю тебя, не подымай шума; меня выставляют отсюда, меня примут за такую! Прошу тебя, не устраивай никаких сцен.

— Успокойтесь, сеньора; не бойтесь сцен: когда я играю драму, я умею выбрать своих героев. Но сей любезный персонаж, должно быть, совсем закоченел, это просто невежливо, дай-ка я ему открою! Господин искатель приключений, выходите, прошу вас, я вас ни в чем не стесню! Остаться этак нагишом в холодном помещении теперь, когда везде эпизотия,⁵ черт побери! Так и горячку получишь!

— По какому это праву, господин медик, вы являетесь на заре беспокоить порядочных людей?

— На заре... розовоперстой; месье сочиняет стихи, я бы сказал, в классическом духе,⁶ жаль, жаль! По какому праву, говорите вы? А я вот хотел вас о том же спросить. Но как-никак вам здорово повезло: вы выбрались живым из этой Нельской башни.⁷

— Тысяча чертей, что вы там такое мелете?

— Ничего.

— Альбер, это подло так надо мной издеваться!

— Красавица моя, мы нынче с левой ноги встали. Итак, господин втируша, не бойтесь и одевайтесь; только что вы меня спросили, кто я такой, скажите мне прежде вы сами, кто я такой, а я тогда вам обоим скажу, кто вы такие. Троица получилась не очень-то святая, и хоть в душе, может быть, каждый из нас — человек порядочный, выглядим мы все трое, как какие-то проходимцы. Вы сильно смахиваете на ночного гуляку, мадам — на потаскуху, а я — на того, кто при дворе именуется придворным, а у Шекспира — Пандаром.⁸ Ну, насчет себя я могу вас успокоить; не верьте своим глазам, я, как Линдор,⁹ просто студент,

Альбер де Роморантен, происхожу из известного рода. Мне показалось, что у мадам есть совесть и стыд, и я принес ей свою любовь; но я ошибся, ей нужен презренный металл, не правда ли?

Лихой кавалер оказался всего-навсего плюгавеньким человечком, с волосами, тронутыми сединой, отнюдь не страшного вида, и право же, он был вполне одет.

— Молодой человек, — обратился он ко мне, — ваша откровенность мне нравится, у вас изысканные манеры и сразу видно, что вы из хорошей семьи. Хотя я и не мог на это рассчитывать, вы обошлись со мной пристойно, давайте будем друзьями. Я виконт де Баньо, — шепнул он мне тихонько на ухо. — Вчера я повстречал мадам, и последовал за нею, и поднялся сюда. Я бы никогда этого не сделал, ведь я уже стар, если бы доктор Лисфранк¹⁰ специально не назначил мне сношения с женщинами как хорошее средство против застоя крови.

— Доктор Лисфранк, профессор моей клиники! Веселенькое дело! Сударыня, я поблагодарю его от вашего имени; вот, оказывается, ктс поставляет вам столь благородную клиентуру. Итак, милостивый государь, вы, как видно, считаете любовь полезнее Барезжских вод?¹¹

— Да, для этого времени года. Но, дорогой студент, вы, наверно, как и я, не успели еще поесть. Что если нам пойти позавтракать вместе в Пале-Рояле? Я вас приглашаю!

— Человеку благородному ни в чем не решусь отказать; сударь, я готов разделить с вами трапезу.

Эстелла плакала.

— Идемте же немедля, мой юный друг.

— Но рассчитались ли вы с мадам? Когда проходят через мосты, никто ничего не платит, у женщин напротив — там взимается определенная плата.

— Альбер, это низость!

— Прощайте, моя крошка, я несколько на вас не сержусь, — сказал виконт покровительственным тоном.

— Прощай, воплощенная невинность! — сказал я в свой черед, — прощай, безгрешная отроковица, ангел искренний и простосердечный; прощай, моя скромница, прощай, моя ночная красавица!

— Потешайся, попирай меня ногами, Альбер! Я очень виновата, но будь великодушен, ты ведь вечером вернешься, правда? Я все тебе расскажу, объясню тебе, почему. . .

— К черту все!

— Приходи, Альбер, прошу тебя!

— Ангел мой, я приду тогда, когда буду при деньгах; только скажите, сколько вам платят за ночь.

Эстелла упала без чувств. Мы ушли.

И чудесно же я позавтракал с этим любезным господином, я и сейчас еще навеселе, и у меня голова кругом идет от испанского вина.

— Альбер, ты обращаешься к первой встречной, идешь за любовью на улицу и еще жалуешься?

— Нет, нет, я не жалуясь, дорогой Пасро!

— Меня не удивляет, что ты невысокого мнения о женщинах, если ты обо всех судишь по таким, как эта... Совершенно так, как если бы мы судили о чудесном климате Франции по плаксивому парижскому небу.

— Нет, нет, я сужу о женщинах не по каким-то отдельным впечатлениям, я изучил их на многих примерах, знавал я, как и ты, донельзя добродетельных; я успел уже убедиться, чего стоит эта добродетель, знаю всю ее подноготную с начала и до конца.

— Если бы я поверил, что ты и вправду так думаешь, я бы рассердился! Но это все только одни слова или просто ты лишнего выпил за завтраком. К тому же хороший тон велит корчить из себя повесу; так уж у нас принято — злословить о женщинах, вот и злословят. Карл Девятый¹² люто ненавидел кошек: и вот все — вельможи, слуги и даже самые скромные горожане, — стараясь подражать королю и быть ничем не хуже, начинают содрогаться, увидев где-нибудь кота. Кошки к тому же предатели, изменники, убийцы — все что угодно! Так гласит пословица, ставшая популярной, так же как какой-нибудь капитан Гильери¹³ или Мальбрук.¹⁴ Генрих Третий¹⁵ был женоненавистником, ему подавай красавчиков! Немедленно все высокопоставленные лица начинают заводить себе любимцев, даже грузчик, и тот считает нужным в воскресенье показаться на людях со своим любимцем и баб ругать; но Генрих Третий — это старо. Поносить женщин, как и слагать им мадригалы, вышло из моды, стало выглядеть провинциальным. Так ведь?

— Все это бредни! Бедный мой Пасро, ты такой наивный! Дурак ты, и мне просто обидно за тебя. Последняя публичная девка кажется тебе звездой, жемчужиной, розой! Ты возвышаешь ее, видишь в ней святую. Право же, ты очень забавен. Все это иллюзии, иллюзии!

— Если это даже иллюзии, я просил бы тебя не отнимать их у меня, это меня убьет. О боже, чем же станет без этого всего жизнь? Выжатой губкой, голым остомом, томительной пустотой.

— Шутник ты!

— Видишь ли, первые связи, когда ты вступаешь в жизнь, дают направление всем нашим чувствам и мыслям. Ты презираешь женщин потому, что ты знал только достойных презрения или-такими они тебе показались. Небу было угодно, чтобы я повсюду на своем пути встречал одни лишь избранные души, добродетельные, окруженные сиянием; о неизвестном я заключаю по известному. Если я ошибаюсь, то так ли уж это плохо? Оставь мне мое заблуждение, только вот, скажи мне откровенно, неужели ты сомневаешься, что моя Филожена невинна и простосердечна, что это преданная подруга и верная любовница? О! Я готов сунуть руку в огонь...

— Нет, нет, Пасро, не суй ничего в огонь! Давно ты знаешь Фило-
жену?

— Около двух месяцев.

— Ладно, даю тебе еще месяц, и ты тогда мне много всего порасска-
жешь. Обычный срок — три месяца.

— Альбер, ты меня оскорбляешь!

— Прощай, Пасро, до встречи через месяц! . .

Разговор этот, слово в слово, происходил в конце улицы Сен-Жак между двумя студентами, не какими-нибудь молокососами из Монтегю,¹⁶ но изящно одетыми веселыми молодыми людьми, выходившими из анатомического театра с толстенными книгами под мышкой.

Первый, благонамеренный Пасро, шел в спокойной задумчивости; он подражал в одежде немецким студентам: развевающиеся волосы, как у Хлодия Длинноволосого,¹⁷ шапочка, отложной воротник, тонкий коротенький черный сюртук, шпоры и нюрнбергская трубка; второй, Альбер Болтун, живой, подвижный, с резкими движениями; серая шляпа набекрень, красный фуляр на шее, черная бархатная разлетайка с металлическими пуговицами, цветок в зубах и походка вразвалку — все это придавало ему изящество, развязность и лихость какого-нибудь андалузского тајо.*

II

МАРИЭТТА

*Пасро встречает саламандру. — Мораль саламандры: она до-
казывает, что женщины губят молодых людей, превращая их
в шутов гороховых. — Наперсница Мариэтта. — Пасро с ней
заигрывает. — Неуклюжие ученые шутки. — Первые подозре-
ния. — Послание полковника Фогланда. — Препирательства
с очень взволнованным рйссельным. — Другая мораль.*

Студенты неожиданно расстались, и вот как: по различным причинам каждый из них в глубине души жалел другого, считая его безумцем; каждый пошел своей дорогой, чуть не плача от того, что друг его так ослеплен; оба были искренни — очень редкое в наше время явление!

На набережной Пасро вскочил в кабриолет.

— Вам куда, сударь?

— На улицу Менильмонтан.

— Далеконько!

* Красавца (исп.).

— Поближе, чем Сен-Жак-де-Компостель.

— Или чем Нотр-Дам-дю-Пилье.

Тогда, пощелкивая кнутом, кучер затянул два стиха из болеро «Contrabandista»: *

Tengo yo un caballo bayo
Que se muere por la yegua.**

Пасро тут же допел два следующих:

Y yo como soy su amo
Me muero por la mozueta.***

Кучер удивился такой находчивости.

— Вы испанец, сеньор?

— Нет.

— Но вы очень похожи на испанца.

— Мне это часто говорят.

У Пасро и впрямь была необычная наружность: он был смуглолиц, как все южане; городская охрана находила даже, что вид его опасен для монархии, и во время гражданских смут его несколько раз арестовывали и сажали в тюрьму за преступные прогулки и нелегальное ношение смуглой головы.

— Но вам, сударь, верно, приходилось жить в Испании, вы болтаете по-кастильски.

— Ни то, ни другое.

— Кто не видел Испании — слеп, кто ее увидел раз — ослеплен. Скажите, сеньор, а вы не испытываете желания туда съездить?

— Горю желанием, мой любезный, да не смею: боюсь растерять там остаток ума, боюсь убить любовь к родине. Я чувствую, что стоит мне побывать в Кордове, Севилье и Гренаде, и я нигде уже не смогу больше жить. España! España! España! **** Ты как тарантул, от твоего укуса можно сойти с ума! . . . Но вы-то, любезный, вы испанец и, однако, уехали из Испании?

— Нет, сеньор, я дон Мартинес, кубинец.

Мартинес был тот самый несгораемый человек, которого одно время показывали в печи в саду Тиволи. Любопытство обывателей быстро утилось, а жить-то надо: вот бедняга и стал извозчиком.

* Контрабандист (исп.).

**

У меня есть конь буланый,
Он томится по кобыле (исп.).

Ну а я, его хозяин,
По девчонке истомился (исп.).

**** Испания (исп.).

Пасро почему-то был ужасно поражен тем, что повстречал знаменитую саламандру¹⁸ в столь жалком состоянии.

— Не взъщитесь за мою нескромность, но, señor estudiante,* вид у вас задумчивый и грустный, как у влюбленного. На лице у вас печать горести более глубокой, чем у caballero desamorado;** мне больно на вас глядеть.

— Любовь! Любовь! Me duele por la mozuela!***

— Берегитесь, мой милый юноша, берегитесь! Послушайте меня, иной раз есть смысл послушать совет несчастного: не вкладывайте слишком много любви в такое хрупкое, переменчивое и неверное существо, как женщина, не губите себя! Не давайте страсти занять первое место у вас в сердце, не то вы себя погубите! И не стройте счастья на развалинах чужого, не то вы себя погубите. Не поступайте ради страсти ничем, что вас пленяет и привязывает к жизни, не то первый же удар свалит вас наповал. Женщины не стоят жертв. Пусть вам любится как поется, как верхом скачет, как играет, как читается, но не больше. Ни в чем прочном, честном и чистом не рассчитывайте на них: слишком горьким будет разочарование. Простите, что я вам все это говорю: я не хотел лишать вас юношеских мечтаний, преждевременно состарить или пресытить вас, но мне хотелось вас уберечь от многих несчастий, многих падений в пропасть. В данном случае стоит послушаться и последовать советам неудачника, особенно потому, что он стал неудачником по вине тех, кому вы посвятили всю веру свою и жизнь; каждый сам творит свою судьбу. Как и вы, я поверил, отдался — и погиб. Я был молод и блистателен, как вы. Берегитесь! Из-за женщин я стал изгнанником, фигляром, лакеем.

— О, только не бойтесь, что такое случится со мной, мой дорогой! Когда любовь, единственная цепь, привязывающая меня к берегу, порвется, все кончится, я порешу с собой... Дружище, остановитесь! Остановитесь, а не то мы проедем дом: вот тут, у этих дверей, — воскликнул Пасро, суя эюку в руку Несгораемого и выскакивая из кабриолета.

— Viva Dios! Señor estudiante, es V. m. d. muy dadivoso, muy liberal! Dios os guarde muchos años.****

Caballero!***** Вы запомните Мартинеса Калесеро и номер его экипажа?

— Si, si!*****

Студент вошел в указанный дом, а Мартинес, повеселевший, уехал, распевая наполовину по-испански, наполовину по-цыгански странный куплет:

* Господин студент (исп.).

** Рыцаря, которого разлюбили (исп.).

*** Я умираю из-за девчонки (исп.).

**** Боже мой! Господин студент! Вы щедры, очень добры! Да хранит вас бог многие лета! (исп.).

***** Кабальеро (исп.).

***** Да, да! (исп.).

Quando mi caballo entró en Cadiz
 Entró con capa y sombrero,
 Salieron a recibirlo
 Los perros del matadero.
 Ay jaleo! muchachas,
 Quien mi compra un jilo negro.
 Mi caballo esta cansado...
 Yo me voy corriendo.*

С важностью сенатора или судебного пристава, опустив голову, Пасро вошел вверх по лестнице.

— Ах, это вы, красавец-студент!

— Здравствуй, моя Мариэтточка!

— Здравствуйте.

— Твоей госпожи нет дома?

— Моя госпожа немножко и ваша. Скажите лучше — нашей госпожи; она только что ушла, вам не повезло.

— Куда же она ходит в такое время?

— В манеж, на урок.

— Красотка еще и наездница? Вот не знал.

— Говорят, она восхитительно ездит верхом.

— Смеешься, злючка! Непременно хочешь быть комедийной субреткой?

— Не беспокойтесь, милый друг, она скоро вернется; вчера она очень долго занималась, сегодня, надо полагать, все кончится раньше. Входите и подождите в будуаре.

— Согласен, только составь мне компанию; одному в будуаре мне будет очень скучно, и к тому же это против всех правил. Ну, пойди сюда, кокетка, чего ты боишься?

— Вы ведь студент.

— Студенты известны своей филогинией: ¹⁹ я еще не съел живьем ни одной женщины.

— Фи!

— Садись поближе, прошу тебя; вот так! Теперь поболтаем: ты же знаешь, я давным-давно от тебя без ума.

— Чести много, а толку мало: плодами этой любви пользуется мадам.

— Видишь ли, Мариэтта, после Европы, Азии, Африки, Америки, Океании и Филожены, твоей госпожи, ты седьмая часть света, та, что нравится мне больше всех.

* Когда мой конь явился в Кадис, —
 А был в плаще и в шляпе он, —
 Собаки с бойни прибежали
 И лаяли со всех сторон.

Живей, попляшемте, девчонки,
 А ну, кто купит ниток черных?
 Пусть заморилась лошаденка, —
 Я на своих бегу проворно (исп.).

— Чести много, а проку мало: седьмой части света тоже нужен свой Христофор Колумб.

— Бесстыдница! Дай я поцелую твое милое плечико, плечико слоновой кости! И грудь, настоящий Парнас с двумя вершинами, только Парнас романтический.

— «Что тешатся мечтой взобраться на Парнас. . .».²⁰

— Как, мадмуазель, мы, оказывается, знаем нашего антифлогистичного Буало! . . .²¹ Но, полно, чего ты боишься? Что за ребячество! Милая моя, ты ведь знаешь, как я люблю твою госпожу? Помни же, что, когда я люблю женщину и она обрела мою любовь, а я ей верю и она мне верна, как Филожена. . .

— Или когда она занимается в манеже.

— Я ей верен ровно настолько, насколько она мне.

— А, а! Раз так, то мне надо быть настороже. О, моя честь! О, моя добродетель! На помощь! Пустите меня! Господин Пасро, я на минуточку спущусь вниз; если кто позвонит, отойдите, пожалуйста, и попросите обождать.

— Я открою, даже если явятся гром и молния собственной персоной.

Как только студент остался один, в лице его произошла внезапная перемена, выражение его сделалось не только серьезным и мрачным, как обыкновенно, но даже еще серьезнее и мрачнее, чем всегда; без сомнения, двусмысленные намеки, которые Мариэтта, шая и резвясь, подпустила по адресу своей хозяйки, задела его за живое и помимо воли заронили подозрение в его доверчивую душу. Ни один покойник в могиле не мог выглядеть мрачнее, чем человек, сидевший сейчас в этом будуаре. Как вдруг, вырвавшись из своего оцепенения, из этой поглощенности своим внутренним миром, движением руки точно отгоняя что-то, незримо захватившее его, он выпрямился — бледный как привидение. И вновь лицо его озарилось точно потайной фонарь, внезапно осветивший ночную тьму. Он бросился в гостиную, подбежал к подвешанной к зеркалу миниатюре и стал покрывать изображенное на ней женское лицо поцелуями. Он долго расхаживал взад и вперед по паркету большими шагами и наконец остановился у рояля и принялся яростно перебирать клавиши, напевая вполголоса *Estudiantina*: *

Estudiante soy señora,
Estudiante y no me pesa,
Por que de la Estudiantina
Sale toda la nobleza.
Ay si, ay no
Morena te quiero yo,
Ay no, ay si
Morena muero por ti!

* Студенческую песню (исп.).

Rosita del mes de mayo
 Quien te ha quitado el color?
 Un estudiante pulido,
 Con un besito de amor.
 Ay si, ay no
 Morena te quiero yo
 Ay no, ay si
 Morena muero por ti!

Con los estudiantes, madre!
 No quiero ir a paseo,
 Porque al medio del camino
 Suelen tender el manteo.
 Ay si, ay no
 Morena te quiero yo,
 Ay no, ay si
 Moreno muero por ti.*

Бумм! Бумм! Бумм!

— Сагајо! ** Какой это скот так ломится в двери? Послушайте-ка, что вы тут за тарарам устроили? Звонка, что ли, не видите?

— Сударь, я уже целых десять минут звоню.

— Не выдумывай, дорогой мой, я ничего не слышал.

— Зато я отлично слышал, как вы распевали по-латыни. Может, это вы, сударь, будете мадмуазель Филожена? Я принес ей письмо от полковника Фогтланда.

— От полковника Фогтланда? Давай-ка сюда!

— Наказано отдать только в собственные руки.

— Пьяная рожа!

— Пьяная? Может статься. Но я француз департамента Кальвадос, орденов у меня, правда, нет, но зато честь моя при мне. Плевал я на пруссаков! Так и знайте!

— Пошел вон, болван!

* Я студент, моя сеньора,
 И худого в этом нет:
 Из студенческого хора
 Мы выходим в высший свет.
 Брожу, пою
 Смуглянку, любовь мою.
 Пою, брожу,
 С ума по тебе схожу!

Роза майская, бледна ты,
 Кто ж румянец твой унес?
 То студент, красавец статный,
 Целовал меня врасос.

Брожу, пою
 Смуглянку, любовь мою.
 Пою, брожу,
 С ума по тебе схожу!

Со студентами гулять я
 Больше, мама, не пойду:
 Обнимать начнут и платье
 Изомнут мне на ходу.
 Брожу, пою
 Смуглянку, любовь мою.
 Пою, брожу,
 С ума по тебе схожу! (исп.).

** Черт знает что! (исп.).

— Послушайте, хватит вам ругаться, как торговка, и господина из себя корчить. Не то я вам покажу!

— Пошел вон!

— Это я вам сказал так, на всякий случай, поосторожней сами слова выбирайте, да не забудьте про холостяцкие чаевые.

— Ах, еще и чаевые? . . . Бездельник! Чтобы ты еще больше нализался и на ногах не стоял. Пошел вон, пьяная рожа!

III

КОВАРНА КАК ВОЛНА ²²

Сомнение. — Тревога. — Страсти. — Нескромность. — Никаких сомнений! — Бедняга Пасро принимал содержанку за чистую девушку. — Он был другом сердца, а платил за все Фогтланд. — пытка. — Чистая вода становится тиной. — Омерзение.

Итак, Пасро снова один в глубочайшем унынии и с роковым письмом в руке: как же ему поступить? Сомнения и подозрения обступили его; все пропало! Уверенность рушится, как старый дом под ударами топора. Кто этот полковник Фогтланд? Какое он имеет отношение к Филожене? Что значит это послание? . . . После долгой нерешительности, долгой борьбы, чтобы избавиться от своей тревоги, он ломает печать на письме, в котором содержится либо окончательный приговор ему, либо торжественное оправдание его любовницы, гнусно им заподозренной, заклеившей тяжестью позорного обвинения на тайном судилище его сердца.

— Как, сломать печать? . . . Нет, я еще не сошел с ума! — восклицает он. — Если я вскрою письмо, то что я буду делать потом, окажись Филожена ни в чем не виновной? Я так унижу себя в ее глазах, буду выглядеть ревнивцем, соглядатаем, предателем! Ведь это предательство — взламывать печать, чтобы залезть сапожищами, да еще со шпорами, в доверчивую и застенчивую душу. Да, но если я обманут! Как мне об этом узнать? . . . Кто скажет мне, что меня не дурачит распутница? Неужто дожидаться, пока об этом станут кричать на улице? Станут смеяться на всех углах, когда я буду проходить с ней под руку? Станут шушукаться за моей спиной: «Сегодня она со своим студентом. Мне этот больше нравится, чем ее предпоследний». Какая срамота, человеку благородному идти среди бела дня с этакой потаскухой. Ах, это было бы ужасно! Я должен знать то, что есть; я должен знать, наконец, кому мне верить! . . .

Посмотрим. Нет, нет! Не безумие ли это — докапываться до истины? Кто роется в подобных вещах, роет себе могилу.

Ведь если это письмо запретит мне любить и уважать эту женщину, если оно властно предпишет мне растоптать ее ногами, возненавидеть ее! Ах! Какое ужасное пробуждение! Я этого не переживу!.. Мне нужна моя Филожена, нужна ее любовь навеки! Это масло моей лампы; разлить его, и она потухнет! И это меня убьет!..

Пасро, Пасро! Как ты неблагодарен, как жесток к этой женщине! Зачем обвинять ее, зачем клеймить, зачем?.. Знаешь ли ты, что содержится в этой записке? Нет! Так по какому же праву тогда?.. Страсть помрачает мне рассудок. . .

О, нет, конечно же, это нежное существо, добрая, простодушная, невинная девочка, она окружает меня любовью и клянется в ней, а я ее — заботами, радостями, счастьем, ей я отдал молодость, жизнь, ей поклялся в верности навеки; нет, ни за что она бы не сумела, не посмела бы меня обмануть! Нет, нет, Филожена, ты чиста и верна!

Подойдя к окну, Пасро отогнул края записки пальцами и заглянул во внутрь воспаленным и жадным взором. Разбирая слово за словом, он топал ногами и громко стонал.

— Великий боже! Предчувствия — это твой голос, ибо только твой голос никогда не солжет!..

Ужас! Ужас!.. Ах, Филожена, как все мерзко!.. Еще утром я был готов дать голову на отсечение, пожертвовать жизнью; я бы ведь отрекся от бога, если бы бог обвинил тебя. О, как это гнусно! Как низко! Но берегитесь! Никто не знает, что у меня на сердце, когда в нем уже нет любви. Берегитесь!

Посмотрим же, господин полковник; посмотрим, господин Фогтланд, я тоже там буду, на вашем свиданье! Мы будем там все трое!

В изнеможении он повалился на диван и, обхватив голову руками, залился горячими слезами.

Вот что содержало злосчастное письмо слово в слово:

«Дорогая моя Филожена,

Волнения среди унтер-офицеров моего полка требуют, чтобы я безотлагательно ехал в Версаль; не рассчитывай на меня сегодня ночью. У меня не будет возможности вернуться раньше, как через два-три дня; поэтому в воскресенье будь к пяти часам в Тюильри, под каштанами, возле мраморного кабана; я сразу, как приеду, прибегу к тебе, и мы вместе пообедаем. Три дня без тебя — это очень много и очень жестоко! Но долг прежде всего. Люби меня, как я тебя люблю.

Прощай! Целую тебя всю.

Фогтланд».

Может ли быть что-либо менее двусмысленное, более тяжкое? После всех мучительных сомнений к Пасро пришла уверенность. Да, теперь он уверился! . .

Но всех этих страданий было еще мало, мало было узнать, что та, кого он окружил нежными заботами и кого одарил чистой любовью, клятвопреступница, низкая и подлая тварь. Видно, суждено ему было в тот день принять удар за ударом и все потерять, навсегда, без возврата. Та, кого он рисовал себе целомудренной, невинной, стыдливой, к кому приближался с трепетом, почитая за преступление, что вырвал ее из девичества и возмutil ее тихую ясную душу, предстала перед ним во всей своей мерзости: распутной, бесчестной, похотливой, поганой!

Решив оставить ей записку и роясь в ящике, чтобы найти чернильницу, он обнаружил — мне стыдно произнести это имя — в золоченом сафьяновом переплете книгу с раскрашенными картинками, о небо, мне стыдно сказать. . . то был Аретино!²³

Вообразите его ужас. Он был уничтожен. Его губы презрительно подергивались, потом надулись и отвисли, выражая глубочайшее отвращение, а в стесненной груди он ощутил подступившую тошноту.

В это мгновение вошла Мариэтта, и Пасро совладал со своим горем.

— Госпожи все еще нет?

— Нет, милочка.

— И полюбилась же ей верховая езда. . .

— Она от нее без ума.

— О! Мне больно делается от вашего смеха. Вы так огорчены, так расстроены, мой дорогой господин. Поверьте мне, если уж страдать, то не стоит страдать из-за нее, бедный молодой человек, если бы вы только знали. . . Но, может быть, кто-нибудь приходил без меня?

— Нет. Ах, да! Принесли только письмо — от полковника Фогтланда.

— От полковника Фогтланда! . . Неудивительно, что вы в таком состоянии. Бедный молодой человек, как грубо вас обманули!

— Прощай, прощай, Мариэтта!

— Прошу вас, крепитесь, у меня сердце обливается кровью! Сказать ей, что вы были?

— Да, и ни слова больше!

Пристыженный, он незаметно выскользнул из двери, словно развратник, выходящий из публичного дома. На бульваре, на стоянке кабриолетов, он отыскал Мартинеса, кинулся ему на шею и расцеловал его к величайшему удивлению прохожих.

— О, друг мой, ты был прав: в тихом омуте оказались черти! Едем, едем, погоняй, погоняй! Мчись во весь дух! Мне надо забыться!

IV

МНОГОРЕЧИВЫЙ АЛЬБЕР

Положительно, у нашего студента сплин. — Спленалия. — Он создает себе искусственный климат, свое собственное солнце и пунш. — Поелику воображение не наделило его страхом приближения смерти или всего, что за нею следует, он не страдает ложной чувствительностью. — Рассуждение. — Ареология.²⁴ — Он засыпает.

Вернувшись домой, Пасро снова впал в холодное и молчаливое оцепенение. Обыкновенно на его красивом лице лежала печать тоски, глубокой, но умиротворенной; теперь же совсем не то: блуждающие глаза его спрятаны под плотно сдвинутыми бровями, рот искажен горьким смехом, зубы скрежещут; нервы его напряжены, он шагает взад и вперед, сведенными пальцами хватает и ломает все, что попало; то он сгибается в три погибели, то извивается, как раненый зверь; голова его все время поворачивается направо и налево, точно у страдающего близорукостью орла, который высматривает добычу, чтобы кинуться и задушить ее; все движения его свирепы и злобны.

Внезапно он распахивает настежь окна, подбегает и свешивается вниз, вслед за тем резко задергивает жалюзи и запирает окна и ставни изнутри; вот он стоит, погруженный в глубокий мрак, и в этом находит радость. После этого начинает зажигать лампы, люстры, жирандоли, канделябры и свечи; несмотря на духоту, разводит жаркий огонь в камине, потом звонит. Прибегает слуга.

— Лоран, принеси мне сюда чашу, сахару, лимонов, чаю, бутылок пять рому или водки; а сам поезжай сейчас же к приятелю моему Альберу и проси его немедленно ко мне приехать; просто скажи ему, что у меня *день небытия*.

Лакея нисколько не удивили ни все эти приготовления, ни иллюминация, ни спешка, он исполнил приказание как нечто само собой разумеющееся, обыденное.

И впрямь во всем этом не было ничего нового: лишь одно из многих чудачеств Пасро, которое повторялось к тому же чаще других. По натуре нервный, впечатлительный, раздражительный, он начинал чувствовать себя очень плохо всякий раз, когда падал барометр, небо переставало сиять, солнце не палило и не жгло. Ему нужны были знойные страны, чистый воздух, раскаленная земля: Марсель, Ницца, Антиб, испанское солнце, итальянская жизнь!.. Вот почему он огорчался, что ему придется прозябать в городе непроглядных туманов, слякоти, грязи, студеном, пасмурном, нездоровом, промозглом, и он надеялся бежать из него

навсегда, как только получит диплом; он мечтал навсегда покинуть родину и переехать куда-нибудь в Колумбию, в Панаму.

В дождливые дни, тягостные и гнетущие, тогда, когда дул северный ветер или все заволакивал туман, на него находила хандра, он томился и вздыхал. Скучал и плакал. Все становилось ему безразличным, девизом его было:

Как наша жизнь горька, как сладостна могила!

Поэтому долой жизнь!

В такие дни он призывал небытие. Только тремя вещами стоит заниматься, думалось ему в такие минуты, тремя вещами, и все три сулят забвение: напиться до бесчувствия, спать и не видеть снов или наложить на себя руки; напьемся же и уснем! Чтобы покончить с собой, необходимо сделать такое усилие, на которое я сейчас не способен; дальше видно будет. — Не хочу больше этого глупого света; закроем ставни и окна. Огня! Свечей! Мериленда²⁵ и пуншу!..

— Лоран, ты будешь приносить мне пищу и проведывать меня время от времени. А как только солнце проглянет и жизнь снова станет прекрасной, дай мне знать, открой тогда ставни.

Иной раз, когда ненастная погода водворялась надолго, ему случалось и по месяцу просиживать взаперти, вечно с лампами, свечами, утопая в сиянии искусственного света; иногда он в эти дни читал и писал, но чаще напивался пьяным или спал непробудным сном. Его двери были для всех закрыты, кроме Альбера, весьма охотно приходившего разделить с ним его добровольное заточение. Альбер не знал той одержимости, того страдания, того отчаянья, которыми бывал охвачен его друг, его прельщала необычная обстановка, возможность погладить жизнь против шерсти и назло тупому мешанству. Но больше всего его прельщали сигареты и пунш. Перед ними он просто благоговел, глубоко их чтил.

Дни небытия у Пасро не всегда бывали данью туману, дождю и темноте;²⁶ часто, — так было и в этот раз, — они проистекали от скуки, огорчений и неудач.

Внезапно быстрые шаги, взрывы смеха и песни на лестнице возвестили о приходе Альбера.

— Здорово, старина Пасро, мы что же, снова в небытии? Положим, я это еще с утра предчувствовал по твоей мрачной физиономии. Вообще-то мне это весьма кстати, ибо, признаться, хоть я взял за правило все принимать легко, но у меня еще в печенках сидит утреннее происшествие; не худо малость заглушить его.

— Ах! Бедняга Альбер, если тебя еще утренняя неудача зудит, то моя послеобеденная меня совсем доконала!..

— Что ты имеешь в виду?

— Ты мне дал месяц срока, помнишь? Так вот, возвращаю тебе тридцать дней.

— Вот оно что! Чудесный подарок!.. К какому же ты пришел заключению о женской добродетели? Что скажешь о своей святой Филожене? Это чудесно, чудесно! А ну-ка, выкладывай всю эту потеху!

— Увы! Лучше не будем об этом говорить, мне слишком больно! Налей-ка лучше пуншу, и дело с концом!

— Знаешь, Пасро, а ты ведь не очень-то любезен. Ты бы мог меня обождать, нечего напиваться одному; ты выдул в одиночестве, словно анахорет, почти целый бокал.

Как наша жизнь горька, как сладостна могила!

Пить! Пить! Наливай же, прошу тебя, я еще в здравом уме, я все еще мыслю, я страдаю!.. Наливай, Альбер!

— Все это уязвило бы меня, по чести скажу, если бы я был уязвим; зря ты принимаешь эти вещи так близко к сердцу; в конце концов, что с того? Жалкая история, пошлая, избитая! Ты во что бы то ни стало хочешь любить; выкинь все это из головы, прошу тебя; всюду ты найдешь одни только презренные создания; всюду из-под глазури невинности проступит скудель, грубая глина; смолоду одни разочарования от вероломных, распутных и лживых любовниц, под старость — от жен, неверных или сварливых. Нечего увиваться вокруг женщин в поисках чувств, иди к ним ради развлечения, ради здоровья, да и то если природа сама толкает тебя в их объятия.

— Альбер, душевная сухость твоя обличает в тебе медика!²⁷ Бери-ка скальпель, поговори о мышцах и флеботомии²⁸ или помолчи; ты мне жалок!

— Кроме того, видишь ли, здраво рассуждая, нечего требовать от женщин верности и постоянства; нелепо называть добродетелью все то, что противно женской натуре и несовместимо с ней. Ей свойственно легкомыслие, беззаботность, переменчивость, своеволие, — такой она и должна быть, так надо, и это хорошо. Ей не к чему отягчать себя, анализировать, обдумывать, взвешивать; ей надо всегда быть взбалмошной, увлекаться то тем, то этим, чтобы с легкостью пройти через страдания, назначенные ей в печальный удел, и чтобы не догадаться о том низменном положении, которое ей уготовило общество.²⁹

Как наша жизнь горька, как сладостна могила!

Наливай-ка, Альбер, наливай, наконец-то меня шатает; наливай, я чувствую, как действительность куда-то уходит.

— Ты всегда будешь несчастным, если не захочешь удовлетвориться внешностью, если захочешь непременно копаться и до всего доискиваться. В ущельях мысли и разума таятся опасности: там вечно происходят

обвалы. Нельзя одновременно жить и думать, надо отказаться от того или другого. Кто бы смог вынести существование, если бы, как ты, вечно обо всем задумывался? Ведь так мало надо, чтобы дойти до желания смерти; взглянешь на небо, на звезду, спросишь себя: что это? И тогда наша жалкая доля, наша низость, наш плоский, ограниченный разум явятся нам во всем своем блеске. Начинаешь жалеть себя, и тебя охватывает отвращение; утомившись и устыдясь самих себя, хоть прежде мы преглупо гордились собою, мы начинаем призывать на помощь небытие, в общем-то еще более непонятное. . .

Надо стать таким, чтобы от тебя все отскакивало, как от брони. Не надо ничего принимать всерьез, надо смеяться!

— От жалости!

— Надо смеяться над всем, порхать от цветка к цветку, от наслаждения к наслаждению, от радости к радости. . .

— А что такое наслаждение и радость? Не знаю.

— Надо исполнять каждую свою причуду.

— Я свою исполню!

— Играть, тратить, прожигать жизнь, лгать, быть беззаботным, ленивцем, повесой.

— Пуншу, пуншу, Альбер, наливай же! Хватит с меня поучений! Поверь мне, смерть у меня в груди; я не создан для жизни.

— Но разве не жалко видеть молодого человека в блеске карьеры, наделенного возвышенным умом, чья мысль способна обнять мир и науки, который опускается, съезживается, тупеет и уничтожает себя ради подлой девки, разве это не жалость? Очнись же, Пасро!

— Я ношу в себе смерть, я не создан для того, чтобы жить, говорю тебе.

— Мало тебе девчонок, с кем отомстить за себя? Мало тебе места на земле, если тут стало не по себе? Поезди-ка по разным местам, чтобы все повидать, все услышать, всего коснуться, всего отведать, и вот, если на твоем пути ничто тебя не привлечет, не притянет, если нигде ты не будешь чувствовать себя хорошо, если ты не сыщешь берега, где бы захотелось раскинуть палатку, воротись — и тогда только настанет время уничтожить себя, и ты будешь прав, и я похвалю тебя за твою решимость.

Как наша жизнь горька, как сладостна могила!

Налей-ка мне, Альбер! Пуншу! Пуншу! Чтобы уснуть! Еще один бокал небытия. Неужели я все еще владею своим пытливым умом, скажи?

— В глазах людей — нет.

— Наконец-то. . .

Пасро кое-как добрал до постели и повалился. Альбер допил начатый бокал и ушел, выписывая ногами кренделя и весь наклонясь вперед, точно Пизанская башня³⁰ или Сенсевернская игла.³¹

V

НЕБЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ

Похмелье. — Наш Дагобер недоглядел, штаны навыворот надел.³² — Что за низость, зонтик. — De torrente in viâ bibet. — Su majestad christianisima el verdugo.** — Нелепость! — Новые нелепости. — Еще нелепости. — Одни только нелепости!*

Было еще очень рано, в комнате мрачно догорали свечи. Пасро, бледный и изможденный, ругался самыми последними словами, лежа в постели и обрывая шнурок звонка.

— Черт знает что! Этого бездельника не дозовешься! Кошачий концерт, что ли, ему устроить, ну так на вот, получай! О черт! А вдруг он помер, а я теперь звоню по покойнику! Силы небесные! Этот олух, верно, занимается любовью в объятиях какой-нибудь дуры!

Крича так, словно одержимый, он дергал звонок то одной, то другой рукой: дзин! дзин, дзин! В конце концов шнурок оборвался, и кусок его остался у него в руке, как обломок шпаги у дуэлянта.

— Боже милостивый, господин Пасро, что-то у вас сегодня совсем терпенья нет!

— Лоран, ты вынуждаешь меня ругаться, черт полосатый! Три часа никак до тебя не дозвонюсь. Куда это ты провалился? Ждал, пока виселицу восстаноят, что ли? Живо костюм мне приготовить, мне надо идти.

— Кто же вас знал, что вы вскочите чуть свет после вчерашнего? Погода прескверная, льет как из ведра; куда это вы пойдете?

— Костюм, говорят тебе, — мне надо идти! Пусть даже погода такая, что брехуна и то за дверь не выгонишь.

Лоран стал помогать Пасро, тот был так поглощен своими мыслями, что ничего не видел и не чувствовал.

— Прошу прощенья, ваша милость, только как сами вы сегодня не в себе, так и штаны-то у вас наизнанку надеты.

— Королевская рассеянность, достойная Меровингов!

— Ох, ох, милый барин, огорчаете вы меня, какой-то вы сегодня озаченный и мрачный. У вас черная меланхолия.

— Чернее некуда.

— К завтраку-то вы воротитесь, барин?

— Не уверен.

— Послушайте, на дворе так льет и такой холод — поди, все на свете насмерть простудятся.

— Ну и пускай себе подышают!

* В пути пьет из источника (лат.).

** Его христианнейшее величество палач (исп.).

— Подождите немножко, либо наймите экипаж, либо уж зонтик, что ли, возьмите.

— Зонтик! Лоран, ты меня оскорбляешь. Изнеживающая вершина цивилизации. Воплощение, квинтэссенция и символ нашей эпохи!³³ Зонтик!.. вот во что презренным образом выродились плащ и шпага! Зонтик!.. Лоран, ты меня оскорбляешь! Прощай!

Ветер хлестал его, дождь неустанно поливал — студент наш был похож на сушеную треску, которую вымочили за счет самого неба. И вот он стучится у запертых дверей какого-то дома на узенькой пустынной улочке Сен-Жан или Сен-Никола, что ниже бульвара Сен-Мартен. С несчастного ручьями лила вода, как из опрокинутого горшка. И это он, в такой сильной степени страдавший водобоязнью, умудрился пройти через весь город, втянув голову в плечи, не обращая ни малейшего внимания на ливший как из ведра дождь! Прохожие покатывались со смеху, глядя, как он шагает с сосредоточенной невозмутимостью дервиша, но он ничего не слышал, твердо переступая через потоки и ручьи, которые струились на его пути, а по временам еще вдохновенно декламировал знаменитые стихи из «Эрнани»:

Когда у нас в груди клокочет страсти пламя,
А сердце ширится и полнится громами, —
Что нам гроза небес над проливным дождем,
С которым сходят в дом и молнии и гром.³⁴

Он долго ждал у запертой двери. Наконец ему все-таки открыли.

— Кого вам угодно, сударь?

— Сеньора Вердуго.³⁵

— Как вы сказали?

— Прошу прощенья, можно видеть г-на Сансона?³⁶

— Да, он завтракает, войдите.

— Приветствую вас, сударь.

— Я к вашим услугам. Что за спешное дело привело вас ко мне в такую бурю?

— Вот именно, спешное.

— Ну что ж, рассказывайте!

— Прошу извинить меня за то, что я осмелился побеспокоить вас в вашем убежище и просить оказать мне услугу, которая по вашей части.

— По моей части! Я оказываю только жестокие услуги.

— Жестокие для трусов, людям сильным они приятны!

— Слушаю вас.

— Я пришел просить вас, хотя это и очень большая нескромность с моей стороны... вы ведь меня совсем не знаете... , впрочем, я готов уплатить все издержки и расходы...

— Объяснитесь же наконец.

— Я собирался смиренно просить вас, я был бы очень тронут вашей снисходительностью, если бы вы могли оказать мне честь в виде дружеского одолжения гильотинировать меня.

— То есть как это?

— Если бы вы знали, как мне хочется, чтобы вы меня гильотинировали!

— Вы что-то уж очень далеко зашли со своими шутками; вы что же, молодой человек, решили оскорбить меня в моем собственном доме?

— Я далек, очень далек от этой мысли; пожалуйста, выслушайте меня; дело, по которому я пришел к вам, важное и серьезное.

— Если бы я не боялся оказаться невежливым, то я сказал бы вам прямо, что вы, как видно, сошли с ума.

— Так могло бы многим показаться, сударь. Клянусь всеми вашими эзофаготомиями,³⁷ что я в твердом уме; просто услуга, о которой я вас прошу, не в наших обычаях, то есть не в обычаях толпы, а всякий, кто не поступает в точности так же, как толпа, считается сумасшедшим.

— Вижу, что вы человек порядочный. Хочется верить, что у вас действительно не было ни малейшего намерения меня обидеть или напомнить мне о моей злостной профессии, которую я успел уже позабыть. Должно быть, вы в здравом уме.

— Вы отдаете мне должное.

— Может, вы художник? Судя по вашему костюму...

— Да, пожалуй, но вы-то ведь тоже художник, мы с вами в некотором роде собратья: мои занятия во многих отношениях напоминают ваши; как и вы, я тоже хирург, но вы — мой учитель по части ампутаций; мои операции менее торжественны и менее верны, чем ваши, именно это и привело меня к вам.

— Вы делаете мне честь.

— Нет, что вы, от меня до вас, как от пряслица до прядильни: я ведь действую вручную, а вы, сударь, крупный промышленник, вы производите ампутации механическим способом.

— Вы делаете мне честь. Только чем же все-таки я могу вам служить?

— Я хотел бы, как я уже имел дерзость сказать вам, чтобы вы меня гильотинировали.

— Будем, наконец, говорить серьезно, не возвращайтесь к этому больше, это скверная издевка!

— Покорнейше прошу поверить, что это единственная весьма важная причина моего посещения.

— Ну и оригинал!

— Без лишних слов, вот как обстоит дело. Давно уже мне хотелось оборвать эту жизнь, я устал от нее, она мне надоела; я, правда, еще поддавался надеждам, откладывал все со дня на день; и вот наконец вы видите жалкого раба, обремененного людскими печальями, который падает под тяжестью своей ноши и пришел, чтобы скинуть ее с плеч.

— Вы так рано устали от жизни? Как это могло случиться, друг мой?
— Мы вольны распорядиться нашей жизнью. Ее можно переносить на известных условиях, например когда человек счастлив, и можно же, конечно, с полным правом оборвать ее, если она приносит одни страдания; мне навязали жизнь без моего согласия, как мне навязали крещение; от крещения я отрекся, а сегодня пришел требовать обратно небытие.

— Вы что, человек одинокий, у вас нет никого родных?

— Родных слишком много.

— У вас нет денег?

— Я не из тех, кто поклоняется золотому тельцу.

— Но разве нет у вас хоть капельки любви к науке?

— В науке все лживо, это одна тшета.

— У вас нет никакой привязанности, нет подруги?

— И то и другое я потерял навсегда.

— В двадцать лет потерять любовь нельзя, а потеря подруги, хоть она и велика, все-таки возместима.

— Я пресытился жизнью.

— Глаза у вас блестят, а сердце бьется — значит, это не так.

— Я все увидел в истинном свете.

— Даже любовь?

— Любовь! Но что такое любовь? Ее опоэтизировали на радость дуракам. Грубая, периодически повторяющаяся потребность, вопиющий закон природы, вечной природы, воспроизводящей и размножающей, животное влечение, плотское скрещение полов, спазм! И ничего более! Страсть, нежность, честь, чувство — все сводится к этому.

— Какие отвратительные слова!

— Вчера еще я так не говорил; вчера я был еще обольщен обманом, но со вчерашнего дня не одна повязка упала с моих глаз; никто не был так чувствителен, как я. Чем возвышенней и прекраснее сны, тем мучительней и пошлее пробуждение. Вчера я был нежен, сегодня я стал свиреп. Всеми силами моей души я полюбил женщину. Я поверил, что и она любит меня, а она меня разыгрывала. Я считал ее искренней, она оказалась низкой и подлой! Я верил, что она простодушна, невинна, чиста, а она оказалась продажной! О ужас! А ведь единственным, что меня удерживало в этом мире, была любовь, любовь к этой женщине!

— Горе ваше мне понятно, но все это вполне поправимо. Просто одно из тысячи пождений молодости, каких у вас еще будет немало: пожалуйста, не привыкайте из-за этого каждый раз себя убивать. Все, что вы мне рассказали, никак не может быть серьезной причиной для самоубийства. Знаю, знаю, разочарование бывает иногда очень горьким; но сильный и мыслящий юноша, как вы, должен уметь преодолеть еще и не такие трудности. Все это какое-то ребячество, и если всем нам еще доведется жить снова после того, как на нашей земле не останется ничего живого,

вы обретете новую оболочку и спокойствие, вы, разумеется, сильно удивитесь тому, что когда-то пожертвовали собой ради такой малости, такого пустяка.

— Как я уже сказал вам, я принял решение покинуть жизнь еще до постигшей меня катастрофы; только любовь заставляла меня откладывать исполнение этого плана. Я даже не уверен, встречу я другую, попадись мне женщина достойная и верная, не расстался ли бы я со своим намерением. Но сейчас все изменилось, я поклялся с собой покончить; клятву преступать нельзя.

— Видите, я, оказывается, был прав, сочтя вас помешанным.

— Помешанным!.. Скажите же мне тогда вы, который в своем уме, что мы делаем на земле? Для чего, зачем мы тут? И вообще кто мы такие, жалкие гордецы? Или все дело лишь в том, что мы подлежим воспроизведению и уничтожению?

— Вы сошли с ума!

— Мы отклонились в сторону, давайте вернемся к причине моего посещения: еще раз умоляю вас, исполните мою просьбу; я оплачу все издержки.

— Какую просьбу? Чего же вы, собственно говоря, хотите?

— Сущий пустяк. Я просто хочу, чтобы вы меня гильотинировали.

— Никогда, друг мой, это чистейшее чудачество. Даже если бы я захотел, я бы не мог. Увы! Да не допустит господь, чтобы я нанес вам даже ничтожную царапину.

— Почему? Разве вы не вправе, разве вы не вольны делать что вам заблагорассудится? Общество вручило вам скрипку, так разве вы не вправе на ней играть сколько душе угодно? Разве оно может запретить вам оказать кому-то дружескую услугу?

— Что верно, то верно, общество оставило мне в наследство плаху, а вернее, отец отписал мне гильотину наместо всего движимого и недвижимого имущества. Но общество сказало мне: будешь играть на своей скрипке только для тех, кого мы сами к тебе пришлем.

— Так вот оно-то меня и послало.

— Ну уж нет.

— Вот именно, меня привело мое отвращение к этому обществу.

— Вы сразу пришли ко мне, мой милый, а так это не делается. Вы по столбовой дороге прикатили, а надо было взять в обход; извольте-ка вернуться да пройти через жандармов, через тюрьму, тюремщиков да судей.

— Так вы решительно не хотите оказать мне эту услугу? Вы неучтивы. Но господи боже мой! Я вовсе не прошу непременно делать это среди бела дня, на глазах у всего Парижа, посреди Гревской площади; это наше частное дело, обставим все по-домашнему: там вот, в уголке вашего сада, все равно где, по вашему усмотрению. Видите, какой я покладистый.

— Нет, это невозможно: убить невинного!

- А разве у нас это не делают каждый день?
- Я не убийца.
- Как это жестоко — отказывать в том, что вам ровно ничего не стоит!
- Я не душегубец.
- Может быть, я вас обидел, но я этого не хотел; вы не какой-нибудь разбойник, я это знаю; всем известны ваше человеколюбие, ваша филантропия.
- Если вы искренно желаете смерти, самый простой выход — самоубийство: первое попавшееся оружие, пистолет, наконец, ваш скальпель...
- Нет, мне это не подходит, не будет полной уверенности в успехе; рука может дрогнуть, вот и оплошаешь, может произойти, как говорится, осечка. Можно себя покалечить, изуродовать.
- Очень жаль.
- А ваш способ такой быстрый, такой верный; прошу вас в виде компенсации за всех тех, кого вам пришлось обезглавить, умоляю вас, отрубите мне голову по-дружески.
- Не могу.
- Но это же нелепо.
- Не будьте навязчивым.
- Ладно же, не хотите по-хорошему, так вас заставят меня убить. Если дело лишь за тем, чтобы пройти через жандармов и судей, что же — и пройду!
- Вот тогда я буду вашим покорным слугой.
- Не хотите, ну-ну! Почему? Потому, что я невиновен: ничего себе причина! В конце-то концов, если непременно необходимо, чтобы я совершил преступление, то это все легко и просто! Ну-ну!.. Во Франции хватает Коцебу,³⁸ а вот Карлов Зандов³⁹ что-то маловато!
- Слава Карлу Занду!..
- Господин исполнитель высшей кары, до скорого свидания, не позднее чем через месяц. Будьте готовы, велите получше наточить на кузнице нож, мне не хотелось бы, чтобы он был тупым.
- Да хранит вас бог от меня, молодой человек!
- Во Франции есть пошлые писатели, что продались за границу, свои пошляки, растлевающие молодое поколение, свой Коцебу!.. Так пусть у нее будет и свой мститель, свой Карл Занд! Слава Занду!!!

VI

ДРУГАЯ НЕБЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ

Пасро пишет к Филожене. — Прошение в палату. — Он предлагает построить завод. — Преимущество, которое извлечет государство из этой новой монополии. — Рехнулся Пасро или он покамест в своем уме? — Это еще вопрос.

— Лоран, немедленно пошли это письмо городской почтой. Дойдет оно к пяти часам?

— Нет, ваша милость, поздно уже.

— Тогда отправь его с нарочным.

— К мадмуазель... мадмуазель Филожене на улице Менильмонтан. Мадмуазель Филожена! То-то я сразу догадался по вашему виду, барин, что вы влюблены!

— Тебя не проведешь!.. Очень влюблен. Постой, велика еще снести это письмо в палату общин, то бишь депутатов, и отдать его в секретариат.

— Спешное тоже?

— Очень спешное.

В первом письме Пасро просил Филожену быть дома после обеда, ибо он хочет зайти к ней в шестом часу вечера.

Другое было прошение в палату, и вот приблизительно его содержание:

ИХ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВАМ ГОСПОДАМ ДЕПУТАТАМ.

Милостивые государи,

Не сочтите неприличным, что молодой юнга, как я, взял на себя смелость подать из глубины трюма очень скромный совет старым кормчим трехпалубного корабля конституционного государства.

В час, когда страна в нищете, а казна в третьей стадии чахотки, в час, когда наши милые налогоплательщики пораспродавали с себя все, вплоть до подтяжек, дабы уплатить подати, сверхподати и архиподати, обложения и контробложения, подушные и сверхподушные, налоги и сверхналоги и вынести несусветные вымогательства; в час, когда ваша запутавшаяся в долгах монархия и ваш грушевидный суверен⁴⁰ висят на волоске, каждый благомыслящий гражданин чувствует себя обязанным прийти ей на помощь, будь то взятками, будь то доброхотными подношениями, будь то остроумным советом. Мне, как не достигшему совершеннолетия, остается только этот последний способ.

*На бога надейся, а сам не плошай.*⁴¹

Итак, честь имею предложить вам новый вид налога, от которого страна не оскудеет; новый налог не более обременителен для благородных сословий, для идальго и архиепископов, чем для простолюдинов. Новый налог не помешает людям низшего сословия иметь приварок к хлебу, когда у них есть хлеб; новый налог высоко нравствен, это совершенно из ряда вон выходящий налог, ибо это налог не на игорные дома и не на лотереи, не на сальные свечи, не на женщин легкого поведения, не на табак, не на судей, не на живых, не на мертвых; короче говоря, новый налог извлекает пользу из одних только умирающих. Необходимо ведь, поелику это возможно, обкладывать налогом предметы роскоши.

В течение последних лет самоубийство вошло у нас в обычай и получило широкое распространение: ⁴² иные злопыхатели, без сомнения из карлистов ⁴³ или из республиканцев, приписывают его бурный рост бедствиям нашего времени. Дураки-то какие! Итак, повторяю, самоубийство стало очень модным, почти столь же модным, как в третьем веке христианской эры. Как и дуэли, самоубийство неискоренимо, и вместо того, чтобы предоставить самоубийство самому себе (и в чистый убыток), было бы, мне думается, куда умнее сделать из него своего рода дойную корову и надоить с нее изрядный доход.

Вот в двух словах то, что я предлагаю. Правительству следует учредить в Париже и в главных городах каждого департамента большой завод или некий механизм, приводимый в действие водой или паром, наподобие гильотины, чтобы убивать легким и приятным способом людей, уставших от жизни и желающих покончить с собой. Тела и головы падали бы в корзину без днища, и их тут же уносило бы течением; таким образом можно было бы избежать расходов на похоронные дроги и на могильщиков. В местностях с сухим климатом можно бы присоединить весь этот механизм к ветряной мельнице. Наблюдение за механизмом и управление им можно было бы поручить палачу округа, который жил бы в том же помещении, так же как кюре живет в церковном доме, и никому бы не пришлось платить дополнительного жалования.

Согласно сделанным и проверенным подсчетам, ежедневно в каждом департаменте самоубийством кончает в среднем десять человек, что составляет 3650 человек в год и 3660 — в високосный год, а общее количество для всей Франции для обычных лет 302 950 и 303 780 — для високосных. Можно назначить среднюю плату сто франков, но для людей знатных можно было бы устроить отдельные кабинеты, которые оплачивались бы соответственно дороже, так же как часовни при церквях для венчаний; 302 950 по 100 франков с человека, что составит 30 295 000, — вне всякого сомнения, очень заманчивый и значительный доход, могущий изрядно поддержать казну. Учреждение это удовлетворит всем требованиям, которые выдвигает общество, а именно: оздоровлению нравственности и государственным нуждам. 1) По части оздоровления: окрестный воздух перестал бы загрязняться гнилостными миазмами, ядовитыми испаре-

ниями, которые исходят от трупов самоубийц, разбросанных и разлагающихся по дорогам. Тем самым мы избавились бы и от тифа. 2) По части приятности: граждане не подвергались бы опасности уткнуться носом в болтающиеся ноги повесившихся на деревьях в местах общественных гуляний и в городских садах или же быть раздавленными теми, кто выбрасывается из окон. 3) Для самих самоубийц, ибо они получают полную гарантию в успехе своего предприятия в условиях приятных и удобных, а страна избавится от уродов, калек — от всех, кто может изувечить себя неловкой попыткой свести счеты с жизнью. 4) Нравственность много выиграла бы, прежде всего, уже потому, что все совершалось бы на законном основании и в полнейшей тайне; помимо всего прочего благодаря этому самоубийство, ставши делом общегородским и прибыльным, в скорости выйдет из употребления; так комедианты пришли в упадок с тех пор, как они сделались полноправными гражданами, перестав быть париями, стоящими вне общества и закона. 5) Выгодно это было бы и для государства, поскольку огромные суммы потекли бы в его копилки.

Цивилизация, господа, как говорится в вашей красноречивой газете «Конститусьоннель»,⁴⁴ идет вперед гигантскими шагами, и Франция, господа, — тамбурмажор этой цивилизации, бегущий в семимильных сапогах. А посему именно Франция призвана подать всему миру пример первенства во всех социальных улучшениях, во всяком прогрессе, во всех филантропических учреждениях; вам же, господа, представляющим сию славную Францию, вам, маякам этого светоносного века, как говорит ваша газета «Конститусьоннель», надлежит великодушно одобрить столь важный проект. Одобрив его, вы наполните изобилием казну и веселием сердца самоубийц, людей, каковые не будут более обречены, как и я сам в этот час, мерзко ковырять себя ножом, дробить себе череп, стреляя из аркебузы, или, на худой конец, вешаться на оконной задвижке.

Чсть имею, милостивые государи, с великим уважением пребывать вашим смиреннейшим и почтеннейшим почитателем,

Пасро,

студент-медик, улица Сен-Доминик д'Анфер, 7.

Надо думать, Комиссия жалоб доложит этот проект на ближайшем заседании. Будет очень жаль, если предложение это не будет принято к сведению и палата перейдет к очередным делам.

VII

АХ, ЭТО ДУРНО!

Пасро посещает Филожену. — Пасро разыгрывает ее и издевается над ней. — Они идут погулять на огороды. — Пасро как бы ненароком натывается на дом кормилицы и ведет Филожену в одичалый заброшенный сад. — Что может быть слаще уединения? — Пасро намекает на свои подозрения, Филожена возражает. — Он разыгрывает ее и издевается над ней. — Час преступления близится, помолимся богу! — Под липами; заметьте, пожалуйста, что это отнюдь не роман, продолжающий Жан-Жака и Ричардсона.

Точно в назначенный час появился Пасро. Отворяя ему двери, удивленная Мариэтта вскричала:

— Как, это вы, мой милый студент? Увы! Хоть мне и очень приятно вас видеть, но я считала вас мужественнее и надеялась, что вы не переступите больше порог этого дома; должно быть, несмотря ни на что, вы ее все-таки любите? Видно, вам никак от нее не отстать?

— Надеюсь, милая моя, ты по крайней мере не проговоришься ни о чем на мой счет и она не подозревает, что я сколько-нибудь к ней переменился?

— Нет, что вы!

— Ты не сказала ей, что я был тут, когда принесли записку от полковника?

— Нет, я не должна была это говорить.

— Она дома?

— Мне бы следовало сказать — нет. Боже мой, боже мой! Как мало в вас душевного благородства! Или сколь вы достойны жалости, что так неудачно влюбились в такую... Вас обманывают, и вы это знаете!

— Ты вот меня так обвиняешь, а знаешь, какую клятву я дал, знаешь, что у меня на сердце?.. Оставь при себе свои упреки, Мариэтта.

— Войдите, она у себя в спальне.

Филожена только что встала из-за стола и, растянувшись на диване, переваривала обед, сытая и раздобревшая, как корова, вдосталь наевшаяся клеверу.

— А, вот и вы, господин ветреник, придется вам подрезать крылышки! Ваша подружка трое суток уже вас в глаза не видала!

— Вы запросто меня записали в ветреники, дорогая; когда я прихожу к вам, вас никогда нет дома: мадам катается по городу верхом.

— А что ж плохого в том, чтобы ездить верхом? Вы как будто меня упрекаете?

— Далеко от этого...

— Ну, идите сюда, я вас поцелую в лоб и заключим мир; идите! Бедный вы мой, кажется, что мы уже целую вечность не виделись.

— Вы же не только в манеже занимаетесь, вам еще, верно, и теорию приходится изучать?

— Да, мне кажется, что...

— Ну и какие же повороты вы уже прошли? Какие положения?

— Почему ты мне сегодня не говоришь «ты»? Мне больно от этого чопорного «вы»; можно подумать, что вы обижены?

— Обижен! чем?

— Откуда я знаю!

— Разве ты для меня не та же, что и прежде? Всякий раз такая же добрая, любящая, искренняя?

— Всякий раз! Ты бы меня обидел, если бы стал сомневаться.

— Как, сомневаться в тебе! Ты сама меня этим обижаешь!

— Какое счастье! Я вижу, что ты меня все еще любишь! Я тоже тебя очень люблю, мой Пасро!

— Как я могу не обожать тебя? У тебя дивное тело, дивное сердце! Мог ли бы я найти кого-нибудь достойнее? Нет, никогда. Господь тому свидетель.

— Как ты великодушен, милый, ты меня просто умиляешь!

— Счастлив, тысячу раз счастлив юноша, которому небо посылает, как мне, чистую и верную жену!

— Счастлива, тысячу раз счастлива чистая женщина, которой небо посылает благородного и нежного друга!

— Жизнь им будет проста и легка!

— Ты что-то усмехаешься, Пасро?

— Ты же видишь, что это от восторга. Ты смеешься, красавица?

— Ты же видишь, что это от радости. Не отталкивай меня так, миленький, ты сегодня что-то холоден и мрачен, а ведь ты всегда такой нежный и так меня ласкаешь!

— Чего же ты хочешь от меня сейчас?

— Я ни о чем тебя не прошу, Пасро, но мне с трудом удалось тебя поцеловать. Стоит мне коснуться твоих губ, как ты отстраняешься, и мне становится страшно от твоего пристального взгляда! Ты что, болен, тебе нехорошо?

— Да, нехорошо!..

— Бедняжка! Хочешь чаю?

— Нет, мне надо подышать воздухом и походить пешком. Выйдем.

— Сейчас ночь. Очень уж поздно.

— Тем лучше.

— Что-то не хочется.

— Ну как знаешь.

— Нет, нет! Не обижайся, я исполню любое твое желание.

Они вышли. Пасро молча вел свою любовницу под руку, как сокрушенный супруг ведет жену, когда медовый месяц уже кончился.

— Но почему тебе непременно захотелось идти сюда по этим гадким пустынным дорогам? Пойдем лучше на бульвар Бомарше.

— Дорогая, мне нужны уединение и темнота.

— Какой же дорогой мы с тобой пойдем посреди этих огородов? Аллеей миндальных деревьев, что ведет на кладбище? ты хочешь повести меня на могилу?

— Мне нравятся тишина этих мест, я тут рос в доме моей кормилицы, жены огородника. А вот видишь там направо лачужку? Это дворец мужа моей кормилицы. Давно я здесь не был, давно не видел этого милого человека. Сколько пробуждается светлых воспоминаний! Если бы не было так поздно, я бы зашел их расцеловать; но это люди, у которых нет ни пороков, ни честолюбия, они ложатся и встают вместе с солнцем, в противоположность разврату, которому надобны долгие ночи, чтобы их коротать, — ведь он как филин прячется от дневного света. Посмотри-ка на эти чудесные сады, на ухоженные грядки огородов, это все их труды. Вон на той дорожке я научился ходить. А вот совсем заброшенный участок, прежде тут был богатый питомник; владелец его совсем молодой еще парень. А вот проем в изгороди, пойдем, погуляем немножко под этими липами.

— Что за странная мысль! Ты не боишься, что нас примут за разбойников?

— Не бойся, милая, здесь никто не сторожит. К тому же меня знают соседи и сам хозяин этого участка, весной я часто приходил сюда и гулял один.

— Как темно вокруг; без тебя, Пасро, мне было бы страшно.

— Какое ты дитя!

— В такой глуши запросто могут убить!

— Ты так думаешь?

— А кто тут придет на помощь? Кричи себе сколько хочешь...

— Да, кричи, не кричи, никто не услышит!

— А не пойти ли нам по малиннику, Пасро?

— Нет, нет, пройдем по липовой аллее.

— Послушай, Пасро, ты меня загоняешь, как лошадь. Я очень устала.

— Тогда присядем. Какое это счастье, побыть вдвоем с любимой, тем более ночью! Ничего не слышать во мраке, когда вокруг одни только заросли да камни... И в этой мертвой тишине слушать, как в ответ твоему бьется другое сердце, бьется только для тебя одного. Среди всей этой унылой и равнодушной природы сжимать в объятиях пламенное существо, ради которого ты позабыл всех на свете, ту, которая пьянит тебя поцелуями своих горьких уст, больше никому не доступных, и баюкает тебя ласками.

— О мой Пасро, как это упоительно! Я и не знала, ведь это в первый раз под открытым небом я говорю с любимым о любви. Мы с тобой всегда сидели в душной комнате, насколько же здесь лучше, чем в четырех стенах.

— Если мы останемся верны друг другу до старости, то с какой радостью, даже на краю могилы, мы будем вспоминать об этой ночи; это же ведь не мимолетная связь, а навеки. . .

— Навеки, на всю жизнь!

— Скоро дядя, мой опекун, приведет в порядок мое состояние и выделит мне мою долю, и тогда, как только я буду свободен, мы обратимся к закону, чтобы он нас соединил, а если моя родня придет справляться о том, какое за тобой приданое, в ответ я им только перечислю твои добродетели.

— Я сама не своя от радости! Сколько в тебе великодушия к бедной девушке, которая только и умеет, что любить тебя! О! Скорее бы настал этот день! Мне не терпится начать жить вместе! Не ласкай меня так, Пасро, мне худо, ты меня убьешь!

— Убить тебя, прекрасная людоедка! Это было бы очень стыдно и жаль.

— Да, ведь это такая радость, когда женщина любит человека ради него самого, и только ради него.

— Как ты, не правда ли?

— Пощади мою скромность.

— Ведь это такая редкость — женщина искренняя, простодушная и верная, как ты.

— Ты заставляешь меня краснеть.

— Берегись! Краснеют только от застенчивости или от стыда!

— Боже мой! Отчего ты сегодня со мной так резок? Какая грубость в обращении, какая холодность! Стоит мне поцеловать тебя или приласкать, как ты содрогаешься, точно я прикасаюсь к тебе раскаленным железом. Может, ты что-то против меня имеешь? Может, я чем оскорбила тебя, может, ты мной недоволен, любовь моя? Нам надо поговорить, ты должен высказать все, что у тебя на сердце, излить свое горе; я твоя подруга, не скрывай от меня ничего, я утешу тебя.

— Отрава и орвьетан⁴⁵ — все вместе!

— Что ты имеешь в виду? Вот видишь, ты от меня что-то скрываешь; ты страдаешь из-за меня, я чем-то тебе мешаю. Боже мой, что за тайны? Скажи, открой мне все, прошу тебя! Скажи, в чем я виновата, я заглажу свою вину, пусть даже ценою жизни! Ты сердисься на меня? Меня оклеветали? Бывают же такие изверги! . .

— Да, друг мой, это правда, тебя оклеветали, хоть я этому и не верю. Злодеи очернили тебя; они говорят, что ты мной играешь, что ты мне изменяешь направо и налево. Только будь спокойна, я ничему не верю. Это подлая ложь!

— И еще какая подлая! Выходит, ты совсем мне не доверяешь и насколько меня не уважаешь, если стоило кому-то наговорить на меня, и ты так сразу меняешься и приходишь в такое волнение.

— Мне сказали, что ты легкомысленна, но, уверяю тебя, меня это насколько не волнует.

— Это не совсем честно, Пасро. Если бы мне наговорили всяких сплетен о тебе, пусть даже и очень похожих на правду, я бы такого сраму и слушать не стала. Ты мне не доверяешь, Пасро!

— Нет, нет, красавица, я оценил тебя по достоинству.

— Чтобы твоя возлюбленная обманула тебя, никогда! Ведь я тебя люблю, люблю больше всего на свете, я тебя боготворю, Пасро! Мы связаны друг с другом клятвой более священной, чем все клятвы, которые приносятся на людях. Чтобы я изменила сама нашей клятве, неужели ты способен этому верить, Пасро? Неблагодарный, несправедливый, ты оскорбляешь меня! Что я тебе сделала худого? Кто так уронил меня в твоих глазах? Знай, Пасро, я женщина порядочная! Какой же это подлец мог обвинить меня в распутстве?.. Меня, затворницу, смиренницу, не употребившую во зло щедро мне предоставленную тобой свободу; нет, нет, Пасро, поверь, я достойна тебя и я невинна! Призываю небо в свидетели! Моя совесть чиста, и мне незачем опровергать эту грязную клевету. Если бы ты знал, как я тебя люблю, если бы мог понять, какая это любовь! Я так люблю тебя, так люблю! Лучше уж я убью себя, чем изменю долгу и вере, чем обману тебя!

— Да, лучше смерть, чем низость.

— Как ты пугаешь меня! Не смотри на меня так! В темноте зрачки твои бегают как у тигра.

— Милая моя, давай поедем куда-нибудь вместе, мне хочется попутешествовать. Париж мне надоел.

— Когда же?

— Чем скорее, тем лучше. Отправимся хоть завтра, если хочешь. Съездим в Женеву.

— Завтра, в воскресенье? Не могу.

— Почему? Кто тебя удерживает?

— Да нет, просто я обещала быть на обеде у одного родственника, и если я не приду, он очень обидится.

— Поедем в понедельник; поедем через неделю.

— Нет, нет, друг мой, мне очень жаль, но я не смогу, я обещала провести несколько дней у родных под Парижем. Ни под каким предлогом я не смогу от этого уклониться.

— Значит, ты не хочешь?

— Я не могу. Что с тобой, Пасро, у тебя стало такое страшное лицо! Зачем ты мне давишь горло? Ты ушиб меня, ты сделал мне больно!

— Прости, прости, я забылся; это я нечаянно. Мне не по себе, меня мучит жажда!

— Вернемся домой, прошу тебя, Если ты упадешь в обморок, что мне с тобой делать? Мне будет очень трудно!

— Послушай, милая, прежде чем мы уйдем, чтобы я мог утолить жажду, пойдн, нарви мне яблок вон с тех деревьев, что растут вдоль забора, там за малинником, мне будет очень приятно их съесть.

— Боже мой, Пасро, ты весь дрожишь! Тебе очень худо?

— Да!

— По этой вот аллее?

— Да, иди прямо, не бойся.

Филожена сделала несколько шагов и исчезла во мраке. Пасро растянулся во весь рост и, прикинув ухом к земле, стал прислушиваться в страшной тревоге. Послышался душераздирающий крик Филожены, глухой шум, как от падения тела, а затем сильный плеск взбаламученной воды и далекие стоны, которые шли словно откуда-то из-под земли. Пасро вскочил, корчась, точно бесноватый, и со всех ног кинулся по дорожке в малинник. По мере того как он приближался, крики становились отчетливее.

— Спасите! Спасите!

Он вдруг останавливается, бросается на колени и наклоняется над широким колодцем, вырытым вровень с землей. Глубоко на дне вода помутнела; по временам что-то белое показывалось на поверхности и раздавались едва слышные крики «Спасите! Спасите! Пасро, я тону!». Склонившись над краем водоема, он только слушал, не отзываясь, так, как где-нибудь на балконе слушают далекую музыку. Стоны мало-помалу затихли. Тогда громким голосом, усиленным еще эхом колодца, Пасро проорычал:

— Ты просишь о помощи, моя милая? Ладно, погоди! Сейчас я сбегаю за полковником Фогтландом, пусть он принесет тебе томик Аретино!

Он услышал только глухой хрип. Филожена еще держалась на поверхности воды, царапая ногтями подгнившую стенку сруба. Тогда Пасро с большим трудом отколупнул от верхней закраины колодца несколько камней и стал швырять их вниз один за другим.

Все снова стихло, а он всю ночь шагал взад и вперед под липами, мрачный, как выходец с того света.

VIII

ВПОЛНЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ КОНЕЦ

Глава, могущая показаться излишней и без которой читатель смог бы обойтись; когда я говорю «читатель», я выражаюсь предположительно, ибо с моей стороны было бы самонадеянностью залучить хоть единого, даже среди русских. Но без нее история Пасро была бы безнравственной: за всяким преступлением должно следовать возмездие.

Красный человечек на башенных часах Тюильрийского дворца прозвонил половину шестого, ибо маленький красный человечек недавно опять появился вместе со своим новым постояльцем и мастером-каменщиком.⁴⁶ Пасро разгуливал под каштанами; чтобы убить время, он потихоньку поглощал бывшие при нем не очень-то удобоваримые газеты. Нашему красавцу-студенту порядком наскучило в этом проклятом месте, где его то и дело осаждали разные схизматики, где ему приходилось выслушивать любовные признания этих граждан Гоморры.⁴⁷ Наконец он увидел какого-то мужчину, который торопливо подбежал к пьедесталу мраморного кабана, затем обежал его вокруг, вытянув шею и озираясь по сторонам с недовольным и озадаченным видом.

У этого неизвестного человека, высокого и дородного, с невзрачной физиономией, пересеченной огромными усищами, закутанного в синий дорожный плащ, на ногах были шпоры, которыми он позвякивал от нетерпения, а в руке — предлинный хлыст, которым он похлопывал себя по ногам. Понаблюдав за ним мгновение и смерив его взглядом, как лошадь на ярмарке, Пасро приблизился к нему и поклонился.

— Вы кого-то ждете, сударь?

— А вам какое дело, молодой человек?

— Очень даже большое.

— Вы взялись за неблагоприятное занятие, сударь; вы думаете, что я не заметил, как вы сейчас за мной исподтишка подсматривали?

— Вы ждете женщину, не так ли?

— Нет, сударь, гермафродита.

— Неудачное вы выбрали время для шуток.

— Хлыщ!

— Вы правы, сударь, по части телосложения мне очень до вас далеко и на весах у мясника вы потянете больше; но меня не пугает ни ваш зычный голос, ни ваша широкая кость. Поверьте мне, есть только одно-единственное превосходство — превосходство ума, а умом вот вы что-то не очень вышли.

— Что вы там еще воркуете?

— Согласитесь, а в таких делах стыдиться нечего, вы ожидаете девицу, мадмуазель Филожену, только напрасно вы ждете, разве что чудо случится, да чудеса-то нынче вышли из моды. Не придет она, ручаюсь вам головой.

— Во всяком случае, не вам ей в этом помешать.

— Не зарекайтесь, господин полковник Фогтланд.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? Разрази меня картечь! Ничего не понимаю.

— Вы рассчитывали найти здесь только мраморного кабана, а нашли двух, да вдобавок одного живого, и он готов с вами драться!

— Нет, сударь, я нашел всего только кабана и свинью.

— Вы предоставляете мне выбор оружия?

— Никак и у вас есть чувство чести! Все в мире перевернулось. Вы вообразили себя солдатом, дитя мое, вы ведете себя, как бретер. Ну, что же, вы и прогадали, и выгадали. Урок-то я вам дам хороший.

— Хватит этого покровительственного тона, вы мне жалки, хоть вы и рубака.

— Разрази меня картечь! Сопляк бунтует.

— Не подходите ко мне, господин карабинер, от вас несет конюшной!

— Хлыщ! Дай я себе волю, я бы тебя отшвырнул сапогом.

— Вглядитесь в меня получше, похоже ли, что я трушу? Мужчина есть мужчина. Знаете, что может сделать сила воли? Ваш император, чьи следы вы благоговейно целовали, был вам, как и я, всего до пупа! Да, прошли те времена, когда солдафон стоял превыше всех и награждал тумачами граждан, времена, когда перед рекрутом в карауле трубку изо рта вынимали. Вам придется со мной драться!

— Вы этого хотите, что ж, я буду драться; в буквальном переводе это будет значить — я вас убью.

— Ну, это как сказать! Плохой цирюльник как раз может искромсать щеки.

— Итак, завтра утром. Где мы встречаемся? Булонь или Монмартр?

— Монмартр.

— В котором часу?

— Назначайте сами.

— В восемь.

— Хорошо.

— Хоть всякий мужчина есть мужчина, как вы изволили изящно выразиться, я не люблю неизвестности: разрешите узнать ваше имя.

— Пасро.

— Чем вы занимаетесь?

— Студент.

— Разрази меня картечь! Жалкие харчи!

— Если бы нам не предстояло биться насмерть, я принес бы мою сумку и предложил свои услуги, чтобы сделать вам перевязку; зато

в случае, если вы, чего доброго, пожелаете, чтобы я вас вскрыл и набальзамировал после того, как вы испустите дух, то честь имею просить вас считать меня покорнейшим слугой.

— Так вы медик? Мы, оказывается, с вами собратья.

— Я собрат многим людям.

— Господин школяр?

— Господин солдафон?

— Однако, разрази меня картечь! Девуца-то, видно, не придет!

— Полагаю, что нет.

— Может, я понапрасну давеча погорячился? Может, вас прислала Филожена, чтобы предупредить, что не придет на свидание? Может, она больна?

— Серьезно больна.

— Вы что, ее лечите?

— Да, лечу.

— В таком случае примите мои извинения, я так грубо с вами обошелся, но я ведь не знал. . .

— Завтра, в восемь часов утра на Монмартре!

— Умоляю вас, скажите мне только, как ее здоровье? Что с ней случилось? Она опасно заболела?

— Какое оружие мы выбираем?

— Умоляю вас, ответьте мне! Какой вы жестокий, а еще врач! За невольное оскорбление, за оскорбление, которое я прошу вас простить мне. . . Ответьте мне, она тяжело больна? Она при смерти? Я побегу к ней. Отвечайте же! Если бы вы только знали, как я ее люблю! . .

— Если бы вы знали, как она любит меня!

— Это моя любовница!

— Это моя любовница!

— Как, Филожена?

— Да, Филожена.

— Разрази меня картечь!

— Убей меня бог!

— Я потрясен. . .

— Я восхищен. Я перехватил вашу милую записку и вот пришел сюда наместо Филожены спросить у вас, по какому праву в эти три месяца, что она была моей, была единственной моей подругой, вы впутываетесь в наши отношения?

— Сначала вы ответьте! Вот уже два года как я ее содержу, так по какому же праву вы впутываетесь?

— Как! Вы ее содержали?

— Да! Самыми настоящими экю, которые имеют сейчас хождение.

— Ах, мерзавка! . . Я хорошо сделал. . .

— Что вы сделали?

— Ничего.

— Поклонитесь мне, что вы уже три месяца ее счастливый любовник; должен же я знать, как мне поступить...

— Клянусь Христом богом! Но и вы поклонитесь мне, что вот уже два года вы ее счастливый содержатель!

— Клянусь Мартином Лютером!

— Клевета!

— Сами вы клеветник!

— Я не говорю, что вы не пытались завладеть ею приступом, но вас отшили.

— И я не говорю, что вы не пытались пробить брешь, только понапрасну просидели в осаде.

— Какое же оружие мы окончательно избираем?

— Вы окончательно решили драться? Уж верно, чтобы отомстить за ее неприступность.

— Напротив, за ее доступность.

— Бахвал!

— Фанфарон! Вы что думаете, что можно безнаказанно вырвать возлюбленную из моих объятий! Жестко ошибаетесь, запоздалый селадон.⁴⁸

— Вы пришли сеять плевелы на моем поле.

— Вы пришли, уж конечно, выклянчивать себе любовь за золото.

— Эта женщина моя, я сохраню ее, я хочу ее, она мне нужна, я защищу ее от всех обидчиков, я поддержу ее! Смерть тому, кто собирается стать браконьером на моих угодьях!

— Вам придется драться, господин полковник!

— Я убью вас.

— Ваша мрачная репутация известна. Но коль скоро я не владею шпагой, да и к тому же близорук и не умею стрелять из пистолета, то попрошу вас положиться на волю случая!

— Охотно. Тем более что я не люблю убийства, а это означало бы вас убить. Будь вы даже человеком храбрым, борьба была бы неравной: меньше есть меньше, тут уж ничего не поделаешь!

— Только случай может уравнивать шансы, и я положусь на судьбу.

— Но подумайте, друг мой, я не люблю становиться к барьеру из-за пустяков: скажу вам откровенно, у меня нет безумной жажды мщения, я не питаю к вам ненависти, и если вы заверите меня, что навсегда отказываетесь от всяких посягательств на Филожену и не будете покушаться на мою собственность, я положусь на ваше честное слово, я ведь вижу, что вы человек порядочный, и этим все будет сказано. Угодно вам?

— Вы смеетесь.

— Нисколько! Нас двое наездников, а кобыла одна, пусть же она достанется победителю.

— Ну, в таком случае пеняйте на себя: так же как и вы, я буду непоколебим, и тогда не просите пощады и милости, я дам волю моему гневу.

— Пусть она достанется победителю! Хотите тянуть жребий — один пистолет будет заряжен, а другой нет?

— Мне это не по душе.

— Тогда кинем жребий?

— Это же просто мальчишество.

— Вы во что-нибудь играете?

— Нет.

— Я тоже. Шансы у нас будут равные, вот и разыграем нашу жизнь.

— Отлично! Но во что?

— В шашки или в домино?

— Идет. Зайдем в ближайшую кофейню.

— Нет, завтра.

— Завтра, завтра! Такие дела никогда не надо откладывать.

— Я должен пойти пообедать.

— Я не могу вас отпустить. Я пойду за вами следом. А не то вы, чего доброго, прибьете Филожену. Давайте окончим нашу ссору.

— Мне надо пойти пообедать.

— Давайте пообедаем; куда вы пойдете? Я пойду с вами.

— В первый же ресторан, вон там, на углу, на улице Кастильоне. Вам угодно пойти со мной?

— Благодарю вас. Каждый платит за себя.

Вот так и направились к улице Риволи наш школяр и наш солдат, или наш солдат и наш школяр, предоставляю каждому читателю возможность отдать первенство тому из них, кто придется ему больше по вкусу и кого он захочет предпочесть. Наверное, никакие новобрачные из тех, что когда-либо праздновали в этом заведении союз Гименея, так не подходили друг к другу, как эта пара. Плотный силач огромного роста, который, слава богу, мог бы послужить наблюдательной каланчой ныне покойному Матье Лемсбергу, убийца шпагою — вот одна сторона. Премиленькая рожица, полудетская и смазливая, — этот мог бы стать очаровательным врачом, особенно для дам, убийца по методе Бруссе⁴⁹ — вот другая сторона. Они заперлись в отдельном кабинете словно неспроста, я уверен, что официанту пришли в голову нехорошие мысли. Это лишний раз доказывает, что никогда не следует судить по внешности. Убоимся же поспешных суждений: так ведь легко бывает принять, как в этом случае, людей, собирающихся перерезать друг другу горло, за тех, кто готов заключить друг друга в объятия.

— Этот ужин будет последним для одного из нас и станет его предсмертным причастием, — сказал Пасро, — так пусть же он будет обильным. Не посчитаемся с законом Генриха Второго⁵⁰ против излишеств, который сам он, конечно, не раз преступал в честь госпожи Дианы⁵¹ и которым мы можем пренебречь с еще бóльшим основанием в честь госпожи Смерти.

— Понимаю, вы хотите, чтобы мы, как говорится в казармах, подправились на славу, это меня вполне устраивает. По рукам! Дабы подготовиться к великому действию, имеющему вскоре быть, дабы набраться уверенности и дерзости, вам хочется подзарядиться. Очень резонно! Мне случалось так делать в первую кампанию: когда денек обещал выдаться жарким, я подкреплял себя изнутри броней из пены шампанского.

— Нет, вовсе не для того, я все равно принял решение расстаться с жизнью; меня бы даже огорчило, если бы победителем в игре оказался я.

— Меня также.

— И я вас попрошу, если случай решит в вашу пользу, не совеститься со мной и убить меня без сожалений.

— Я также. Ибо жизнь, по правде говоря, становится мне положительно в тягость. Быть военным в мирное время — хуже не придумаешь, это все равно что быть врачом, когда нет никакой эпидемии; как Куатье⁵² при Людовике Одиннадцатом.

— Потрудитесь, пожалуйста, обойтись без этого варваризма и говорите, как надо, — Куатье!⁵³

— Куатье! Ах! Подумать только! Именно в этом-то и заключается варваризм! Мой дорогой друг, нужно иметь луженое горло, чтобы выговорить этакое дикое галльское имя, к тому же Казимир Делавинь⁵⁴ в своей пятиактной трагедии,⁵⁵ написанной французскими стихами, всюду говорит не иначе, как Куатье.

— Подумаешь, какой авторитет! Рифмач гаврской милостью!⁵⁶

— Замолчите, модник, вы оскорбляете меня в лице сего излюбленного питомца девяти сестер, девяти муз, девяти Пиерид!⁵⁷

Увы! К чести кордегардии, карабинеру настало время кончать этот пир; его обильный витиеватый разговор становился почти столь же ясным, как у Виктора Кузена,⁵⁸ почти столь же ученым, как у Рауля Рошетта,⁵⁹ почти столь же замысловатым, как у Ремюза,⁶⁰ почти столь же англазированным, как у Гизо,⁶¹ почти столь же хронологическим, как у Роже де Бовуара,⁶² почти столь же искусным, как у Делеклюза,⁶³ а уж что касается разврата в шелковых чулках, тут было чистейшее подражание Скрибу!⁶⁴

Выражаясь языком мастеровых, он изрядно набил себе брюхо.

Несомненно, у него были прямо-таки академические способности, и кроме простолоудинов с ним могли бы поспорить с некоторыми шансами на успех разве только верблюды, ибо в том состоянии, в каком он находился, он преспокойно предпринял бы переход через пустыню. Я не говорю через Сахару, потому что терпеть не могу плеоназмов. Такая шутка годна для азиатского населения Парижа; вообще же уместно, приступая к шуточкам в восточном духе, заранее оповещать об этом, хорошо бы также, имея подобную публику в партере, предупреждать, в каких местах надо смеяться.

В уголке кабинета, который они называли кладбищем, медик с караби-
нером свалили в кучу испутившие дух бутылки, и один только бог знает,
сколь заразительным оказался их смертельный недуг.

Вот они! Вот они! По улицам, по переулочкам, по тупикам, по пло-
щадям, по перекресткам, битком забитым извозчиками и пешеходами,
вот они! Вот они! По грязи, по мостовой, мимо трущоб, мимо дорожных
столбов, мимо канав, мимо особ легкого поведения, вот они! До чего же
режутся наши мужчины! Вот они! Вот они уходят, предприниматель и
участник в прибылях. И как сказал бы мостильщик улиц или член Фран-
цузской академии по разряду словесности, приводя в подтверждение уче-
ную ссылку, вот они уходят, как Орхестр и Пилястра.⁶⁵ Кстати об Оресте
и Пилладе, хотите, дам вам совет, как написать водевиль, которому будет
обеспечен успех: 1) надо в нем по меньшей мере тринадцать раз пого-
ворить об этих двух классических друзьях, 2) хотя бы раз упомянуть об
акупунктуре,⁶⁶ 3) по меньшей мере три раза — о французской чести и
о Наполеоне, 4) не забыть вставить две-три небылицы о романтиках и
особливо не преминуть вложить им в уста, что Жан Расин — большой
проказник,⁶⁷ да покаламбурить насчет этого проходимца Гете и насчет
Ша-к-експир'а,⁶⁸ 5) непомерно восхвалять Мольера и Корнеля, но только
ни в коем случае их предварительно не читать, а затем сделать из них
себе мантию и, облекшись в нее, втереться в доверие к публике, наподо-
бие того, как на телят напяливают блузу и фуражку, чтобы легче было их
провезти контрабандой. Все это должно быть изложено языком госпо-
дина Друино⁶⁹ с зарифмованными концовками, как у старого маркиза
де Шабанна;⁷⁰ я упоминаю имя маркиза де Шабанна потому лишь, что
мне достоверно известно, что он не бретер, а я не большой охотник до
дуэлей; это, правда, не означает, что я откажусь от вкусного завтрака,
вот потому-то я и стараюсь меньше иметь дело с опасными личностями,
и никогда, как и Буало, я не зайду так далеко, чтобы назвать кошку
кошкой.⁷¹

Прибыв в кофейню Режанс,⁷² они попросили немедленно дать им до-
мино, — вот она, роковая минута! Бог, ибо случайностей не существует
даже в игре в домино, решит в премудрости своей, кому из двух суждено
умереть: тому ли, кто целит больных, или тому, кто целит в неприятеля.

Фогланд то держался заносчиво, как ефрейтор, обучающий рекрута,
то принимался вдруг со всей откровенностью рассказывать о себе.

— Шестерка дупель; дюжина, тысяча восемьсот двенадцатый год,
когда мне выдалось счастье потерять моего досточтимого родителя.

— Не болтайте вздора, полковник, давайте играть серьезно, — про-
ворчал Пасро, — и главное, не переворачивайте домино.

Наш школяр бы задумчив и сосредоточен, он сидел, сжавшись в клу-
бок, как некий современный поэт или как прозябшая морская свинка.

Толпа зевак кружком обступила их столик, принимая живейшее уча-
стие в игре. Если бы эти почтенные буржуа могли догадаться о том, что

здесь решалось, они, конечно, с перепугу пустились бы немедленно наутек, похватав свои или чужие зонтики, если бы, правда, у них не было одышки или подагры.

Фогтланд, как и положено человеку военному, забедшему в трактир покутить и привыкшему все пить литрами, опустошил свою семнадцатую чашечку, когда игра закончилась в его пользу. Видя такой исход, Пасро приятно улыбнулся.

— Пойдемте сию же минуту, — сказал он, — мне не терпится довести дело до конца.

— Какую смерть вы предпочитаете?

— Размозжьте мне череп.

— Хорошо, я найду к себе на улице Роган и захвачу пистолеты. Идите помедленнее, я вас нагоню. А куда мы идем, на Елисейские поля?

Вскоре Фогтланд вернулся; в полнейшем молчании они прошли по проспекту и миновали площадь Этуаль. Через несколько домов от таверны неаполитанца Грациано, где подают бесподобные макароны,⁷³ они отклонились от дороги и спустились в луга, что пониже дорожной насыпи. Было совсем темно. Там они какое-то время шли вдоль изгороди.

— Давайте остановимся здесь, — сказал Пасро, — здесь как будто удобное место.

— Вы думаете?

— Да!

— Вы готовы?

— Да, сударь, заряжайте, и главное — без околичностей. Вы будете подлецом, если выстрелите в воздух.

— Не бойтесь, я не промахнусь.

— Цельте в голову и сердце, если вам угодно!

— Я готов, только обопритесь об ограду, чтобы некуда было отступить, и считайте: раз, два, три. По счету «три» я стреляю.

— Раз, два; постойте. Мы разыгрывали нашу жизнь за женщину?

— Да!

— Она достается победителю?

— Да!

— Слушайте хорошенько все, что я вам скажу, и исполните то, о чем я вас попрошу: последняя воля умирающего священна.

— Я выполняю ее.

— Завтра утром пойдите на улицу Амандье-Попэнкур; в самом начале справа вы увидите поле, а за ним липовую аллею, огражденную свалкой костей и живой изгородью. Вы пролезете через нее, пройдете по длинной дорожке через малинник и там в самом конце вы наткнетесь на колодезь ровень с землей.

— А потом?

— Потом вам надо будет наклониться и заглянуть на дно.

А теперь исполняйте свой долг, даю сигнал: раз, два, три!..

ШАМПАВЕР, ЛИКАНТРОП

П А Р И Ж

Что наше общество? Вонючее болото.
Лишь глубже, может быть, еще прозрачно что-то.
Растленье ж, подлость, грязь, ослепшей злобы яд
С бесстыдной легкостью всплыть наверх норовят!
И слизь назойлива, и тошнотворна тина,
Взверошена стеблей ржавеющих щетина.
В стволах разошедшихся трухлявые грибы,
Кустов уродливых топырятся горбы.
И в пеной тронутой желто-зеленой жиже
Уныло жук гудит, слюною жаба брыжжет.
И нечисть мертвая и тут и там гнет,
Разбухший над водой свой выпятив живот.

Жерар¹

I

ЗАВЕЩАНИЕ

ЖАНУ-ЛУИ, ПАХАРЮ.

Я умру один, дорогой мой Жан-Луи, я умру один!.. А ведь мне было обещано, да и сам я дал обещание; ведь кто-то сказал мне: «Я устал от жизни, а ты ее сознательно ненавидишь; давай же, когда ты будешь готов, бежим от нее вместе». Жан-Луи, я готов, говорю тебе, я уже разбежался, ну, а ты, ты готов? Готов! О, какой же я простака, что все еще верю клятвам! Взгляды людей меняются. Тем не менее не мог же ты так сразу все позабыть, да и я столько раз напоминал тебе о той ночи, когда, долго проплутав по лесу, мы все переоценивали, все взвешивали, перерывали, рассекали прожитую жизнь, страсти, общество, законы, прошлое и будущее, когда мы разбили обманное стекло нашей лупы и хитроумный фонарик внутри. Нам стало тошно и мерзко при виде всей этой лжи и всех бед. И тогда-то, помнишь, тогда мы оба заплакали; да, да, ты плакал!.. Ты схватил меня за руку, и мы поклялись друг другу... Но если я тебе обо всем этом и напоминаю, то отнюдь не для того, чтобы во что бы то ни стало принудить тебя к этому шагу; нет, только для того, чтобы ты не осудил решения, которое некогда сам же принял. Увы, перемена в твоей судьбе, разумеется, изменила и твои мысли. Она-то и прилепила тебя к жизни, как устрицу к скале. Ты бросил жалкую профессию, навязанную

тебе отцом; прежде ты служил, теперь ты бросил службу и пренебрег министерскими улыбками и чаевыми, негодник этакий! У тебя хватило грубости поддаться инстинкту породистой гончей, хватило нахальства покинуть город, это сказочное царство, — как говорят бесстыдные льстецы, лисы, поедающие сыр у кичливых невежественных горожан, которые важничают, как индейские петухи, вывалявшиеся в собственном помете, — и вернуться в поля, которые когда-то покинул твой дед, предпочтя стать последним в городе. У тебя хватило нахальства, даже, может быть, безрассудства, предпочесть грубую рубаху и блузу панталонам со штрипками и подпругам, жилету в обтяжку и сюртуку, который способен вас задушить, стоящему воротничку, галстуку-ошейнику, лощенным ботинкам, глянцевоитым нежным перчаткам, которых едва хватает на день, всей этой удобной одежде, в которой вы отлично себя чувствуете, если только согласитесь не шевелить ни руками, ни ногами, не ворочать головой, не наклоняться ни вперед, ни назад, не становиться на колени и не садиться. Ты променял большое село на обыкновенную деревню, водевиль на красоты природы, проезжие улицы, загроможденные лавками, кишащие фиакрами и повозками, на пустынные дороги, по-деревенски просто окаймленные живыми изгородями да саженцами; там не на что поглазеть, ни тебе эстампов в витринах, ни фокусников на тумбах, ни пропахших водкой красоток — никаких городских радостей! Человека, предоставленного самому себе, одинокого и молчаливого, все это погружает в раздумье.

И вот ты счастлив; пахарь, который тащится за плугом, оказывается, счастлив! Подумать только! Можно ли так опошлить понятие счастья! Счастливый пахарь! Ступайте-ка, доложите об этом госпоже банкирше, вон той, что обмахивается веером у себя на балконе. «ТЬфу! — скажет она, даже плюнув от возмущения, — тьфу ты, счастливый пахарь! Дурак какой-то!». Что до меня, то я, по чести сказать, я вас отлично понимаю, тебя и твое счастье, если это действительно счастье? Счастье — какое потешное слово! Мне еще не доводилось встретить человека, который взял бы на себя смелость провозгласить себя счастливым.

Может быть, я тоже когда-то мечтал о жизни, которую ты осуществил на деле; в те времена я верил еще в буколические луга, в идиллических крестьян, в селян Фавара,² в пастушек с плафонов Буше:³ я говорил себе, что козь скоро счастье не любит городов, то уж наверное оно находит себе приют в полях. Тогда я верил, что те люди, что те несут сабо, рубаху навыпуск и соломенную шляпу, подымаются с зарей, идут за плугом, пропалывают и поливают клочок земли, ведут навьюченного осла, едят капусту, бобы и свинину, ложатся с курами как только стемнеет, — я верил, что люди эти счастливы совсем особым счастьем, я верил. . . теперь я уже не верю. . .

И все же, если бы мне было суждено подольше пробыть среди людей или вдали от них, я выбрал бы именно то, что выбрал ты, — сделался бы

деревенским жителем, как ты, но только еще больше бы огрубел, еще больше бы одичал; я забрался бы в горы Виварэ и стал бы питаться каштанами; или стал бы ходить на медведей в Пиренеях, заделался бы угольщиком в Арденнах или лесорубом в Альпах. Но сейчас мне этого мало. Зачем тратить силы на тупую работу топором, киркою или трамбовкой? Зачем? Чтобы сердце стало мозолистым как руки? Мне теперь нужно не отупение, мне нужно небытие! Но тебе ведь уже не нужно небытия, ты хочешь жить, так живи, я умру один!

Вот что случилось с клятвой, которую ты дал и которую ты нарушил!

А вот и моя клятва, и я также ее нарушаю.

Я поклялся женщине, сильной женщине; однажды, когда мы, совсем обессиленные, лежали вдвоем, припав друг к другу, когда я зарылся лицом в ее светлые волосы, которые попадали мне в рот и которыми я любил укрываться, мы погрузились в воспоминания о прошлом, мы сокрушались о наших несчастьях, я хочу сказать, о нашей любви, ибо любовь наша была сущей пыткой, ибо моя любовь всегда пагубна и во мне самом есть что-то зловещее как в виселице! Бедная девочка, кому ты отдалась!.. Боже! Сколько ты выстрадала из-за меня!.. Я был так к тебе несправедлив!..

Пусть же придут обманщики, я передошу их всех! Мошенники, воспеваящие любовь, вьющие ей венки и складывающие стихи, рисующие ее пухлым ребенком, пухлым от радости, пусть приходят, я задую их! Петь о любви!.. Для меня любовь — это ненависть, стенания, вопли, стыд, утраты, оковы, слезы, кровь, трупы, кости, угрызения совести — другой любви я не знал! Ну что же, розовые пастушки, воспевайте любовь! Какая это насмешка! Какой жестокий маскарад!

И вот эта несчастная, прерывая речь поцелуями, которые разрывали мне сердце, сказала решительно и серьезно, ибо Флава — сильная женщина и, повторяю, женщина, стоящая выше нас всех.

— Шампавер, поклянись, что не откажешь мне в том, о чем я тебя попрошу.

— Милая моя, я не могу тебе это обещать.

— Ну, пожалуйста, обещай.

— Нет, не могу.

— Чего ты испугался? Ты боишься, что я могу вынудить у тебя согласие на какой-нибудь поступок, который окажется для тебя роковым? О, ты не очень-то щедр! Я бы что угодно пообещала тебе, я ведь слепо люблю тебя! Нет такой вещи на свете, какой бы я не сделала ради тебя, если бы ты сказал: «Мне хочется». Да, вот они какие, мужчины!..

— Милая моя, у меня тоже ничего нет на свете, чего бы я не сделал для тебя, ты это знаешь, скажи, в чем я тебе когда отказывал?

— Вот чего я хочу от тебя, Шампавер, поклянись мне, что никогда ты не убьешь себя один, никогда! В тот день, когда ты устанешь от жизни, сразу же приходи ко мне и скажи только: «Я хочу покончить с собой».

Я тут же поднимусь, и мы выйдем с тобой вдвоем и, обнявшись, уьем себя.

Я поклялся ей. . . Она двадцать раз поцеловала меня в самое сердце. Я не потребовал от нее такой же клятвы, она сказала бы мне: «Сию же минуту, немедленно», а мера моего отвращения не была еще полной, какой-то тоненькой ниточкой я был еще привязан к жизни. Я знал, что она решилась, она давно уже лелеяла эту мечту и хотела осуществить ее чем скорее, тем лучше, она носила на себе завещание, в котором была ее последняя воля, чтобы никого не винили в ее смерти. Я долго колебался, долго пребывал в нерешительности, открыть ли ей свое запоздалое намерение, сказать ли ей: «Флава, наконец-то я готов, вставай, пойдем и покончим с собой».

Мне было бы так радостно погибнуть с ней вместе, она этого вполне достойна! . . . И вместе с тем я этого не хочу, я этого не сделаю, люди так глупы, скажут еще, что мы. . . что я покончил с собой от любви. Нет, нет, я не хочу, люди так глупы, они не поверят, что жизнь — тяжкое бремя, от которого сильные освобождают себя, они не поверят, что может быть жажда исчезновения, отвращение к бытию, им непременно нужно все низвести до чего-то материального, отыскать причину и следствие, ощутить мысль как таковую они не способны, им надо все потрогать и измерить, даже самого господа бога! Когда они узнают, что совершилось самоубийство, им тотчас же захочется найти грубые видимые побуждения, и притом как можно скорее: женщину, страсть, проигрыш в игре, позор семьи, помешательство. Нет, нет, не буду ее предупреждать, умру один, не хочу, чтоб говорили: «Они себя убили, Флава и Шампавер, из-за любви, из-за злосчастной любви, из-за неудач на пути, доведенные до отчаянья»; какое там отчаянье, я никогда ни на что не надеялся. Нет, нет, не хочу!

Увы! Я совсем сошел с ума! Не хотеть, чтобы этот мир обвинил меня в гибели от любви, какая слабость! Ах! Когда я перестану существовать, какое мне будет дело до грубых человеческих измышлений? Никакая болтовня не потревожит моего гноища. Но нет, это сильнее меня, не могу преодолеть эту глупость; я слаб, и эта мысль будет меня терзать, пока не пройдет срок. . . Нет, я не предупрежу ее, нет, я убью себя один.

Жан-Луи, Жан-Луи, отчего бы тебе не жить? Ты ведь встретил в жизни счастье, тебе можно жить! . . . О, да хранит меня судьба от того, чтобы увлечь тебя спускаться вниз по лестнице, ведущей к смертной бездне. Твои перышки поприлипали к захиревшим иллюзиям, которые мы вместе разбивали одну за другой; я считал тебя соколом, с век которого сняли швы и который готов улететь в небытие, но, оказалось, мир еще не сдернул с тебя своей пелены. Ты, быть может, ждешь покоя, тишины в конце своего жизненного пути! Надеешься, что то, чего тебе недостает в молодости, явится под старость? Ты не можешь примириться с тем, что не существует никакого другого мира, кроме того, который тебе

знаком; если на этом все кончается, говоришь ты себе, если человеку не дано никакой поры чистой радости, блаженства, воздающего за все унижения, то как могло бы такое великое множество людей влечить свою жалкую жизнь до конца? Как бы они согласились до самого скончания века прозябать, барахтаться, покуда хватит сил, в стоячей воде болота, которое зовется обществом? . . . Все это возможно, потому что, как и ты, толпа надеется; как тебе, ей кажется, что вот-вот осуществится ее неосуществимая мечта, ее безумное желание; потому что она подобна котенку, который тшится ухватить то, что увидел в зеркале, но в тот миг, когда он радостно кидается на свою добычу, на собственное отражение, когти его со скрипом скользят по стеклу; озадаченный, сбитый с толку, он ощеривается и, поддаваясь соблазну, снова начинает подстергать непонятого зверя. Но ты-то ведь побывал за зеркалом, ты царапал ногтями амальгаму, ты понял, что это всего-навсего стекло и олово, которое все отражает, — так неужели ты все еще будешь, обольщенный, что-то подстергать?

Мир — это театр; написанные огромными буквами афиши с громкими названиями заманивают толпу; люди вскакивают, умываются, мужчины расчесывают бакенбарды, надевают жабо и праздничный фрак, женщины завиваются, наряжаются в лучшие платья, все вооружаются зонтами и вот уже идут; проворная, веселая, жадная до зрелищ толпа приходит, платит, ибо толпа всегда платит, каждый садится там, где ему хочется, или, вернее, там, где ему полагается сидеть согласно купленному билету, в огромном амфитеатре, знатная публика затворяется за решетками своих конурок, а чернь рассаживается где придется. Вот занавес взвился, все наострили уши и вытянули шеи, толпа слушает, ибо удел толпы всегда слушать; иллюзию она воспринимает как реальность, как самую правду жизни, она отождествляет себя со всем, что происходит на сцене; смеется, плачет, загорается ненавистью, любовью, ревет, свистит, рукоплещет; если же иногда она и чувствует, что ее обманывают, и вооружается лорнетом, то все это напрасно, ибо она близорука и ничто не может разрушить ее иллюзию и веру, которую так тонко использовали комедианты.

Но ты, Жан-Луи, ты ведь проник за кулисы, ты видел изнанку дворца, плоское небо и потрогал глубину дали, ты повидал вблизи и голыми королей, этих осыпанных блестками шарлатанов, ты разглядел костлявую дуэнью под охрой и белилами, которыми она размалевана, ты терся около примадонны, такой неискушенной и юной со сцены, но у которой изо рта несет лекарствами; ты ведь знаешь, что золотые геновины — это самые обыкновенные жетоны; для тебя ведь короли, солдаты, знатные красавицы и слуги — всего лишь низкие фигляры, изображающие честь, славу, правосудие в зависимости от того, какая им досталась роль, фарисеи, которые, едва сойдя с подмостков, вязнут в разврате и купаются в мерзости; ты, Жан-Луи, ты уже больше не ослеплен, ты избавился от заблуждения, но решился ли ты, тем не менее, прослушать фарс до

конца? .. Будешь ли ты пребывать до конца среди театрального сброда, как благосклонный зевака, разинув рот глазеющий на это недостойное паясничанье? .. О, Жан-Луи, ты был бы слишком разочарован!

Я не в обиде на тебя за то, что теперь ты цепляешься за жизнь. Конечно, ты вправе жить, раз тебя не требует к себе эшафот, ты можешь гордо нести голову на плечах, это уже больше не голова мятежника, в горнеле осталась одна лишь зола; ты можешь смело нести на плечах свою миролюбивую голову с королевского соизволения и с разрешения господина мэра. К тому же ты ведь поселился среди полей, не так ли? А простор полей привязывает нас к жизни.

Поистине, что может быть заманчивее? Тут тебе коровы, там — стог сена; тут пруд, где квакают лягушки, там молотят на току, кричит осел, хлюпает грязь, еще подалее — гряды со свеклой. Что может быть увлекательнее! В этом заключено неизъяснимое очарование, я это чувствую! .. Одно, быть может, было бы мне там не по душе, — это нескончаемое однообразие лица природы: дождь да солнце, солнце да дождь, вечно весна да осень, жар да стужа, всегда, до скончания века. Это самое скучное из всего, что нас может ждать, эта неподвижность, этот застывший навсегда порядок, этот несменяемый месящеслов. Из года в год зеленые деревья и одни только зеленые деревья: Фонтенбло! Кто избавит нас от зеленых деревьев? Одуреть можно! .. Почему бы не создать хоть какое-нибудь разнообразие? Почему бы листьям не принимать попеременно все цвета радуги? Фонтенбло! Какая глупая зелень!

Я на тебя не в обиде, Жан-Луи, за то, что ты дорожишь жизнью, нет, только за то, что ты делаешь вид, что не можешь понять причин, столь решительно толкающих меня на самоубийство; и ты, Жан-Луи, еще спрашиваешь меня об этом, вот судьба-то! Кто тебя так изменил? Что могло так преобразить твое сердце, в то время как мое все больше погружалось в горечь? Столь решительно. Можешь ты ответить мне почему? Тебе же известно, что у меня мысль о смерти главенствует над всеми другими помыслами; тебе известно и то, что из трех желаний два у меня всегда были жаждой небытия; тебе это известно, ты это и сам одобрял. Мне жаль, что сейчас уже слишком поздно; но все, что ты мог бы мне ответить, уже ни к чему, я доведу. .. Но я слишком тебя люблю, я боюсь, что ты меня осудишь; пусть по крайней мере друг мой меня не порицает; лишь бы ты сказал: он правильно сделал, он поступил мужественно, он убил себя.

II

ЭДЮРА

Закончив свое послание, Шампавер вложил его в конверт и надписал адрес: *Жану-Луи, хлебопашцу, Лащапель, Водрагон*, и запечатал его; затем он спокойно встал и, по всей видимости, с облегчением выпил

кружку чая, зажег мерилендскую папиросу, уселся на подоконнике и стал рассеянно глядеть на небо; докурив папиросу и обойдя все четыре стены комнаты, он перецеловал один за другим все портреты друзей и один за другим перебил их все, поочередно швыряя на пол; потом с недобрый смехом, презрительно пожимая плечами, он изорвал и побросал в огонь все свои книги и, схватив висевший в виде трофея на стене топор, порубил на куски всю мебель, какая только была у него в квартире. Паркет был усыпан обломками, и пламя, вырвавшись из камина, распространялось по комнате. Злое сердце его задрожало от радости: он не хотел оставлять после себя ничего, чем мог бы воспользоваться другой. Он не хотел, чтобы после его смерти люди поделили, смеясь, то, что ему принадлежало; чтобы после него кто-нибудь другой полюбил вещь, которую любил он, чтобы другой разгуливал по солнцу в его обносках. Если бы у него было золото, он бросил бы его в воду или же закопал: так глубоко было его отвращение к роду человеческому, так ненавидел он все наследственное. Ему никогда бы не пришло в голову, что на его будущей могиле можно посадить деревья, чтобы укрыть утомленного полуденным зноем путника; он уже скорее готов был поставить на своем холмике железный капкан, чтобы туда как-нибудь угодил сбившийся с пути возчик или пешеход, заблудившийся в высокой траве.

Довольный учиненным разрушением, он уселся на этих развалинах, как архитектор Фонтен уселся бы на обломках Сен-Жермен л'Оксеруа, и, открыв наполовину обгоревший ящик, вытащил оттуда малюсенькую черепаховую коробочку, поднес к губам и в каком-то опьянении стал ее целовать.

— Эдюра! Эдюра! Моя первая любовь и самая страшная. Эдюра, моя Варанс!..⁴ — повторял он; лицо его побагровело, руки судорожно сжались, а коробочка ломалась и хрустела под его пальцами, мокрыми от катившихся слез.

— О, Эдюра! красавица моя, Эдюра!.. Какую роковую роль сыграла ты в моей жизни! Если бы ты захотела, ты могла бы сделать из меня нечто великое! Я слишком хорошо чувствовал, в чем было мое предназначение, а ведь нужно было одно только слово, одно-единственное слово! И ты его не произнесла, низкая женщина! Сколько зла ты мне причинила! Ты сгубила меня: ты могла сделать из меня льва,⁵ доброе начало в моем сердце могло дать всходы под твоими ласками; твой голос, твои нежные слова, твои поцелуи могли избавить меня от яда, того, что сейчас переполняет мое существо; страдания обратили меня в лютого волка. Пусть же не останется и следа от этой безделицы, что ты когда-то мне подарила!..

И, кинув на пол черепаховую коробочку, он ударил ее каблуком и стал топтать ногами.

— Сгинь, сгинь самое воспоминание о ней!.. О той, что влила мне в сердце ненависть; о той, что напитала мою молодость желчью,

а могла бы сделать ее такой прекрасной, такой возвышенной! Эдюра, ты ожесточила меня, ты изгнала все доброе из моих помыслов, все человеческие чувства из груди, ты извела меня и пресытила мукой ревности. Из-за тебя я все возненавидел, ты сгубила меня, когда жизнь открывала передо мной столь богатую будущность, ты отравила ее, и если я кончаю с собой, то это тоже из-за тебя: ты заронила мне в грудь семя смерти, несчастья взрастили его!

О чудодейственная страсть! Любовь, любовь, кто мне объяснит, откуда ты берешься? Эдюра, о, моя Эдюра! Не подумай только после всего, что я сказал, что я тебя ненавижу. Я люблю тебя по-прежнему безумно, я вздрагиваю, как прежде, при одном звуке твоего имени. Я люблю тебя, а ты убила меня, ты направила все помыслы мои к небытию. Ты причинила мне столько зла, а я тебя так люблю! И, однако, для меня ты только смутное воспоминание, годы промелькнули как миг и сделали из меня молодого человека, тебя же они состарили, ты потускнела, поблекла; ты уже не прежний люттик, ты дуплистая, изъеденная временем согнувшаяся ива. Кавалеры уже не заглядываются на тебя, у тебя нет свиты, ты уже не королева. Если бы тогда ты захотела сорвать цвет моей любви, бессмертный амарант, который никогда не вянет, он украсил бы тебя и посейчас. Сделайся ты матерью, у тебя на руках было бы дитя любви; моя кровь, мои пылкие поцелуи удержали бы твою уходящую жизнь; до конца дней возле тебя было бы любящее существо; моя молодость осенила бы твою старость, и моя рука наказала бы насмешника, который осмелился бы приподнять твое покрывало.

Что случилось со всеми твоими поклонниками, чувственными любовниками, что с ними случилось?.. Вряд ли они даже помнят твое имя. Мужчины, которым ты себя отдавала, бросали тебе свою страсть наподобие кочевников-варваров, ты стала их минутной добычей на дороге. Несчастливая! Безумная! Вот друзья, которых ты себе уготовила к старости. Терзайся, терзайся теперь! Справедливость требует, чтобы я был отомщен, я столько выстрадал! Теперь, быть может, щеки твои мокры от слез, никто не оживит их поцелуем, ты томишься одна, и это непривычное одиночество подтачивает тебя, ты, может быть, дошла до того (какое унижение!), что пустилась заигрывать с молодыми людьми, которые отталкивают тебя и поворачиваются к тебе спиной. Когда ты начинаешь заговаривать о любви, все только хихикают. Терзайся же, терзайся подольше, пусть тебе хорошенько за меня отомстят! О чудодейственная страсть! Да, да, ведь я тебя все еще люблю, я ощущаю эту любовь в сердце и не могу скрыть от себя самого; люблю тебя и глубоко тебя ненавижу, и тем не менее, если бы ты пришла и взяла меня за руку, если бы ты пришла сказать мне тихонько то слово, которого ты никогда не произносила, если бы ты пришла сказать мне: «Люблю тебя как прежде»... ибо ты меня любила, я уверен в этом; уверен, что ты подавила свою любовь ко мне, оттолкнула меня потому, что любовь неизвестного

юнца была для тебя ничто, тщеславию твоему хотелось совсем другого; а я ведь до сих пор еще безудержно люблю тебя, и все-таки, говорю тебе, что, если бы ты пришла ко мне, я бы оттолкнул тебя, ибо я люблю тебя сегодня за то, чем ты была, а не за то, что ты сейчас. Если бы ты бросилась передо мной на колени, я был бы безжалостен, я бы ударил тебя; если бы ты обнимала мои стопы, я бы хладнокровно поволок тебя за собой, я был бы отомщен!

Потом, подперев руками лицо, бедняга Шампавер горько заплакал.

— Все в жизни решает наш первый шаг, подлейте уксусу в самое сладкое вино, и оно станет уксусом, — пробормотал он, подбирая с пола обломки черепаховой коробочки; теперь он целовал их и складывал в свой кошелек.

Внезапно он поднимается, надвигает на лоб шляпу, выходит и запирает за собой дверь.

— Вот ключ, — говорит он привратнику, сойдя вниз, — я отправляюсь в далекое путешествие; если меня будут спрашивать, скажите, что я надолго уехал из города.

— Вы что, поедете в Испанию, которую так любите?

— Дальше.

— В Алжир?

— Дальше.

Он вышел.

III

ФЛАВА

Уже вечерело, когда, выходя из здания почты на улице Жан-Жака Руссо, он столкнулся в дверях с приятелем.

Около восьми часов на Монмартрском холме, на улице де Розье, он позвонил у красной двери.

Открыла ему молодая девушка; ее светлые волосы ниспадали на белое платье; бледный цвет лица и озабоченный взгляд, истомленная, но вместе с тем непринужденная походка, впалая грудь и опущенная головка — все это было печальным свидетельством того, что горе словно молнией сокрушило и продолжает подтачивать это прелестное создание, надломленное, поблекшее.

При виде Шампавера у нее вырвался крик изумления:

— Вы, мой дикарь, в такой час, какая счастливая случайность!..

— Дорогая моя, знайте, никакая это не случайность. Я пришел ради вас.

— Шампавер, позвольте мне хотя бы усомниться в этом.

— Злючка, вам хочется меня обидеть! Ты одна?

— Да!

— Совсем одна?

— Да!

— А твой отец?

— Ушел в город.

— Вот это отлично! Я могу видеть тебя и наговориться с тобой вдоволь, и не будет подозрительных глаз, которые следят за каждым шагом, и настороженных ушей, которые все подслушивают.

— Что это вы так изменились, мой Шампавер? Каким солнцем растопило ваше ледяное сердце? Право же, вам это очень к лицу — разыгрывать влюбленного после двухмесячного отсутствия.

— Ничего я не разыгрываю, Флава, я для тебя тот, кем был всегда. Принимаю твои упреки, знаю, что, на первый взгляд, может показаться, что я их заслужил. Я редко прихожу к тебе, это верно, но ты всегда царишь в моем сердце, царишь, как отчизна в сердце изгнанника; царишь, как жизнь в сердце приговоренного к смерти. Разлука не убивает любви; ты же знаешь. Я редко прихожу к тебе, но зачем приходить сюда чаще? Чтобы страдать? Тебя неотступно стерегут, точно какую-нибудь государственную преступницу, мне нельзя даже коснуться твоей руки, шепнуть тебе словечко на ухо, хорошо еще, если нам удастся переглянуться украдкой; мне слишком больно, я не могу этого вынести! Сколько раз у меня бывало искушение убить твоего отца, твоих тюремщиков, схватить тебя за руку и сказать: бежим! Ах! Если бы ты была свободна или если бы мы по крайней мере могли вволю наговориться с тобой, тогда тебе не пришлось бы жаловаться на то, что я нечасто бываю.

— Ну и что с того!.. Если от одного взгляда на тебя мне уже легче на сердце. Ах! Как это жестоко, Шампавер, так ненавидеть женщину и вдруг появляться из-под земли, как злой дух, два-три раза в год, чтобы солгать ей, сказать, что любишь. Ах, до чего же это жестоко, Шампавер!

— Флава, ты со мной сурова, ты безжалостно меня мучаешь! Неужели я должен каждый раз снова и снова начинать все сначала? Приносить все новые заверения в любви? Ведь за шесть лет, что мы с тобой близки, ты могла бы уже, кажется, меня узнать. Если я нечасто бываю у тебя, то разве это значит, что я тебе не верен? Знаю, ты вправе усомниться во мне; действительно, когда-то, в дни молодости, я был порочен, но разве мое постоянство не искупило этого? Я люблю тебя, Флава, люблю глубоко и навеки! Хочешь, чтобы я поклялся еще раз? Я люблю тебя, Флава, клянусь телом. . .

— Молчи, Шампавер, молчи! Не тревожь его тени! . .

— Не плачь, Флава, не плачь, безутешная мать, слезы довольно уже сточили твои щеки, они горчат у меня на губах; не плачь, безутешная мать! Он счастливее нас, его нет на свете. . .

— Счастливее нас, его нет на свете. . . Ты прав, Шампавер. Как мне мила эта мысль! . . Скажи только, ты готов?

— Нет, дорогая моя, погодим еще, может быть, для нас еще наступят лучшие времена, мы с тобой так молоды, у нас впереди так много лет!.. Подождем, мы испили полынной настойки еще до начала пира, подождем: после всей печали, которую несет с собой ночь, мы дождемся рассвета и с ним росы.

— Шампавер, когда молния поразила дерево, никакая весна его не оживит; оно сохнет на корню, пока дровосек не повалит его своим топором. Шампавер, что же, мы так и будем ждать удара топора этого запоздалого дровосека — смерти? Это было бы трусостью.

— Это большая дерзость — судить до времени о будущем! Красавица моя, сбросим с себя мрачность, не будем поддаваться этой эгегической грусти, прошу тебя!

— И вам еще хочется шутить! Вы ломаетесь, Шампавер, ваш смех не от сердца, это шутки висельника. Сейчас вот вы выдали себя.

Пока они говорили, из-за деревьев взошла луна, и лучи ее, наискось пронзая дрожащую листву каштанов, рассыпали по песку перламутровые блики, и в темноте зареяли серебристые мотыльки. Соловей еще не запел своей ночной песни, на огромных пространствах все было безмолвно, и только их слившиеся воедино влюбленные голоса вырывались из глубины едва слышным вздохом сильфиды.

IV

ПРОКЛЯТИЕ

— Равнина сумрачна и пустынна, вставай, моя любимая, выйдем за ограду; пойдем побродим там, возле водоема, давно уже я не склонял колен на этой земле; остролистник, осеняющий его последнюю колыбель, уже, верно, обглодан? Пойдем, поглядим.

— О нет, нет, что ты, остролистник зелен и густ, а трава высока и красива; мои слезы все равно что дождь, и я каждую ночь поливаю ими могилу.

— Ты что, ходишь каждую ночь к ручью?

— Да, каждую ночь: когда в доме все спят, я встаю и иду помолиться на его могилке; когда я вдосталь намолюсь и наплачусь под открытым небом, я чувствую себя спокойнее. Природа точно отпускает мне мой грех; мне кажется, что в безмолвии вселенной я внемлю голосу, доносящемуся из звездных сфер: «Твой грех не на тебе, слабое дитя земли, а на людях, на обществе! Пусть же кровь его падет на них и на него!..». Я возвращаюсь на заре и тогда вкушаю более спокойный сон, в котором уже нет этих ужасных сновидений.

— Скрытница! Почему ты никогда не говорила мне об этих ночных посещениях? Я бы тоже туда пришел и стал бы молиться и плакать с тобой!

— Не делай этого, Шампавер, не вздумай прийти, ты погубишь меня! Много раз мой подозрительный отец следовал за мной, это правда, я видела его там, он прятался за оградой водоема, подслушивал; мы бы себя выдали. Потому я и стараюсь молиться про себя, я боюсь, как бы он не расслышал, что я замаливаю. Он много раз выпытывал у меня с лукавой улыбкой, уж не сомнамбула ли я; я делала вид, что не понимаю, и, насколько не смущаясь, отвечала, что все может быть.

Они спустились почти до самого низу по крутой тропинке, ведущей к ручью; луна исчезла, небо было черно, иногда только зарницы прорезали горизонт своим фосфорическим светом; Флава опиралась на руку Шампавера, в ладони у него была веточка вербены, он ее мял.

— Есть ли еще запах слаще индийской вербены! Ты любишь цветы, Флава?

— Очень.

— Тебе любить цветы, Флава, — это же эгоизм! А духи ты любишь?

— Очень.

— Что до меня, я их люблю до безумия! Говорят, это не пристало мужчине, но мне-то что! Я-то ведь не стал от этого женственнее. Если бы я дал себе волю, я бы наполнил все комнаты в доме пахучими растениями, я надушился бы, как какая-нибудь кокетка. Когда я удручен, веточка благоухающей жимолости доставляет мне истинное утешение.

Многие кавалеры простаивают часами под балконом ради красоток, я бы простаивал ради цветка; многие кавалеры проделывают долгий путь ради любовной болтовни, я бы поехал в Испанию ради бергамота, на Восток — за росным ландышем; многие кавалеры закладывают плащ, чтобы вырученные деньги проиграть в карты, я отдал бы свой плащ за флакончик розового масла.

Но для меня, Флава, ты превыше всего, ты сама — благовоннейший сосуд, сладчайшая резеда, драгоценнейший аравийский бальзам! Поэтому ради тебя я готов на большее, чем караулить под балконом, на большее, чем паломничество, чем заклад плаща, — я останусь жить, если ты того потребуешь!..

— Ты опять себя выдаешь, Шампавер, ты что, готов? Скажи мне об этом, прошу тебя, вспомни свое обещание!

— О нет, не то, я хочу сказать, что, если бы я был готов к небытию, а ты бы захотела, чтобы я жил, я остался бы жить.

— Шампавер, ты кощунствуешь. Говоря так о небытии, ты жестоко меня терзаешь!.. Посмотри на небеса, изрезанные зарницами, на равнину, на эти горы, на величественную природу! Посмотри на меня! А после этого, если можешь, верь в небытие!

— Как и ты, Флава, я когда-то любил стихи и высокие слова.

— Увы! Если нам не дано возродиться для счастья в вечности, все было бы слишком ужасно! Жизнь полная страданий и напастей и ничего потом?

— Небытие.

— О! Ты же не веришь в небытие!

— Нет! Я в него верю! Люди — трусы, они боятся уничтожения; они сочинили себе будущую жизнь по своему подобию, они баюкают себя и упиваются ложью, которую сами придумали, и довольные этим открытием, умирая на железной койке, они, как безумные, с дурацким смешком на губах, говорят вам: «Прощайте! До свидания, я отправляюсь в лучший мир, мы увидимся там, на небесах!». А потом, с еще более дурацким смехом, наследники, затаив радость в сердце, ответствуют: «Прощайте! Счастливого пути! Мы скоро последуем за вами, припасите нам местечко в райской обители».

Так вот, не будет этого! Несчастные идиоты, вы пойдете туда же, куда идет все, в небытие!.. И я вам это говорю, негодяи, лицом к лицу со смертью и одной ногою в могиле! Не хочу другой жизни, довольно с меня и этой, я призываю небытие!

— Замолчите, замолчите, Шампавер, не кощунствуйте так! Если бы вы знали: ваш взгляд так страшен! Какую же тогда награду получат несчастные за все свои муки здесь, на земле?

— Кто уплатит кляче за пот, лесу за топор, за пилу и за пожары?.. Ну, конечно же, есть иной мир и для лошадей и для дубов... Рай!..

— Это заблуждение, замолчите, Шампавер. Господь слышит вас; неужели вы не страшитесь божьего грома?

— Если бы был бог, извергающий грома, я бросил бы ему вызов! Пусть поразит меня громом этот всемогущий бог, который все слышит, я его вызываю!.. Смотри, я плюю на небеса! Погляди вон туда, видишь эту жалкую молнию, она скрылась где-то на краю неба. Можно подумать, что он меня боится. Ах! Поистине, твой бог не слишком-то щепетильно относится к чести; если бы я был богом и держал бы молнии в руке, о, я бы уж не дал себя оскорблять и вызывать такой козявке, жалкому червяку!

Впрочем, вы, христиане, вы повесили своего бога, и хорошо сделали, ибо если он был богом, то заслуживал виселицы.

— О, пустите меня уйти, земля разверзается у вас под ногами! Сатана, ты мне мерзок!.. Пустите меня, Шампавер, я не заключала договора; прошу вас, замолчите, я умру, если вы еще будете кощунствовать! Кинуться вам что ли в ноги?..

— До этого часа я сохранял хладнокровие, но все людские несчастья приводят меня в бешенство!.. О! Если бы я держал человечество так, как держу тебя, я бы его задушил! Если бы я держал твоего бога, я бы его ударил, как ударяю вот это дерево! Если бы я держал свою мать,

мать, ту, что дала мне жизнь, я бы распорол ей живот! Какую же подлость она сотворила!.. Ах! Если бы она еще задушила меня в своей утробе, как мы задушили нашего сына.. Ужас!.. Я схожу с ума..

Безжалостный мир! Выходит, девушке надо убивать своего сына, не то она потеряет честь!.. Флава, ты честная девушка, ты зарезала своего сына!.. Ты девственница, Флава! Ужас!..

Отойди от могилы, я разрою землю ногтями: я хочу снова увидеть моего сына, я хочу с ним повидаться в свой последний час!

— Не возмущайте его священной могилы..

— Священной!.. Говорят тебе, что я хочу повидать сына в мой последний час! Пусти меня, я разрою могилу.

Дождь лил в три ручья, ревел гром, и молнии, отбрасывавшие огненные сполохи на равнину, освещали Флаву: волосы ее растрепались, ее белое платье казалось саваном, она лежала распростертой под пучками остролистника. Шампавер, стоя на коленях на земле, раскапывал песок ногтями и кинжалом. Внезапно он поднялся, в руках у него был детский скелет в лохмотьях.

— Флава, Флава! — вскричал он, — посмотри же на своего сына; видишь, вот она, вечность!.. Гляди!

— Вы мучаете меня, Шампавер, лучше убейте меня!.. И все это за одно преступление, единственное.. Нет, это уже слишком..

— Закон! Добродетель! Честь! Вы удовлетворены, так забирайте свою добычу!.. Варварский мир, ты этого хотел, вот, смотри, это твоих рук дело. Ну что, доволен ли ты этой жертвой? Доволен ты своими жертвами?.. Незаконнорожденный! С вашей стороны было большой смелостью родиться без королевского соизволения, без церковного свидетельства! Ну как, закон? Ну как, честь?

Не плачь, Флава, что все это? Пустяки — детоубийство. Столько робких дев совершали их уже по три раза, столько добродетельных девушек ведут счет веснам своим по убийствам.. Варварский закон! Жестокий предрассудок! Мерзкая честь! Люди! Общество! Нате! Нате вашу добычу! Я вам ее отдаю!!!..

Шампавер схватил трупик и забросил его далеко; скатываясь по крутому склону, он разбился о придорожные камни.

— Шампавер, Шампавер, добей меня, — прохрипела Флава, похолодевшая и едва живая, — теперь ты готов?..

— Да!..

— Убей меня, дай мне умереть первой!.. Вот, ударь сюда, тут мое сердце!.. Прощай!!!

Шампавер стал на колени, приложил острое кинжала к груди Флавы и, прикинув грудью к рукояти, навалился на нее всей тяжестью и крепко

зажал ее в своих объятиях: холодное железо вошло ей в грудь. Флава пронзительно вскрикнула, и крик этот стоном отозвался в каменоломнях.

Шампавер вытащил нож из раны, поднялся и, опустив голову, побрел вниз с холма и исчез в дожде и тумане.

V

DE PROFUNDIS *

На следующий день на рассвете, проезжая по дороге, возчик услышал, как под колесом телеги что-то вдруг хрустнуло, — это был скелет ребенка.

Крестьянка нашла у ручья труп женщины, раненной в сердце.

А на Монфоконских холмах⁶ живодер, насвистывая свою песенку и засучив рукава, заметил среди вороха рогатин окровавленного мужчину: его запрокинутая голова была погружена в грязь, и наружу выбивалась только длинная черная борода, а в грудь, как кол, был воткнут огромный нож.

* Из глубины (лат.).

ПРИЛОЖЕНИЯ



Б. Г. Р е и з о в

ПЕТРЮС БОРЕЛЬ

1

Забывтый писатель с тяжелой судьбой, рано закончивший свой творческий путь и умерший вдали от родины, страстный республиканец, говоривший о своей эпохе с отчаянием и яростью, Петрюс Борель представляет собою явление своеобразное и вместе с тем типичное для его времени. Молчание окружило его имя, и только изредка кто-нибудь вспоминает о нем как об оригинале и неудачнике, достойном лучшей участи. Между тем его творчество имеет несомненный интерес, а его духовная трагедия позволяет сделать выводы, имеющие значение не только для литературы.

О жизни Бореля мы знаем очень мало.¹ Он родился в 1809 году в Лионе и получил при крещении имя Жозефа-Петрюса. Отец его торговал скобяными товарами, затем продал лавку и переехал в Париж, чтобы дать детям образование. Младший брат Петрюса присоединил к своему плебейскому имени дворянское и назвался Борель д'Отерив, хотя не имел никакого отношения к старинному роду д'Отеривов.

Рассказывая в предисловии к «Шампаверу» биографию своего героя, Борель включил в нее многие факты из своей собственной жизни. Он, так же как Шампавер, учился в какой-то духовной школе, затем по настоянию отца поступил в архитектурную мастерскую, где, тяготясь учением, все же чему-то научился и даже стал зарабатывать своей профессией на пропитание. Потом он занялся живописью в ателье Эжена Делакруа, потому что живопись была в то время любимым искусством романтиков. Кроме того, он писал стихи.

Около 1829 года вокруг него образовался кружок юных художников и поэтов, восхищавшихся его личностью и его талантами, преимуще-

¹ Биографические сведения см.: Claretie Aristide-Marie. Pétrus Borel, sa vie, son oeuvre. Paris, 1922; Enid Starkie. 1) Pétrus Borel the Lycanthrope. His life and times. London, [1953]; 2) Pétrus Borel en Algérie. Sa carrière en Algérie comme inspecteur de la colonisation. Lettres et documents inédits, Oxford, 1950.

ственно литературными. Это были пылкие романтики и поклонники Виктора Гюго. Драма «Кромвель» и особенно предисловие к ней, ставшее чем-то вроде романтического манифеста (1827), а затем сборник стихов «Ориенталии» (1828) сделали Гюго кумиром молодого поколения. Во время знаменитых боев вокруг «Эрнани» (премьера 25 февраля 1830 г.) Борель был уже знаком с Гюго и посещал его салон на улице Жана Гужона. Он увлекался испанской литературой и усвоил манеры испанского гранда — в то время романтики увлекались Испанией.² Борель был хорош собой и носил шелковистую бороду, тщательно расчесанную и надушенную, — в эпоху бритых подбородков носить бороду значило бросать вызов обществу и подрывать его устои. Теофиль Готье утверждал, что во Франции только два человека носили бороду: Петрюс Борель и Эжен Девериа.³ Он ошибался: бороду носили многие представители артистической богемы, а также сен-симонисты.⁴

Это был год Июльской революции. Борель принял ее с удовлетворением и радостью, хотя в уличных боях участия не принимал. Вскоре после изгнания Бурбонов он написал стихотворения «Санкюлотиды» (о санкюлотах, вспомнив термин 1789—1793 годов) и «Ночь с 28 на 29» (29 июля — день победы революции).

В конце этого года образовался так называемый малый кружок — в отличие от кружка, собиравшегося у Гюго и состоявшего из старших романтиков. Малый кружок имел своим центром ателье двадцатидвухлетнего скульптора Жана Дюсеньера, тоже «бородач». Ателье посещала буйная молодежь, проклиная «мещан», «классиков», правительство и эпоху. Борель был из самых радикальных, и внутри кружка вскоре произошло расслоение. В 1831 году он со своими почитателями из Латинского квартала, где жил до тех пор, перебрался на «Холм Рошшуар» (впоследствии бульвар Рошшуар), очевидно, из подражания сен-симонистам, тоже переехавшим в Менильмонтан, селение, тоже расположенное на возвышенности. В большой комнате, которую соседи называли «татарским лагерем», юные республиканцы обсуждали острые политические вопросы, в знак протеста против общества вели себя, как «караибы», спали на шкурах и коврах, выпускали дикие вопли и пугали соседей. Кончилось тем, что вмешалась полиция, и Борель должен был переехать на улицу Анфер, в дом, который он снял целиком. Новоселье отпраздно-

² Об интересе к Испании во французском романтизме см.: Martinenche E. L'Espagne et le romantisme français. Paris, 1922.

³ Gautier Théophile. Histoire du romantisme, suivie de Notices romantiques et d'une Etude sur la poésie française, 1830—1868. Paris, 1874, p. 21.

⁴ См.: Delécluze E.-J. Les Barbus d'à présent et les Barbus de 1800. В кн.: Paris ou le livre des Cent et un, t. VII. Paris, 1832. Перепечатано в кн.: David Louis. Son école et son temps. Souvenirs par M. E. J. Delécluze. Paris, 1855. Появление первых бород в романтическую эпоху Делеклюз датирует 1826 годом и связывает с увлечением средневековьем.

вали пиршеством с неизбежными для того времени криками. В этом Борель и его друзья видели политический протест и начала демократии.

Вслед за тем не столько нищета, сколько демонстративная нелюбовь к цивилизации заставили Бореля с его другом Жюлем Вабром поселиться на улице Фонтен-о-Руа, в подвале полуразрушенного дома, который им, как архитекторам, поручено было реставрировать. Друзья бедствовали, ели похлебку без соли; их юный друг Теофиль Готье считал нужным преподнести им мерилендский табак, в то время восхищавший курильщиков.⁵

Борель приобрел опасную славу бунтаря, — даже те, кто был близок к нему по литературным убеждениям, избегали встречаться с ним и его ярким поклонником Теофилом Готье и потому не ходили к Гюго и к Шарлю Нодье, где бывали люди самых различных взглядов.

В конце того же 1831 года с датой 1832 год вышел в свет сборник стихов Бореля «Рапсодии», над которым автор работал в течение нескольких лет. Он должен был «поразить буржуа», но остался малоизвестен. Затем в 1833 году появился сборник повестей «Шампавер». Он тоже не был распродан, и издатель Рандюэль понес убытки, что явствует из письма к нему Бореля. Наконец, в 1839 году Борель напечатал большой роман «Мадам Путифар», не поправивший ни его материального положения, ни его литературной репутации.

В этом году Борелю исполнилось тридцать. Вести жизнь богемы и бедствовать становилось трудно. Романтические кружки распались, Борель потерял свое окружение и власть над умами. Когда в 1843 году Гюго просил его мобилизовать молодежь, чтобы поддержать его драму «Бургграфы», как то было с «Эрнани», Борель ответил: «Молодежи больше нет». Неуживчивость и, очевидно, некоторая заносчивость, подогревавшаяся безудержными восторгами единомышленников, мешали устроиться в каком-нибудь журнале, да и трудно это было с его взглядами, хорошо всем известными. По совету друзей он стал хлопотать о месте в недавно завоеванном Алжире, в субтропиках, о которых мечтал всю жизнь. По ходатайству писательницы Дельфины де Жирарден, жены Эмиля де Жирардена, публициста и политического деятеля, ему была предоставлена должность «инспектора колонизации II класса». К месту своего назначения он прибыл в 1846 году. Там он и женился.⁶

Но счастья в Алжире он не обрел. Условия жизни были трудные, не имея никакого административного опыта, он не всегда выполнял то, что требовалось по службе. Он возмущался неприглядным поведением чиновников в завоеванной стране и писал жалобы начальству, обвиняя их, и не без основания, в хищениях. Уже в начале 50-х годов он начал страдать нервным расстройством, и в 1855 году, после долгих распрей с француз-

⁵ Gautier Théophile. Histoire du romantisme..., p. 36—39.

⁶ Baron Borel du Bez. Pétrus Borel, son mariage, sa descendance. Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, 15 avril 1932.

скими властями, был отставлен от должности. Возвращаться на родину он не захотел и остался на новой земле фермером. Но и это ему не давалось: хозяйство шло плохо, да и желания им заниматься не было. Он тосковал без книг и журналов и в письмах к брату просил посылать ему какое угодно чтиво, хотя бы старые ненужные газеты.

Он горько переживал потерю литературного таланта, погибшего вместе с нравственным здоровьем. Единственное написанное в Алжире стихотворение называется «Летаргия музыки»: «Тщетно я стараюсь вернуть к жизни свою музу — она не слышит моих криков и остается холодной под слезами, которыми я ее орошаю».

Он умер 17 июля 1859 года, оставив без средств молодую жену и двухлетнего сына.

2

Литературное творчество Бореля продолжалось около десяти лет и было тесно связано с Июльской революцией. За исключением нескольких стихотворений в его первой книге, он нигде не упоминает о политических событиях этого бурного десятилетия, но идеологические движения эпохи отразились в его сочинениях с полной силой.

Революция привела к господству финансовой и крупной промышленной буржуазии. Между тем она была сделана руками тех, кто хотел уничтожить самый монархический принцип и установить республику на демократических основах. Восшествие на престол герцога Орлеанского было началом реакции, проявившей себя уже к концу 1830 и совершенно очевидной к началу 1831 года. Жестокая эксплуатация рабочих и ремесленников и многие другие причины вызвали ряд восстаний политического и экономического характера, которые продолжались в первую половину 30-х годов и подавлялись войсками с необычайной жестокостью.

С точки зрения демократически мыслявших людей, революция закончилась неудачей. «Была ли Июльская революция?» — так назвал свой памфлет Клод Тилье, выразивший мнение этих кругов. Легитимисты и правые утверждали, что революция привела страну к катастрофе, из которой она не выйдет, пока не будет восстановлен старый режим или по крайней мере неограниченная санкционированная церковью власть короля. Орлеанская партия, так называемая золотая середина, ощущала подземные толчки и все время ожидала взрыва, который разрушит трон, уничтожит удачно завоеванное господство денег, а вместе с тем и всю общественную жизнь.

«Демократия течет широкой рекой», — говорил в начале Реставрации умеренный либерал де Серр. К 1830 году и особенно после революции демократия была силой, с которой приходилось считаться. На политическую сцену выступили представители крестьянства, ремесленников, рабочих, мелкой буржуазии Парижа и провинции. Они проникали в лите-

ратуру и искусство, писали в журналах и газетах, заполняли ателье живописцев и скульпторов, жили впроголодь и объединялись в кружки, игравшие немалую роль в политической и художественной жизни. Они сильно изменили характер французской литературной культуры, выдвинув новые проблемы, создав демократических героев и придав искусству остро критический характер.

Артистическая богема начала 30-х годов ни по классовому составу, ни по идеологическим позициям ее членов не была однородной, но в огромном большинстве состояла из республиканцев и демократов. Долгое время мы знали о ней преимущественно из «Истории романтизма» Теофиля Готье. Книга эта была написана по воспоминаниям многолетней давности. В 1830 году Готье было 19 лет. Потом он постарел, времена изменились, наступило разочарование и равнодушие ко всему. Цепкая память сохранила многие живописные детали, но события, преломившись в призме времени, предстали в совсем другом виде. Запомнилась страстная любовь к «чистому» искусству и забылась причина всех безумств, насмешек над буржуа, житейских неудач и самоубийств, характеризовавших это поколение художников и поэтов. То, о чем Готье рассказывает с обычным своим остроумием и юмором, было трагедией целой эпохи.

«Беседы об искусстве, об идеале, о природе, форме, колорите и других вопросах этого рода казались нам, и с полным к тому основанием, особо важными. Такими они были бы еще и теперь».⁷ Бушарди, принадлежавший к тому же кружку, откликнувшись на статью Готье, тоже вдруг вспомнил, что Борель и его друзья не интересовались ничем, кроме искусства.⁸ Оба они, и Бушарди и Готье, заблуждались.

Конечно, «богема», «романтики», «бузенго», «Молодая Франция» («Jeune-France»), как их называли, — молодежь, собиравшаяся в ателье молодого скульптора Дюсеньера и в квартире Бореля, пренебрегала материальной выгодой, буржуазными удобствами и преуспеянием, заработком, положением в обществе и общественным мнением. Действительно, они много говорили об искусстве, но эти разговоры имели революционный смысл. Революция в искусстве, которую они хотели совершить, была выражением революции политической и социальной. Задачей искусства они считали общественное действие. Поэт Филоте о'Недди (настоящее имя — Теофиль Донде), один из активных членов кружка, утверждал, что в молодости он и его друзья интересовались не только искусством. В предисловии к сборнику «Feu et Flamme» (1833), обращаясь к тем,

⁷ Gautier Théophile. Histoire du romantisme..., p. 87. В 1864 году на обеде Маньи Готье утверждал, что на премьере «Эрнани» «только Петрюс Борель был республиканцем». См.: Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник, т. I. М., 1964, стр. 430.

⁸ Письмо от 12 января 1857 г. Цит. по: Gautier Théophile. Histoire du romantisme..., p. 85—86.

«кто трудится для будущего», он писал: «Как и вы, со всей высоты своей души я презираю общественный строй и особенно политический строй, который является его экскрементом», а позднее, может быть возражая Готье, заявлял: «Те, кто думают, что мы жили, отделившись от народного дела, глубоко ошибаются: мы в большинстве своем были республиканцами».⁹

Ненависть к режиму, к торжеству буржуазии, ко всей системе управления и общественных отношений вызвала пессимистические настроения у молодежи, казавшейся Теофилю Готье столь веселой и беззаботной. Это было естественным следствием тяжелого материального и нравственного состояния широких общественных кругов. На этой идеологической платформе возникла и развивалась так называемая «неистовая школа». Она имела отклик во всей Европе, и в России получила название «неистой словесности». В 1831 году, когда она только еще складывалась, Бальзак назвал ее «школой разочарования», указывая на общественные причины этого явления.¹⁰ Пушкин характеризовал ее в тот момент, когда она уже утрачивала свое значение: нынешние писатели «любят выставлять порок всегда торжествующим, и в сердце человеческого обретают только две струны: эгоизм и тщеславие. Таковой поверхностный взгляд на природу человеческую, конечно, мелкомыслие... Покамест он еще нов, и публика, т. е. большинство читателей, с непривычки видит в нынешних романистах глубочайших знатоков породы человеческой. Но уже „словесность отчаяния“ (как назвал ее Гете), „словесность сатаническая“ (как говорит Соувей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, дыгарочная и пр., — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикой, начинает упадать даже и во мнении публики».¹¹

Термин «неистовый» («Grénetique») часто встречался в литературной полемике 1810-х годов. Сторонники классицизма упрекали в «неистовстве» романтиков, изображавших в романах и драмах неподвластные разуму страсти, преступления, убийства и казни. Многие сцены Шекспира и Шиллера также назывались неистовыми. В 1823 году Шарль Нодье, сыгравший большую роль в истории романтизма, легализовал этот термин в статье о «страшном» и «рыцарском» романе Генриха Шписа «Маленький Петр», переведенном с немецкого Анри де Латушем. Этот термин получил более точный адрес в начале 1830-х годов, когда «неистовство» нашло выражение в ряде романов и драм с более или менее определенным политическим и философским содержанием.

⁹ Цит. по: Jasinsky René. Les années romantiques de Théophile Gautier. Paris, 1929, p. 75—76.

¹⁰ Balzac. Lettres sur Paris, 9 janvier 1831. — Oeuvres complètes, t. XXIII. Paris, 1873, p. 167.

¹¹ Пушкин А. С. Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной. — Полное собрание сочинений в 6 томах, т. V. М.—Л., 1936, стр. 112. Соувей — так Пушкин транскрибировал имя английского поэта Роберта Саути.

Впрочем, начало его возводят к 1829 году, когда появился «Мертвый осел и гильотинированная женщина», роман Жюль Жанена, литературного критика, публициста и романиста. Роман этот послужил образцом для многих произведений того же типа, хлынувших на книжный рынок в 1830-е годы.

В предисловии Жанен представлял свой роман читателю как пародию на «правдивую» литературу, которую пытались создать романтики, в частности на «Последний день приговоренного к казни» Виктора Гюго. Такая литература, по мнению Жанена, невозможна: действительность настолько ужасна, что ее правдивое изображение приведет читателей в отчаяние и, вместе с тем, разрушит самое искусство, задача которого — улаждать людей и утешать их сладостным вымыслом. Но для Жанена это только способ оправдания нового жанра. Основная задача его — показать, что современная жизнь жестока и отвратительна и что общество находится на краю бездны.

Это был канун революции. Министры Карла X обдумывали государственный переворот, либерально-демократические силы готовились к сопротивлению, а мрачные сюжеты современной романтической литературы не вызывали ни пессимизма, ни отчаяния: в большинстве случаев это было изображение тяжелой борьбы классов в сравнительно недавние периоды французской истории, утверждение неизбежного исторического развития и постоянной победы прогресса. Это было также изображение отмирающих предрассудков, исторических нелепостей, все еще живущих в современности, опасностей, которых нужно избежать, чтобы не вернуть общество в новые бедствия.

Но в романе Жанена нельзя было найти никакого утешения, никакой надежды. Он хотел только напугать читателя очевидным общественным прогрессом и вернуть его к прежним устоям, хотя сам считал такое возвращение невозможным.

В новых идеологических условиях, сложившихся после Июля и торжества реакции, «Мертвый осел и гильотинированная женщина» стал выполнять другую функцию. Республиканские круги, утратившие веру в возможность дальнейшей борьбы, воспринимали его как отрицание прогресса, свободы, какого бы то ни было благополучия в судьбе общества и личности. Для кругов реакционных и консервативных он был доказательством того, что демократическое развитие приводит к гибели всех идеалов, нравственных инстинктов и самой возможности общественной жизни. Такая интерпретация была ближе к точке зрения самого автора. Так возникала «неистовая» школа.

Но была ли это школа? В этом можно усомниться. Настроения, характерные для тех, кто «неистовствовал» в общественном и литературном смысле слова, распространялись среди писателей различных общественно-политических и литературных взглядов. С другой стороны, те, кто поражал читателей убийцами, самоубийцами, насильниками и чудо-

вищными преступлениями, назывались по-разному. Их называли «романтиками», хотя многие из них отрекались от романтизма, «натуралистами», потому что они не приукрашивали «натуру», «стернианцами», поскольку им была свойственна чувствительность и ирония Стерна, «байронистами», так как отчаяние и всеуничтожающую иронию они искали прежде всего у Байрона. Эти черты были широко распространены в литературе эпохи, и они позволяют определить если не школу, то основную тенденцию литературы и общую проблему, по-разному решавшуюся отдельными писателями, литературными группами и политическими партиями.

Петрюс Борель оказался одним из самых ярких представителей литературного «неистовства».

3

Первая книга Бореля «Рапсодии» создавалась в течение нескольких лет, с конца 20-х до конца 1831 года, когда она была напечатана. Стихотворения, написанные до революции, отличаются чувствительностью и мечтательной меланхолией, свойственной романтической поэзии 1820-х годов. В них можно было бы увидеть отголоски Ламартина, Марселины Деборд-Вальмор, может быть, даже элегиков более ранней поры. Стихи, написанные тотчас же после революции, полны пафоса и восторга, затем, с началом реакции, появляется отвращение к режиму и обществу. Эволюция произошла очень быстро, в течение нескольких месяцев. В поздних рапсодиях затронуты обычные темы: торжество богачей, их презрение к бедствующей массе, писатель, продавшийся правительству, страдания независимого поэта.

Особенно сильное впечатление произвело предисловие, написанное, вероятно, в последние недели перед напечатанием книги. В нем заключалось все то, что так полно развернулось в «Шампавере». «Я республиканец, каким может быть хищный волк. Мой республиканизм — это ликантропия», — пишет он, изобретая термин «волкочеловек», который будет стоять на обложке «Шампавера».¹² «К счастью, — продолжает Борель в том же духе, — чтобы вознаградить нас за все это, у нас есть адюльтер, мерилендский табак и „el papel español por los cigaritos“».¹³ В этой шеголеватой, намеренно нелепой и горькой фразе, получившей широкую известность, он выразил жестокую иронию, пренебрежение к морали и принципиальный разрыв с Июльским обществом. И, разыгрывая из себя денди, голодный поэт прибегает к своему любимому «кастильскому» языку.

¹² См.: С о n s L. Pétrus Borel. Pourquoi «Le Lycanthrope». — The Romanic Review, oct.-dec. 1932.

¹³ «Испанская бумага для сигарет» (исп.).

Ни в теории, ни в практике Борель не был сторонником искусства для искусства. Творчество, в котором каждое слово пропитано желчью и ненавистью к современному обществу, не может быть аполитичным. Борель не выносит «чистого» искусства. В «Шампавере» это выражено с полной отчетливостью.

В подзаголовке книга определена как «Безнравственные рассказы».¹⁴ Само название это говорит о непримиримом бунтарстве автора.

В XVIII веке было широко распространено название «нравственные рассказы» («contes moraux»). Оно означало, так же как и в русском языке, рассказ психологический, интимный, обычно с семейной или любовной тематикой. Но то же слово можно было понять как «добродетельный» или «поучительный». Борель так и понял его. В его рассказах нет никаких поучений, есть только разоблачение современного общества, в котором торжествует зло.¹⁵

Литература, по его мнению, — орудие борьбы. Она должна быть республиканской, разоблачать и бичевать злодеев. В рапсодии, напечатанной в «Шампавере»,¹⁶ он смеется над салонным поэтом, который, воспевая собственные горести после сытного обеда, исполнен презрения к беднякам и обездоленным. Эпиграф к первой повести говорит о необходимости злободневной и даже разоблачительной литературы:

...ужели же пристало
Моралью трезвою тревожить Рим, усталый
От греков-риторов, и выставлять сейчас,
Как мясо свежее, собакам напоказ?
Не лучше ль было бы, чтобы сей град могучий
Лежал бы, развалясь, в своей грязи вонючей,
Не видя тины слой, что кровью жертв полит?
Зачем будить того, кто непробудно спит! —

Так говорит «классик», представитель старого мира. Рим означает Париж, а «риторы» — ораторы Палаты депутатов. Второй эпиграф к этой же повести гласит: «Им, окровавленным, еще краснеть придется», — это будет краска стыда, которая зальет лица неправедных судей, мошенников и лицемеров.

«Нет ничего опаснее, — говорит Борель в предисловии, — чем поселять пустоту в человеческом сердце. Никогда я не стану заниматься столь рис-

¹⁴ Champavert. Contes immoraux, par Pétrus Borel le Lycanthrope. Paris, Eugène Renduel, éditeur-libraire, rue des Grands-Augustins, № 22, 1833. О Рандюэле см.: Julien Adolphe. Le Romantisme et l'éditeur Renduel. Paris, 1897.

¹⁵ Впрочем, в XVIII веке существовало и выражение «безнравственные рассказы», не имевшее, однако, разоблачительного смысла. Ср., например, «Безнравственные рассказы» князя де Линя, переизданные в 1964 году Юбером Жюэном: Prince de Ligne. Contes immoraux, présentation de Hubert Juin. Paris, 1964. См. также рецензию на эту книгу: «Studi francesi», 1966, № 29, p. 366.

¹⁶ Отрывок стихотворения, озаглавленного «Счастье и несчастье».

кованным делом. Верьте, верьте, тешьтесь обманом, пребывайте в неведении!.. Заблуждение почти всегда любезно и утешительно». То же говорил Жанен в предисловии к «Мертвому ослу и гильотинированной женщине», утверждая невозможность правдивой литературы. Это значит, что книга Бореля должна быть так же правдива и разоблачительна, как книга Жанена.

Если в предисловии можно обнаружить воспоминания из Жанена, то самая идея предисловия заимствована из другого сочинения, тоже разоблачительного и горького, но в совсем другом плане. Это «Жизнь, мысли и стихотворения Жозефа Делорма» Сент-Бева, вышедшая в том же году, что и книга Жанена. В предисловии Сент-Бев сообщает, что мысли и стихотворения написаны поэтом, разочаровавшимся в жизни и обществе и мечтающим о самоубийстве как спасении от недовольства действительностью и житейских неудач. Ту же мысль повторил и Борель. Шампавер кончает самоубийством за несколько месяцев до выхода в свет его книги.¹⁷ Он тоже пессимист, неудачник и мыслитель и так же в стихах и прозе описывает мрачные зрелища современной жизни, отказываясь от традиционной поэтической «красивости».¹⁸ Жозеф Делорм «чувствовал бесконечную любовь к страдающей части человечества и неукротимую ненависть к сильным мира сего», — то же самое говорит Борель о своем герое.

Но между Жозефом Делормом и Шампавером, между 1829 и 1833 годами прошла Июльская революция, и если герой Сент-Бева был кроток и спокоен, то герой Бореля яростен и ожесточен.

Воспоминания о книгах Жюль Жанена и Сент-Бева поддерживают традицию «неистойвой» литературы, противопоставленной литературе, которая казалась Борелю «лимфатической», лицемерной и лживой.

Шампавер — подлинное имя Бореля, говорится в предисловии. Эту выдумку автора можно рассматривать как одну из распространенных в то время литературных мистификаций, до которых так лакомы были читатели. «Театр Клары Гасуль» и «Гусли» Мериме, поэзия Клотильды де Сюрвиль, стихи Жозефа Делорма и десятки других создали моду и вместе с тем образец, которому следовали широко и без видимой нужды. Но здесь было и нечто другое: эта фикция придавала предисловию и отчасти даже всей книге характер личных признаний, резко подчеркнутый в «Жозефе Делорме». Жанр «личного романа», признаний, более или менее полных, а чаще хранящих некую увлекательную тайну, стал очень популярен в начале 30-х годов. «Рене» Шатобриана опять очаровал молодые

¹⁷ Шампавер «наложил на себя руки этой весной», т. е. в 1833 году. Через несколько страниц Борель дает другую дату: вокруг Шампавера сложился кружок «года за два до его смерти, в конце 1829 года». Следовательно, он умер в конце 1831 года. Однако письмо Беранже к Шампаверу, приведенное в том же предисловии, датировано 16 февраля 1832 года. Очевидно, Борель относился к датам небрежно.

¹⁸ На эту сторону поэзии Сент-Бева обратил внимание А. С. Пушкин в «Литературной газете» за 1831 год.

умы, «Оберман» Сенанкура, казалось бы совсем забытый в 1820-е годы, был переиздан с предисловием Сент-Бева и прославлен статьей Жорж Санд (1833). Бальзак написал повесть «Луи Ламбер» (1832), бессюжетную историю жизни и мысли гениального философа, мудреца и вместе с тем безумца. В этом жанре составлена «Заметка о Шампавере». Рассказ о жизни Шампавера и его литературный портрет заключают в себе много автобиографического, так же как и «Луи Ламбер», а характер повествования напоминает эту «философскую повесть» Бальзака.

Необъяснимая меланхолия, страсть к одиночеству, нелюбовь к обществу, индивидуализм — таковы особенности Шампавера, каким он представляется нам в предисловии. Это «комплекс», разработанный в характерах Рене и Обермана, так же как многих героев Байрона, начиная от Чайльд-Гарольда и кончая Дон-Жуаном.

4

Романтики 20-х годов, продолжая традиции Вальтера Скотта и работывая философское понятие «тождества», выдвинутое немецкой идеалистической философией Шеллинга и Гегеля, говорили о единстве духа и материи, личности и общества, народа и человечества. «Тождество» означало равенство людей, демократию, неизбежное движение к общественной справедливости. Во времена Июльской монархии понятие прогресса было принято на вооружение ее апологетами, утверждавшими, что современный строй — великий шаг в истории человечества, что Франция может развиваться только в пределах Июльского режима и что в этом мире «все хорошо».

Республиканцы и демократы сохраняли понятие прогресса — без этого невозможно была бы борьба, но, признавая оптимистическую формулу «все к лучшему», отвергали формулу «все хорошо». Те, кто видел пороки современности и не мог или не хотел бороться, отчаявшись в революции, отрицали всякое развитие вообще.

Если есть зло и нет развития, значит зло неизбежно, а деятельность бесполезна. Понятие закономерности развития у отчаявшихся было заменено понятием бессмысленного изменения, единственный закон которого — случай, то есть беспричинность. Это общественный и исторический агностицизм. Мир непостижим и потому отвратителен. Борель вместе со всеми отчаявшимися отвергает всю идеологию либералов 20-х годов и приходит к полному неверию в прогресс, а вместе с тем к культуре одинокой личности.

Когда главным врагом народа считался феодализм, подвергалось критике в основном сословное деление общества. В 1830 году сословия потеряли свое значение и новые формы эксплуатации стали особенно ясными для тех, кто не был заинтересован в их сохранении. В дневнике Шампавера торговля отождествляется с грабежом, а суд — с убийством. Соб-

ственность уничтожает справедливость. Всякий преуспевающий — наверняка разбойник и злодей. Господин де Ларжантьер, прокурор, является доказательством этого. Приговор, который он выносит своей жертве, доказывает, что суд — это притон убийц.

Если утеряна нравственная целесообразность истории, если тысячелетнее развитие привело к обществу, самые основы которого порочны и преступны, то должно исчезнуть всякое уважение не только к данному обществу, но и ко всему человечеству. Песнь Аполлины, героини первой повести, указывает путь, которым идет страдающая душа от сознания общественной несправедливости к всеобщему отрицанию и ненависти.

Шампавер любит природу, цветы и ароматы. Природа прекрасна не только в цветке, но и в человеке. Но «общество растлевет все и вся, ... безудержное стяжательство и религиозный фанатизм ожесточают людей, делают их кровожадными, ... человека по натуре доброго цивилизация превращает в солдата, собственника, судью, палача...» (стр. 161). Каждая профессия, какова бы она ни была, заключает в себе зло. Старая оптимистическая теория естественного человека оборачивается горьким пессимизмом, а страстная любовь Шампавера к цветам побуждает его к зверскому убийству.

Если в мерзости существующего нет ничего достойного уважения, то как быть с тем, кто произносит свой суд над обществом? Он, очевидно, — исключение из правила, тот «единственный», который имеет право мыслить, судить и быть правым. Так неизбежно Борель приходит к индивидуализму, который он не отвергает ни в теории, ни на практике.

«Джек был одной из тех сильных натур, рожденных чтобы властвовать, которым не хватает воздуха в тесной клетке, куда их бросила судьба, в обществе, которое хочет все принизить, всех заставить жить мелкими интересами. Такие натуры всегда порывают с людьми, которых они гнушаются, если не порывают с самой жизнью. Трехпалый Джек был ликантропом». Назвав этим именем своего героя, Борель-Шампавер подчеркивает свое сходство с ним. Это весь комплекс свойств, характерных для индивидуализма 30-х годов и всякого индивидуализма. Шампавер, утверждает Борель, любил людей, и поэтому стал ненавидеть их. Он хотел свободы, понятой как свобода индивидуальная, — и бежал от общества. Он ненавидел порок и преступление, иначе говоря, то, что причиняет несчастье людям, — и сам оказался убийцей.¹⁹

Все герои Бореля больны индивидуализмом. Палач считает Пасро безумцем, но он только кажется безумцем, потому что поступает не так, как все. Потому он и одинок. Республиканец и демократ, доведенный до

¹⁹ Стендаль с замечательной тонкостью определил ход мысли, приведшей его к мизантропии: «... Я был мизантропом, так как слишком любил людей, иначе говоря, я ненавидел людей, каковы они есть, потому что обожал существа воображаемые, как Сен-Пре, милорд Эдуард и т. д.». Письмо от 29 октября—16 ноября 1804 г. Stendhal. Correspondance. — Bibliothèque de la Pléiade, t. I. 1968, p. 162.

отчаяния страданиями народа, противопоставляет себя толпе — это тоже трагический парадокс, легко объяснимый политической ситуацией и характерный для эпохи. Человеколюбец становится человеконенавистником.

Беранже, прочтя «Рапсодии», упрекал Бореля в том, что его инвективы против общества вызваны личными мотивами. Нет, источник этого мрачного нигилизма лежал глубже: в неудаче революции, в торжестве нового зла, сменившего старое. Но Беранже был прав в другом: только индивидуализмом можно объяснить этот поразительный для республиканца принципиальный отказ от действия и эгоистическое упоение ненавистью. То, что Беранже увидел в «Рапсодиях», с еще большей силой получило свое выражение в «Шампавере».

Герой последней повести «Шампавера» — «роковая личность», какими были герои Байрона.

5

В первой половине 20-х годов Байрон казался великим мизантропом. С этой мизантропией не соглашались и, споря с ним, жалели и утешали его. Впоследствии его участие в греческом восстании, его политические стихотворения и «Дон-Жуан» привлекли к себе не меньшее внимание, чем «Манфред», «Кайн» и восточные поэмы. Он стал героем, пожертвовавшим собою ради блага людей, и напоминал Прометея. Но поколение 30-го года восприняло его как поэта жестокой иронии, презиравшего всякую нравственность и людей, как великого человека, поправшего людские законы, чтобы утвердить собственную личность и отомстить другим за свои личные несчастья.²⁰ Большинство неистовых эпохи были отмечены печатью Байрона.

Одной из самых устойчивых черт байронического героя была его «фатальность». Все эти персонажи «в гарольдовом плаще», проклиная все на свете и безнадежно жаждая неслыханных идеалов и блаженств, причиняли несчастья всем окружающим. Шампавер принадлежит к их числу. И он тоже говорит о себе как о «роковой» личности: всякий, кто полюбит его, будет ввергнут в пучину бед, и пугает этим свою возлюбленную и жертву. Он сам виноват в этом, но так как единственная его задача заключается в том, чтобы проклинать судьбу, человечество, все, что не является его личностью, то мысль о собственной вине ему не приходит в голову.

Личность хочет быть свободной. «Я республиканец, потому что я не могу быть карайбом, — пишет Борель в предисловии к „Рапсодиям“, — мне нужно огромное количество свободы: даст ли ее мне республика?».

Вот и все, чего он хотел в жизни и ожидал от республики.

²⁰ Некоторые формы байронизма во Франции указаны в книге: Estève E. Byron et le romantisme français. Paris, 1907.

Общество караибов кажется ему идеальным состоянием, а свобода заключается в том, чтобы делать все, что придет в голову, и не встречать при этом никаких препятствий. Таков идеал «волкочеловека». К этому приводит понятие свободы, не связанное с системой социальных понятий. Это индивидуалистическая свобода, которая превращается в нравственное безразличие, вдохновенное эгоизмом, и в культ наслаждения.

Противоречие между мыслью и действием получило свое символическое выражение в повести «Пасро». Вспомнив о Карле Занде и Коцебу, герой повести вдруг решает принести себя в жертву и убить «французских Коцебу». Но вспышка благородного негодования погасла, и Пасро не смог перейти из мира мысли в мир действия. Это удивительно точно характеризует анархический, «писательский» бунт, пустые угрозы в утонченной художественной форме.

И все же проклятия в адрес Коцебу, восхищение Карлом Зандом, требование политически активной литературы, так же как и нежелание действовать, свидетельствуют о том, что для республиканских писателей 1830-х годов, и в частности для Бореля и его кружка, бегство в искусство было протестом против общества и нисколько не противоречило критическому пафосу, характерному для многих, укрывавшихся в художественное творчество от безобразия окружающего.

Изгнавшие себя в искусство, презревшие действие, многие из этих волосатых, бородатых, фантастически одетых молодых художников вскоре зачахли от истощения, лишив себя питательных соков земли, контактов с большой жизнью и полнокровного участия в ней. Об этом говорит восторженный мартиролог таких «беглецов», неудачников и самоубийц, составленный Готье в его «Истории романтизма».

В «Безнравственных рассказах» много самоубийц, в том числе сам Шампавер. В этом нет ничего удивительного: взгляды, высказанные в книге, рекомендовали самоубийство как спасение от жизни. К тому же самоубийство во времена Июльской монархии было чрезвычайно распространено и стало обычным литературным мотивом. Самоубийцы Бореля должны были убедить читателя в том, что строение общества необходимо должно привести тонко чувствующего и логично мыслящего человека к этому единственно возможному исходу. О «благородных сердцах, вступающих против тирании», Шампавер пишет в заметке «Торговец — читай вор».

Самоубийства дополняются убийствами. Каждое из них говорит о неразумии людей и нравов, о роковых предрассудках и пороках общества. Иногда (как, например, в «Дине») ужасное убийство является мстью за имущественное неравенство, актом чудовищного возмездия — убийца прямо говорит об этом своей жертве. Устами негодяя автор еще раз бросает обвинение обществу и вскрывает немаловажные происходящие в нем процессы.

Убийство — результат общественного строя. С такой точки зрения можно понять и то, что автор отождествляет себя со своим героем, который оказывается убийцей. Преступник — единственный порядочный человек на свете, потому что это «идейный» преступник, и, конечно, он лучше прокуроров, торговцев и судей. К такому заключению пришла в 1830-е годы теория «благородного разбойника», родившаяся в предреволюционном XVIII веке и воплощенная в бесчисленных образах всех европейских литератур.

Это было вполне в духе 30-х годов. Антони в одноименной драме Александра Дюма (1831) убивает свою возлюбленную, вызывая бурные восторги зрителей. Гюго нашел своего героя на каторге, и его Клод Ге сыграл свою роль в развитии общественной мысли. Корсиканский герой «Коломбы» Мериме убил человека и получил всеобщее одобрение, Жюльен Сорель, стрелявший в свою возлюбленную, вызывает к себе симпатию и бросает обвинение обществу, которое приговорило его к смерти. Предвосхищая свою Ламбель, которая влюбилась в разбойника и убийцу, Стендаль, скучавший в Чивита-Веккьи, утверждал, что единственные интересные в этом городе люди — каторжники. Во всех этих образах и парадоксах заключена идея, подсказанная действительностью, выраставшая в сознании тех, кто принужден был, не имея строгих общественных ориентиров, решать трудные нравственные проблемы.

6

В создавшейся к 1829 году революционной ситуации исторический роман утрачивает свое значение, и возникает острый интерес к современности. Чтобы понять возможности дальнейшего развития, нужно было знать сегодняшнюю Францию, расстановку сил, интересы и психологию различных классов. После революции современная тема стала господствующей. Расставаясь с историческим романом, французская литература приходила к повести, которая своим объемом и конструкцией отличалась от крупных и вместительных форм, господствовавших во время Реставрации. Критики утверждали, что современность лишена ярких контрастов, а, с другой стороны, слишком сложна и непостижима, и потому охватить ее всю целиком невозможно. Приходится изображать лишь отдельные ее фрагменты, не претендуя на большие итоговые исследования. Повесть считалась наиболее типичным и даже необходимым для современной литературы жанром.²¹

Но Борель берет сюжеты для своих повестей не только из современной жизни. В двух из них действие происходит в средние века, в двух дру-

²¹ Характеристику повести см. в замечательной статье В. Г. Беллинского «О русской повести и повестях Н. Гоголя» («Телескоп», 1835 г.): Беллинский В. Г. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1953.

гих — под тропиками в Латинской Америке, и только в трех — в современной Франции. Борель всегда интересовался историей и утверждал, что французское искусство средних веков и даже XVIII века более национально, оно полнее выражает своеобразие французского национального характера, чем современное зодчество, подражающее античности. Но в его повестях, даже исторических, нет того историзма, которым была проникнута литература эпохи Реставрации. В них вообще нет историзма, специфики эпохи, ничего того, чем жил исторический роман 20-х годов.

Но так же, как экзотические и современные, они разоблачительны и неистовы — в этом несомненное единство сборника. Всюду одни и те же люди в своих отношениях к злу и друг к другу. Все повести современны и в том смысле, что в них звучат злободневные темы и образы, подсказанные политической жизнью страны и получившие отклик в литературе. Здесь фигурирует палач, один из самых популярных литературных типов этого времени, врач, особенно привлекавший к себе внимание как раз в эти первые годы Июльской монархии, женщины, измены которых оправдываются их бесправным положением в обществе. Есть здесь воспоминания из «Эрнани», которого неоднократно явно и тайно цитирует Пасро, длинная тирада о зонтике — явный намек на Луи-Филиппа. В петиции, которую Пасро обращает к Палате депутатов, говорится о налогах, обсуждавшихся недавно в этой Палате, о тяжелом состоянии финансов, о скупости правительства, о газете «Конститусьонель», органе «золотой середины», о революционном обществе «На бога надейся, а сам не плошай» («Aide-toi, le ciel t'aidera»), которое в это время представляло серьезную опасность для правительства. Извозчик и Пасро поют испанскую песню контрабандиста, в то время очень полюбившуюся романтикам, цитирующуюся почти одновременно Виктором Гюго («Бюг-Жаргаль») и Альфредом де Виньи («Сен-Мар»).

Стиль повестей поражает контрастами. Местами он изыскан, живописен, полон нюансов в передаче настроений, красок и линий. В иных случаях встречаются бытовые и жаргонные слова, в зависимости от того, что подлежит изображению: состояние души студента-медика с целой симфонией переживаний или ревность кубинского плотника с его африканскими страстями. Речь в устах анатома Андреаса Везалия изобилует специальными словами, а разговор добродетельного палача-чиновника буржуазно деликатен. Герой последней повести сборника выражается байроническим слогом, несколько преувеличивая контрасты и употребляя неожиданные сравнения. Ритм речи разнообразен, даже капризен, полон толчков и неожиданностей. Иногда фраза растягивается на страницы, продолжая одну идею и одно сравнение, чтобы крепче вбить в голову читателю нужную мысль и вызвать соответственное настроение.

Анализируя сюжет и речь, можно было бы более или менее точно определить дату написания каждой повести, причем одними из самых ранних, пожалуй, нужно было бы признать «Дину» и «Жака Баррау»,

напоминающих аналогичные сюжеты и стиль дореволюционного периода, а самыми поздними — «Пасро» и «Шампавера», созревших в атмосфере полного «неистовства».

Но так или иначе, повсюду живет, движет сюжетом и речью ирония, быстро развивающаяся от первых повестей до последних. Смысл в том, чтобы осмеять надежду, доверие к людям и судьбе и тем самым придать жестоким событиям и чувствам характер обыденности, всеобщности и неизбежности.

Встречается чистая патетика, почти лишенная иронии, — ее особенно много в «Дине». Много ее и в последней повести, самой свирепой. Очевидно, автор хотел оправдать теорию ненависти, подробно излагаемую его героем, и поступки, которые иначе показались бы еще менее правдоподобными.

Издевательство и насмешка становятся почти веселыми, когда речь идет о современных мещанах, их быте и умственных навыках. Но это сравнительно редкие случаи: Борель не бытописатель, и душа героев его беспокоит больше, чем условия ежедневного существования банкиров и бакалейщиков.

Несмотря на мрачный характер повестей, они захватывают читателя. Герои постоянно действуют, даже тогда, когда делать им, казалось бы, нечего. Читатель чувствует, что все непременно закончится трагически, но как именно, догадаться невозможно.

7

«Неистовство» наложило свою печать едва ли не на всю литературу первой половины 30-х годов. Жестокие сюжеты, кровавые сцены, злая ирония были характерны для этой школы, но это были вторичные признаки, а не конститутивные и основные. Было и тихое отчаяние, и уход в пустыню. Иногда герои кончали самоубийством или погибали на гильотине, в других случаях искали спасения в лоне церкви или превращались в мещан, становились завоевателями или министрами. Многие писатели, художники и музыканты не нашли выхода из своего «неистовства», другие обрели спасение в новых философских системах или в общественно осмысленном труде. Из тех, кто сохранил себя для творчества, некоторые вспоминали дни своего «неистовства» с умилением и восторгом, как например Готье, Бушарди, Флобер, угадывая в нем сердечный пыл, личную неукротимость и самоотверженную любовь к искусству. Другие, как например Жорж Санд, думали о нем с отвращением и ужасом, потому что видели в нем болезненный индивидуализм, презрение к человечеству и заботу о собственном благе.

«Иногда люди бывают правы в двадцать пять лет и заблуждаются в шестьдесят, — писал Готье, подступая к порогу старости. — Не нужно отрекаться от своей молодости. В зрелые годы человек осуществляет

мечты своих юных лет». ²² Однако «исполнение желаний» в прямом смысле слова было иллюзией. Все, когда-то мечтавшие о неслыханном и невозможном, пережили более или менее значительную эволюцию и в зрелом возрасте осуществляли совсем не то, чего хотели в юности. Процесс созревания был не столько продолжением старых буйств, сколько открытием новых путей.

Пожалуй, можно было бы сказать, что литература была больна, но в болезни этой заключалось некое здоровое начало. У «неистовых» не было никакой программы, они не могли порекомендовать ничего, кроме одиночества, бездельности и самоубийства, но они опрокидывали теорию буржуазного благополучия, требовали внимания к вопросам, о которых нельзя было забывать, и будили от спячки тех, кто мог думать и идти вперед.

В 1836 году Пушкин писал, что «словесность отчаяния» уже «начинает упадать даже и во мнении публики». Он был прав. В середине 30-х годов наступал кризис «неистовства»: конец его пришел вместе с началом новой эпохи.

Заканчивалась пора восстаний, сопротивление новому буржуазному порядку было сломлено, Июльская монархия восторжествовала на обломках революции. Сен-симонисты и тайные общества были разогнаны, ткачи и ремесленники предоставлены своей судьбе, повстанцы и заговорщики перебиты, сосланы и заключены в тюрьмы, введена цензура и укреплен полицейский надзор. Богоискатели перестали придумывать новые религии, а мелкобуржуазные реформаторы рассчитывали на мгновенное решение социальных вопросов. Все это как будто должно было привести прогрессивные круги общества к крайнему пессимизму. Однако произошло нечто прямо противоположное. Отказавшись от восстаний и баррикадных боев, республиканцы и левая оппозиция приняли метод борьбы, который в данный момент казался более перспективным. «Апрельские заговорщики», разбитые в уличных боях, выиграли битву на суде, в Палате пэров, их осудившей (1835). Речи обвиняемых и защитников имели больший успех, чем вооруженное восстание. Это вдохновляло на борьбу, хотя и лишало надежд на скорое свержение строя.

Со второй половины 30-х годов вместе с периодом «министерских кризисов» наступала пора внимательного анализа действительности и конструктивной работы мысли. Писатели нащупывали пути, которыми двигалось общество, и изображали его в индивидуальных судьбах, в тонких деталях, в сложных художественных построениях. Нравственные проблемы решались осторожно и в связи с проблемами социальными. Возникали новые методы изображения той истины, которая казалась самой лучшей и самой истинной. Повесть, господствовавшая в первой половине десятилетия, сменилась большим романом из современной жизни, заимство-

²² G a n t i e r Théophile. Histoire du romantisme. ..., p. 83.

вавшим опыт исторического романа и философской повести одновременно. Мрак, царивший в «неистовой» литературе, уже пронизывали первые лучи действенной, научно-обоснованной мысли.

Стендаль, после «Красного и черного» на несколько лет ушедший в воспоминания о только что закончившейся эпохе, в 1834 году пишет огромный роман, герой которого Люсьен Левен пробует все специальности и формы труда, чтобы найти наиболее полезную для страны деятельность. Бальзак, детальнее чем кто-либо анализировавший Францию XIX века, пытался найти в ней силы, которые могли бы спасти от абсолютного господства капитала и разнузданного эгоизма имущих, чтобы в динамике общественных процессов сохранить нравственную константу. Ламартин нашел выход из пассивной меланхолии 20-х годов в действенном пантеизме художественного и общественного плана. Альфред де Виньи, констатируя бездорожье современности и ощущая огромный подъем интеллектуального творчества масс, приходил к «религии чести», к стоической деятельности на пользу «чистому духу» ради спасения человечества от корысти и аморализма. Гюго, углубляя свой демократизм широким приятием мира, понятого как развитие в борьбе, говорил в своем творчестве о пороках общественной системы, которые необходимо было устранить государственными мерами. Жорж Санд, отвергнув индивидуализм, отказавшись от презрения к «толпе» и поисков невозможного совершенства, пришла к оправданию действительности ради заключенного в ней будущего и искала в низах общества ростки нравственности, которая создаст новые формы общежития. Флобер, в юности понимавший мир как хаос и бессмыслицу, убеждался в том, что его «бесчеловечную» закономерность можно преодолеть познанием, сочувствием и искусством. Готье вышел из «неистовства» в «чистое» искусство, скорее отстранившись от жизни, чем вступив в нее, и пытался найти в мире вещей и ощущений абстрактную красоту, свободную от мысли, цели и движения. Гонкуры, отдав дань отрицанию и отчаянию, преодолевали его, прозревая в физическом и нравственном безобразии действительности «голубой цветок», вырастающий в душе оскорбленных и задавленных жизнью одиночек.

Все это были разные пути, подсказанные противоречиями эпохи и усилениями быющихся в ней людей. Но при всем несходстве точек зрения было в этом разнообразии нечто единое: страстная жажда познания непостижимой действительности, симпатия к бедствующему в ней человеку, жажда сострадания и поиски чего-то лучшего, более или менее угаданного и утвержденного мыслью и опытом.

Вышел ли Петрюс Борель из своего «неистовства»? Попытки к этому можно обнаружить в последнем его произведении «Мадам Путифар».

Действие его начинается в середине XVIII века и заканчивается революцией 1789 года. Библейский миф рассказывает о том, как жена египетского пачальника Путифара соблазнила Иосифа Прекрасного и, потер-

пев неудачу, стала его преследовать. Та же ситуация повторяется в романе. Мадам Путифар — это мадам де Помпадур. Соответственно Людовик XV называется Фараоном. Сюжет, при всем его кажущемся неправдоподобии, воспроизводит исторический факт — судьбу некоего ирландца капитана Макдонага.²³ В романе рассказываются приключения ирландца Патрика Фиц-Уайта и англичанки Деборы Кокермут, браку которых мешали сословные и религиозные предрассудки ее отца. Оба бежали из Англии во Францию и стали жертвой злословия. Патрик оказался в роли Иосифа, отверг настояния мадам де Помпадур и за это подвергся гонениям, а Дебора отказалась от предложений какого-то маркиза, а затем и самого короля и этим усугубила свои бедствия. Наконец произошла революция. Толпа освобождает из Бастилии Патрика, прошедшего много лет в тюрьмах, Дебора находит его в состоянии полного безумия и тут же умирает. Ее сын, который хотел отомстить маркизу за своих родителей, погибает от его руки.

Но, несмотря на все эти ужасы, роман заключает в себе и нечто новое — философско-исторический оптимизм и нравственное поучение. Страдания двух благородных людей в дореволюционном обществе — вина эпохи. Вина должна быть искуплена, и общество, совершающее столь страшные преступления, уничтожено. Но это результат длительного исторического процесса, в котором участвует народ. Личная месть не приведет ни к чему — в романе эта мысль проведена с достаточной ясностью. В заключительных страницах звучит оптимистическая нотка. Существует развитие, совершенствование, нравственная идея, осуществляющаяся в истории. Возмездие и награда не могут быть возданы каждому человеку, но исторический процесс в целом выполняет миссию судьбы и ведет человечество к более совершенным цивилизациям. Эта мысль отсутствовала в «Шампавере». Она могла возникнуть только позднее, когда зло потеряло свой абсолютный смысл и вновь стало понятием историческим, меняющимся вместе с временем.

Можно было бы найти в романе и другой, более конкретный вывод. Июльская монархия повторяет монархию Людовика XV, хотя и в ослабленном виде, потому что содержит в себе меньше зла. Преступления Июльского режима, голод рабочих, прибыли банкиров, легальное воровство торговли, легальные убийства суда когда-нибудь вызовут новую революцию, а вместе с нею придет возмездие и искупление. В романе эта мысль ясно не формулирована, но все, что в нем изображено, подсказывает такое заключение.

²³ Эта история рассказана в газете известного революционного деятеля Камилля Демулена «Французская и Брабантская революция» (1789). См.: Claretie Jules. Camille Desmoulins, Lucile Desmoulins et les Dantonistes. Paris, 1872, и предисловие того же автора ко второму изданию «Madame Putifar» (1877).

8

Тесно связанное с Июльской революцией и революционными настроениями, творчество Петрюса Бореля, полное отращения к буржуазии и мешанам, не вышло за пределы мелкобуржуазной идеологии. Вместе с тем оно необычайно показательно и даже типично для этой прослойки.

Революция была для Бореля утверждением свободы. Как понимал он эту свободу?

Уже во время Великой французской революции свобода понималась по-разному. Было два понятия, обозначавшиеся одним словом: свобода античная и свобода современная. Первая заключалась в том, чтобы принимать участие в управлении государством. Вторая — в том, чтобы как можно меньше от него зависеть. «Древние законодатели сделали все для государства, — писал Сен-Жюст в 1791 году, — Франция сделала все для человека... Права человека погубили бы Афины и Лакедемон; там думали только о дорогой родине, ради нее забывали о себе. Права человека укрепляют Францию; здесь отечество забывает себя ради своих детей».²⁴ В теории эту точку зрения приняли все, потому что для буржуазного общества она была единственно приемлемой. Об античной свободе, особенно после якобинской диктатуры, вспоминали редко и только в моменты практической надобности.

Новое понятие свободы, которое развивалось либералами эпохи, было проникнуто индивидуализмом. Это была не столько свобода народа, сколько свобода личности — абстрактной, не связанной с обществом никакими нравственными узами и отвергающей все общественные обязанности как посягательство на ее достоинство и ее права.

Такая личность стремилась к отчуждению от других и к одиночеству. Требования, какие она предъявляла к революции и к обществу, не могли быть удовлетворены, так как свобода без обязанностей невозможна. Поэтому после первых же месяцев революции эта личность почувствовала себя в неволе. Пытаясь освободиться от обязанностей, она неминуемо должна была почувствовать ненависть к обществу в целом и к живущим в нем людям, которые налагают на каждого человека бремя долга и нравственной ответственности. Так начинается пытка мизантропии, которая не кончится, пока человек будет полагать свое счастье в абсолютной, анархической, невозможной свободе.

Так же понималась функция искусства. Оно тоже должно быть свободным — сперва от правительства и редакторов, потом от общественного мнения и, наконец, от обязанностей по отношению к обществу. Это — движение от разоблачительного искусства к «чистому» и вместе с тем

²⁴ Saint-Just. *Esprit de la révolution et de la constitution de France (1791)*. — *Oeuvres complètes*, t. I. Paris, 1908, p. 265.

бегство от действия к мысли, так как в сфере мысли меньше столкновений, борьбы, опасностей и жертв, чем в сфере действия.

Одиноким человек, который ненавидит людей из любви к человечеству, ищет идеала, созданного по собственной мерке. Он не находит в мире ничего достойного внимания, кроме собственной страдающей личности, и потому единственное спасение видит в самоубийстве. Это логический конец, почти обязательный в теории и нередко осуществлявшийся на практике. В творчестве Бореля этот путь пройден с начала до конца и отражен во всех его фазах.

Отмечая столетие со дня смерти Петрюса Бореля, критик Клод Авелин назвал его «нашим отцом».²⁵ Но не следует преувеличивать. Индивидуалистически понятая свобода никогда не была ведущей силой больших революций, менявших пути человеческих обществ. Анархический индивидуализм никогда не мог вызвать политических акций крупного плана, и только ощущение плеча, солидарность огромных человеческих масс двигали общество по неизбежным путям исторического развития. Бунтарь-одиночка, замкнувшийся в своем бунте как в крепости или пустыни, не находит выхода в реальное, большое действие.

Повести «человековолка» беспощадны к современному ему обществу, остроумны в своей критике и художественно выразительны. Это протест против того, что предложила миру новая форма буржуазной несправедливости, и вместе с тем отчетливое выражение индивидуалистического сознания, заблудившегося в отрицании и не нашедшего пути в будущее.

Ненависть к июльскому режиму помогла Борелю обнаружить в возникающем буржуазном обществе его основные пороки, но вместе с тем привела его к дискредитации самих принципов общественного существования. Не найдя в себе нравственной энергии, чтобы вступить в борьбу, и умственных сил, чтобы найти для нее точку опоры, ликантроп не смог ни преодолеть свое отчаяние, ни выйти из своего убогого и трагического отщепенства. «Безнравственные рассказы» свидетельствуют о том, что абстрактная и бездейственная любовь к человеку может перейти в человеконенавистничество, свобода оказаться неволей, а критика капиталистического общества без подлинного понимания будущего превратиться в проповедь имморализма.

В этом плане «Безнравственные рассказы» и до сих пор сохраняют всю свою современность.

²⁵ Aveline Claude. Notre père Pétrus Borel. Evocation radiofonique. Mercure de France, septembre, 1959.

ПРИМЕЧАНИЯ

«Шампавер» вышел в свет в 1833 году в издательстве Рандюэль. Почти все книги, выпускаемые издателем Эженом Рандюэлем, имели на титульном листе виньетку, иллюстрирующую какой-нибудь из ярких эпизодов произведения. Виньетка «Шампавера» изображала финальную сцену рассказа об Андреасе Безалии. Во Франции рассказы Бореля были переизданы только один раз: в 1922 году «Шампавер» стереотипно перепечатывается в трехтомном собрании сочинений Бореля (P. Vogel. Oeuvres. Edition «La Force Française», Paris, 1922, 3 vol.).

ЗАМЕТКА О ШАМПАВЕРЕ

¹ ... *Клотильды де Сюрвиль никогда не существовало*... — Это имя в 20-е годы было предметом споров: действительно ли в XV веке существовала такая поэтесса и были ли подлинны ее стихи, опубликованные в 1803 и в 1823 годах? (Poésies de Marguerite-Éléonore-Clotilde de Vallon-Chalys, dame de Surville, publiées par Vanderbourg. Paris, 1803; Poésies inédites de Clotilde de Surville, publiées par Ch. Nodier et de Roujoux. Paris, 1823). Оба издания печатались по копиям, якобы снятым с рукописей поэтессы, однако самих рукописей никто никогда не видел. На мысль о возможности литературной мистификации наводил также особенности стиля опубликованных произведений. Среди усомнившихся в подлинности этих изданий был и Сент-Бев. Впоследствии было установлено, что это подделка, совершенная Жозефом-Этьеном де Сюрвиль (1755—1798).

² ... *переписка Ганганелли и Карлино*... — Ганганелли, Антонио (1705—1774), избранный на папский престол в 1769 году, принял имя Клементя XIV. Карлино (настоящее имя Карло Бертинацци, 1713—1783) — знаменитый актер итальянской комедии, имевший шумный успех во Франции, куда он приехал в 1737 году. В 1827 году литератор Анри де Латуш публикует «Переписку» папы и актера, которых, судя по этим письмам, связывала давняя, еще с юности, дружба (Clément XIV et Carlo Bertinazzi, Correspondance inédite. Paris, 1827). По поводу этой «Переписки» во Франции было много споров как в момент появления книги де Латуша, так и в последующие годы. Легенда эта ожила и на подмостках французских театров. В 1831 году в театре Амбигю шла пьеса «Арлекин и папа», а в Варьете — «Карлино в Риме». Мистификация де Латуша, выполненная с большим искусством, имела успех, и в 1840 году «Переписка Клементя XIV и Карло Бертинацци» переиздается.

³ *Жозеф Делорм* — герой книги «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма», опубликованной в 1829 году Шарлем-Огюстеном Сент-Бевом и содержащей якобы посмертные произведения некоего молодого поэта, которого чахотка «спасла» от самоубийства. Книга Сент-Бева также была одной из многочисленных в 20-е годы литературных мистификаций.

⁴ *Ликантроп* — слово греческого происхождения, буквально означающее «волко-человек». Во французском языке слово lycanthrope является ученым синонимом обще-

употребительного *loup-garou* — «оборотень». Оборотни фигурируют в народных суевериях начиная со средних веков. Позднее они становятся даже предметом «научного» исследования. Так, в XVI веке появились «Рассуждения о ликантропии или о превращении людей в волков» Бовуа де Шовенкура (*Beauvoys de Chauvincourt. Discours de la lycanthropie ou de la transmutation des hommes en loups. Paris, 1599*) и «Диалоги о ликантропии» Клода де Лавалья (*Claude Prieur de Laval. Dialogues de la lycanthropie. [s. l.], [s. a.]*). Сведения о ликантропах даются также в «Словаре суеверий» Коллена де Планси (*Collin de Plancy. Dictionnaire infernal. Paris, 1818*). Подозревая «оборотней» в колдовстве и считая их виновниками многих несчастий, их преследовали, стремясь разоблачить, и нередко убивали. Церковь и правосудие выступали как «защитники народа от колдунов», и общество по сути дела причиняло этим людям значительно больше зла, чем могли причинить ему они сами. Вот почему слово «оборотень» стало обозначать не только «колдуна», но и человека, отверженного людьми и ненавидящего их. В драме Мериме «Жакерия» разбойники называют себя волками, а их предводитель именуется Оборотнем. Именно этот, второй смысл слова «ликантроп» важен для Бореля: «ликантроп» обозначает у него человека, ожесточившегося против общества.

⁵ *Борель де Кастр*, Петрюс (1620—1689) — французский ученый: медик, химик, антиквар. С 1653 года — придворный врач Людовика XIV. Фамильное родство с этим известным историческим лицом, как и все намеки на древнюю генеалогию семьи Бореля, ничем не подтверждается, хотя мысли об этом занимали не только самого писателя, но в еще большей степени его младшего брата Андре Бореля, который занимался историей и геральдикой и присоединил к своему имени аристократическое д'Отерив.

⁶ *Борель, Жак* — о писателе Жаке Бореле сведений не обнаружено.

⁷ *Сегузия* — часть Галлии, занимавшая некогда территорию теперешних департаментов Роны и Луары. Лион, родина Бореля, был одним из трех самых значительных городов Сегузии.

⁸ *Делорм, Филибер* (1515—1570) — французский архитектор, с именем которого связано установление стиля Ренессанс во французской архитектуре. Филибер Делорм был автором многих известных сооружений (дворца Тюильри, Медонского замка, некоторых построек в Фонтенбло и др.), а также нескольких трактатов об архитектуре.

⁹ *Мартель-Анж, Этьен* (1569—1641) — французский архитектор, построивший ряд зданий в Париже, Лионе, Авиньоне по заказу ордена иезуитов.

¹⁰ *Сервандони, Джованни* (1695—1766) — архитектор и художник, итальянец по происхождению, прославившийся во Франции и работавший также в Лионе.

¹¹ *Одран, Жерар* (1640—1703) — французский гравер, родившийся в Лионе и принесший европейскую известность династии потомственных граверов XVII—XVIII веков.

¹² *Стелла, Жак* (1596—1657) — французский художник родом из Лиона, получивший титул придворного живописца.

¹³ *Куазевокс, Антуан* (1640—1720) — французский скульптор, тоже родом из Лиона.

¹⁴ *Кусту, Николá* (1658—1733) — известный французский скульптор. Его брат Гийом Кусту (1677—1746) и сын последнего Гийом Кусту младший (1716—1777) также были скульпторами, и все трое родом из Лиона.

¹⁵ *Балланш, Пьер-Симон* (1776—1847) — французский философ, уроженец Лиона. Идея Балланша была весьма популярна в первые десятилетия XIX века.

¹⁶ ... с семнадцатилетнего возраста носил длинную бороду... — в эпоху Реставрации (1815—1830) бороду носили только немногочисленные «чудаки», к которым принадлежал и Шампавер (т. е. сам Борель). Уже в середине 20-х годов Борель таким способом выражает свое презрение к царящим в обществе вкусам и свою независимость. После Июльской революции (1830), изменившей многое в нравах общества, борода начинает входить в моду, и это новшество особенно привлекает демократически

настроенных поборников «политики движения». Для Бореля и теперь, после революции, борода — не просто украшение, но своеобразный вызов обществу июльской монархии — так же, как его жидет à la Робеспьер и перчатки «цвета королевской крови», которыми он бравировал. Со всеми этими атрибутами непримиримого республиканца и в трехцветном обрамлении Борель был изображен на портрете художника Наполеона Тома (Napoléon Tom), выставленном в Салоне 1833 года.

¹⁷ Сен-Симон, Анри де (1760—1825) — французский философ и экономист, представитель утопического социализма. После смерти Сен-Симона его последователи добавили немало нового к его учению. Сен-симонисты прославились дерзкими выступлениями, критикующими все принципы современного общественного устройства: экономические, политические, нравственные. Особенно деятельно они проявили себя после Июльской революции 1830 года.

¹⁸ Святой Бруно — основатель монашеского ордена картезианцев (XI век). Имеются десятки картин разных художников, изображающих святого Бруно. Чаще всего это аскетическое лицо; бледное, изрытое морщинами, оно одушевлено верой и убежденностью.

¹⁹ Лакондамин, Шарль Мари де (1701—1774) — французский ученый, математик, геодезист. Любознательность Лакондамина простиралась далеко за пределы науки. Чтобы удовлетворить свое ненасытное любопытство, он готов был подвергать себя любым опасностям и в конце концов заплатил за него жизнью: Лакондамин согласился стать объектом опасного медицинского эксперимента, в результате которого он и умер.

²⁰ Гарно, Антуан Мартен (1796—1861) — французский архитектор, по проектам которого в 20-е годы были выполнены различные постройки во многих городах Франции: Лионе, Версале, Париже, Тулузе и др.

²¹ Многие даже смотрели на него, как на пророка кружка бузенго... — среди республиканцев, недовольных июльским режимом, был распространен обычай украшать свой костюм странными с точки зрения господствовавшей моды атрибутами: жилетом à la Марат, прической à la Робеспьер, перчатками «цвета королевской крови» и т. п. В числе таких деталей был и заимствованный из костюма моряков головной убор из лакированной кожи. Возможно, что его название bousingot и превратилось затем в прозвище группы дерзких молодых художников. Общество требовало от представителей искусства «хорошего тона», т. е. смирного поведения и умения развлекать «лавочников». В знак протеста против этого и возникает кружок бузенго, в который вошли писатели и художники, высказывавшие крайне демократические по тем временам взгляды: А. Девериа, Л. Буланже, С. Нантейль, Наполеон Том, Виньерон, Ж. Бушарди, А. Бро, О. Маке, Ф. о'Недди, Ж. Вабр, Дюсегье, Жерар де Нерваль. Центральной фигурой в кружке был Борель. В предисловии к «Рапсодиям» он приводит многие из этих имен как имена своих «соратников», среди которых, как он пишет, создавались эти стихи.

²² ... в их совместном труде... — очевидно, речь идет о книге «Les contes du bousingot, par une samaraderie», о которой сообщается на обложке второго издания «Рапсодий» 1833 года и которая так и не увидела света.

²³ ... «Рапсодии» Петрюса Бореля. — Сборник «Рапсодии», включавший 34 стихотворения молодого поэта, появился в 1831 году и поразил современников своим мрачным настроением. В «Рапсодиях» Борель впервые говорит о своем «ликантропизме», т. е. о ненависти к буржуа, «победителям» Июльской революции. Его стихи были встречены восторгом узкого круга единомышленников и презрением благополучных буржуа. Из журналов на появление книги откликнулось одно только «Revue Encyclopédique».

²⁴ ... как Метастазео, он очутился без крова, под открытым небом. — Скорее всего имеется в виду эпизод из жизни итальянского поэта Метастазео (настоящее имя Пьетро Трапасси, 1698—1782), когда он в 1721 году вынужден был, спасаясь от кредиторов, бежать из Рима в Неаполь, где в течение некоторого времени, будучи еще неизвестным поэтом, он жил лишь на то, что зарабатывал своим творчеством.

25

... как Мальфилатра голым
Пусть увидит вск меня! —

Мальфилатр, Шарль Лун де Кленшан де (1733—1767) — французский поэт, умерший в безвестности и нищете. Посмертной популярностью своей он в значительной мере обязан стихам своего современника Жильбера (1751—1780), судьба которого напоминает судьбу Мальфилатра. В 1805 году во Франции издаются «Сочинения» Мальфилатра. В Париже 30-х годов, когда фигура бедствующего и гибнущего поэта больше, чем когда-либо, привлекает к себе внимание читающей публики, в литературе часто вспоминают Мальфилатра, Жильбера, Чаттертона. В книге Альфреда де Виньи «Стелло. Консультации Черного Доктора» (1832) трагическая судьба поэтов разных эпох ставится в вину обществу. Борель же в духе своего собственного мировосприятия поднимает Мальфилатра, малозначительного поэта, на высоту протестующего против общества, непримиримого и предельно откровенного художника.

²⁶ *Иов* — библейский персонаж, человек, которого бог, чтобы испытать его веру, подвергает самым ужасным бедствиям.

27

... все твоё богатство:
В лохмотьях плащ, кинжал... —

Борель считал, что кинжал должен быть неизменным спутником поэта. Это орудие справедливого возмездия и борьбы. Тотчас после революции 1830 года, когда еще свежи в памяти июльские события, когда в Париже одно за другим происходят новые столкновения — нападение на аббатство Сен-Жермен Л'Оксерруа, баррикадные бои на улице Клауатр Сен-Мерри — Борель воспеваёт обогранный кровью кинжал:

Dors, mon bon poignard, dors, vieux compagnon fidèle,
Dors, bercé par ma main, patriote trésor,
Tu dois être bien las? Sur toi le sang ruisselle
Et du choc de cent coups ta lance vibre encore.

(Rhapsodies. Sanculotide)

(Спи, мой кинжал, спи старый верный друг, спи, сокровище патриота, рука моя баюкает тебя. Ты, должно быть, устал? На тебе еще видны следы крови, и твой клинок еще дрожит от множества нанесенных ударов. Рhapsодии. Санкулотиды.)

28

Когда тебя, Андре мой бедный, под конвоем
На казнь везли... —

имеется в виду Андре Мари Шенье (1762—1794) — выдающийся французский поэт, погибший на гильотине. До 1819 года, когда впервые появились его «Сочинения», изданные Анри де Латушем, А. Шенье был почти неизвестен во Франции. Затем, в 20—30-е годы, его литературная и общественная судьба становится предметом внимания в критике (Шарль-Огюстен Сент-Бев, Франсуа Вильмен, Виктор Гюго, Гюстав Планш) и в художественных произведениях (роман Альфреда де Виньи «Стелло. Консультации Черного Доктора»).

²⁹ *Я стал республиканцем потому, что не могу быть караибом...* — т. е. не могу пользоваться безмерной свободой.

³⁰ *Под этими стихами стоит подпись большого поэта...* — цитируемые Борелем стихи, очевидно, написаны им самим, а ссылака на «большого поэта, которым гордится Франция», по-видимому, лишь продолжение литературной мистификации, элементами которой пронизана книга.

³¹ «*Ла Трибюн*» — в начале 30-х годов газета левых республиканцев.

³² *Кофейня «Прокон»* — первое литературное кафе в Париже, открывшееся в конце XVII века и особенно знаменитое в XVIII веке. Его посещали Мармонтель, Вольтер, Дидро, Руссо, Марат, Робеспьер, Дантон. Рассуждая о проблемах политики, философии, религии, посетители этого кафе иногда прибегали к специальному аргументу,

ному только для посвященных, чтобы получить возможность свободно высказывать свои мысли. В XIX веке кафе «Прокоп» остается популярным в литературной среде.

³³ ...возле могилы Элоизы и Абеяра... — Абеяра, Пьер (1079—1142) — известный средневековый богослов и философ. Абеяра был в апогее славы, когда он полюбил Элоизу, свою ученицу. Элоиза пережила Абеяра на 22 года и была похоронена вместе с ним. В 1817 году их останки были перенесены на кладбище Пер-Лашез (Мон-Луи — старое название территории Пер-Лашез).

³⁴ Сангина — карандаш без оправы, различных оттенков красного цвета (от лат. sanguineus — кровавый).

³⁵ Петрарка, Франческо (1304—1374) — знаменитый итальянский поэт; поэма «Торжество времени», стихи 61—63.

³⁶ Не сыпать пух в ответ, вниз, с Луврского балкона,
На безоружную толпу! —

Имеется в виду, очевидно, один из эпизодов Июльской революции 1830 года. Лувр охранялся полками швейцарцев, которые были более надежными защитниками короля, чем французские солдаты. 29 июля, когда массы восставших устремились к Лувру, они были встречены огнем швейцарцев, укрывшихся в колоннаде дворца.

³⁷ Беккария, Чезаре (1738—1794) — итальянский философ, юрист и публицист. Беккария был первым человеком в Европе, поднявшим вопрос об отмене смертной казни. Его трактат «О преступлениях и наказаниях» привлек всеобщее внимание и повлиял на законодательство многих стран в XVIII—XIX веках.

ГОСПОДИН ДЕ ЛАРЖАНТЬЕР, ОБВИНИТЕЛЬ

¹ ...Филлиды жениха... — древнегреческий миф рассказывает о любви афинского царя Демифонта и фракийской царевны Филлиды. Они были обручены, но Демифонт, вынужденный вернуться в Афины, не приехал к назначенному сроку. Филлида в отчаянии лишила себя жизни.

² ...безутешного Титира пастуха... — Титир — персонаж «Буколик» Вергилия.

³ Буколики, или буколическая поэзия — жанр античной литературы, поэтически изображавший картины пастушеской и сельской жизни. Крупнейшими поэтами в этом жанре были Феокрит и Вергилий.

⁴ «Георгики» («Поэма о земледелии») — дидактическая поэма Вергилия.

⁵ Иль шестистопный стих Энея б вел рассказ... — имеется в виду поэма Вергилия «Энеида», написанная шестистопным стихом, т. е. античным гекзаметром. Троянскому герою Энею было суждено основать новое государство. Выполняя волю богов, Эней совершает долгое и полное приключений путешествие по Средиземному морю к берегам Италии, о котором рассказано в поэме.

⁶ Орсо, Бартелеми (1812—1896) — французский историк, философ и литератор. В юные годы печатался в газете «Ла Трибюн». Автор книги «Гора» («La Montagne», 1834), посвященной Великой французской революции.

⁷ Борель, Андре (1812—1896) — младший брат Петрюса Бореля, занимавшийся историей и геральдикой и сотрудничавший в газете «Либерте», которая была основана П. Борелем в 1832 году.

⁸ Людовик XV (1710—1774) — король Франции с 1715 по 1774 год.

⁹ ...эпохи Людовика XV, которую поборники целого римского классицизма язвительно прозвали «рококо». — Делая содержанием целой главы убранство жилища времен Людовика XV, Борель вовсе не стремится поддержать традицию «топографических» описаний исторического романа. В нарисованной им картине он ищет не «местного колорита», а средство оправдать забытое его современниками искусство XVII—XVIII веков. Галантную живущие эпохи Людовика XIV и Людовика XV

он противопоставляет, как истинно французское искусство, искусству подражательному. В рококо выразился дух эпохи, тогда как академическая живопись дает «невещественные копии античности» и поэтому не только чужда французскому национальному духу, но и бесплодна. Вот как Борель изображает приверженцев академического искусства в стихотворении «Дорогу молодым!» («Place aux jeunes!», 1830):

Fabricateurs à plat des Romains et des Grecs,
Lauréats, à deux mains retenant la couronne,
Qui, caduque, déchoit de leur front conspié,
Gauchement ameutés et grinçant sur leur trône,
Contre un âge puissant qui sur eux a rué!

(Бездарные подражатели римлянам и грекам, лауреаты, обеими руками поддерживающие увядший лавровый венок, который падает с их презренного чела, в смятении скрежещущие зубами против могучего поколения, которое надвигается на них.)

Через год, когда представленная художником Луи Буланже картина «Бальи, идущий на казнь» («Bailli marchant à la mort») была отвергнута потому, что ее автор «пренебрег красотой» в косном академическом понимании этого слова, Борель пишет сатиру «Об отвергнутой картине» («Sur le refus du tableau»), где снова выступает как сторонник искусства, не скованного псевдоклассическими нормами.

¹⁰ Эрехтейон — замечательное произведение древнегреческой архитектуры, остатки которого сохранились в Афинах. Эрехтейон знаменит тем, что в нем впервые в истории искусства встречаются кариатиды, т. е. статуи, поддерживающие отдельные части архитектурного сооружения и выполняющие таким образом роль колонн или пилястр.

¹¹ Храм Антонина и Фаустины. — Антонин — римский император (II век н. э.), Фаустина — его жена. После смерти Фаустины император приказал воздвигнуть храм ее имени. Впоследствии храм стал называться храмом Антонина и Фаустины.

¹² Виньола, Джакомо Бароцци (1507—1573) — итальянский архитектор. Ему принадлежат несколько значительных сооружений в Риме и других городах. Виньола был строителем Собора святого Петра после Микеланджело.

¹³ ... подражанием дурацкому пестумскому зодчеству... — Пестум — город в Италии, существовавший с VI века до н. э. по X век н. э. Об архитектуре этого города можно судить по сохранившимся развалинам нескольких памятников: амфитеатра, храма Нептуна и другим сооружениям, выполненным в дорическом стиле.

¹⁴ Ватто, Антуан (1684—1721) — знаменитый французский художник и гравер. Излюбленные сюжеты его картин — пасторальные и галантные сцены.

¹⁵ Ланкре, Николà (1690—1743) — французский художник, ученик и последователь Ватто.

¹⁶ Ванлоо, Карл (1705—1765) — нидерландский художник, причисляемый к французской школе.

¹⁷ Ленотр, Андре (1613—1700) — известный в XVII веке садовый декоратор. По его проектам были разбиты многие знаменитые парки: Версальский, Тюильри, парки в Шантильи, Сен-Клу, Медоне и др.

¹⁸ Риго, Ясент (1659—1747) — французский художник, прославившийся как портретист и автор исторических картин.

¹⁹ Буше, Франсуа (1703—1770) — один из известнейших художников французской школы XVIII века.

²⁰ Эделинк, Жерар (1640—1707) — фламандский гравер, живший во Франции и пользовавшийся покровительством Людовика XIV.

²¹ Удри, Жан-Батист (1686—1755) — французский художник и гравер.

²² Франш-Конте — одна из старых французских провинций, которая находилась на востоке страны и занимала территорию теперешних департаментов Ду, Юра и Верхняя Сона.

²³ Оба они, одетые во все черное, походили на врачей... — в начале XIX века врачи продолжали одеваться в черное, как это было принято еще в средние века. Лишь изменившиеся в середине XIX века представления о гигиене заставили их сменить черное платье на белый халат.

²⁴ Гревская площадь в Париже в течение пяти веков (1310—1830) была местом, где совершались казни: дворян обезглавливали, простолудинов вешали, а с 1792 года здесь появляется гильотина.

²⁵ Брут, Марк Юний (86—42 годы до н. э.) — глава республиканского заговора, в результате которого был убит Юлий Цезарь.

²⁶ Хемпден, Джон (1595—1643) — деятель английской буржуазной революции XVII века, борющийся за ограничение королевской власти. Во время гражданской войны он возглавлял один из лучших полков парламентской армии.

²⁷ — Разрази тебя все громы папаша Дюшена! — Папаша Дюшен был в эпоху Великой французской революции популярным персонажем, созданным фантазией журналистов, с помощью которого демократы эпохи стремились сделать более доходчивыми для народа свои идеи. Папаша Дюшен говорил простонародным и часто грубым языком, и излюбленным украшением его речи были крепкие словечки и выражения. Это имя стало нарицательным.

²⁸ ...аристотелевского единства места... — из трех знаменитых «единств» эстетики классицизма только два (единства действия и времени) были взяты из эстетики Аристотеля. Однако и третье — единство места, которого в эстетической теории Аристотеля не было, часто называли «аристотелевским».

²⁹ — А если бы недотрога разыграла Лукрецию? — Речь идет об известном эпизоде из истории Рима VI века до н. э. Угрозами принужденная изменить мужу, Лукреция рассказывает о своем позоре отцу и мужу и, заставив их поклясться, что они отомстят преступнику, сыну Тарквиния Гордого, убивает себя у них на глазах.

³⁰ ...заставил бы прекрасную Европу последовать за собой. — Один из античных мифов рассказывает о похищении Европы, дочери финикийского царя Агенора, Зевсом (Юпитером), явившимся в виде быка в то время, когда она играла с подругами на берегу моря.

³¹ Гамадриада — в древнегреческой мифологии лесная нимфа.

³² Кассандр и Арлекин — комические персонажи итальянской комедии дель арте. Кассандр — тип доверчивого и глупого старика, которого без особого труда обманывает лукавый, остроумный и ловкий Арлекин.

³³ Ты что, подписался на Шатобриана? — Французский писатель-романтик Шатобриан, Франсуа Рене де (1768—1848) был хорошо известен современникам рядом произведений, прославлявших христианство. Необычное для Бертолена благочестивое обращение к небу побуждает его друга иронически напомнить ему о Шатобриане.

³⁴ Бертен Антуан (1725—1790) — французский поэт. Под именем прекрасной Эвхаристы Бертен воспел свою возлюбленную.

³⁵ Парни, Эварист Дезире де Форж де (1753—1814) — французский поэт. Под влиянием страсти к Элеоноре Парни написал много стихов, составивших сборник «Любовные стихотворения» и заслуживших похвалу Вольтера.

³⁶ Эгерия — в римской мифологии нимфа-прорицательница.

³⁷ ...подобно дочери фараона... — намек на эпизод библейской легенды о спасении Моисея дочерью египетского фараона. Младенец, которому суждено было стать освободителем и законодателем иудеев, был найден египетской принцессой в камышах на Ниле, в просмоленной корзинке, куда его положила мать, надеясь тем самым спасти от избития, устроенного по приказанию фараона.

³⁸ Сенжерменское предместье в XVIII веке и в первой половине XIX века было самым аристократическим районом Парижа.

³⁹ Элоиза — см. «Заметка о Шампавере», прим. 33.

⁴⁰ Лавальер, Луиза Франсуаза де (1644—1710) — одна из фавориток Людовика XIV.

⁴¹ Корде, Мария Анна Шарлотта де (1768—1793) — французская дворянка, фанатичная сторонница жирондистов, совершившая убийство Марата и погибшая на гильотине.

⁴² Жозефина — Мария-Жозефина Ташер де Ла Пажерн (1763—1814) — французская императрица с 1804 по 1809 г., первая жена Наполеона.

⁴³ ... Сатурну, пожирающему собственных детей... — Сатурн — в античной мифологии бог земли, покровитель земледелия. Сатурн получил власть над миром, свергнув своего отца Урана. Ему было предсказано, что и его лишат власти собственные дети; боясь, чтобы предсказание это не исполнилось, он стал пожирать их, едва только они рождались на свет.

ЖАК БАРАУ, ПЛОТНИК

¹ Песнь песней 8, 6.

² Песнь песней 7, 4.

³ П. Л. Жакоб, Библиофил — псевдоним французского писателя Поля Лакруа (1806—1884), автора ряда трудов по истории и библиографии, а также многочисленных исторических романов.

⁴ Антильское море — ныне Карибское море.

⁵ Кубеба — растение из семейства перечных.

⁶ Касадор — по-испански cazador означает охотник.

⁷ Амада — по-испански amada — любимая.

⁸ Тафья — водка из тростникового сахара.

⁹ Сайя — изготавливаемая в Китае ткань и платье из нее.

¹⁰ Описывая сцену схватки и смерти обоих соперников, а затем изображая их трупы, Борель следует традиции «неистой» литературы 30-х годов. Однако, добавляя последний штрих к этой картине, т. е. заставив первого попавшегося буржуа взглянуть на нее, он акцентирует внимание на другом. При виде обезображенных и разлагающихся трупов неминуемо содрогнется каждый нормальный человек, но только не лавочник. Для него, для цивилизованного мещанина, негры — всего лишь товар, а эти мертвецы — товар уже ни на что не годный. И он равнодушно проходит мимо.

ДОН АНДРЕАС ВЕЗАЛИЙ, АНАТОМ

¹ Везалий, Андреас (1514—1564) — знаменитый фламандский ученый, занимавшийся анатомированием трупов вопреки запретам и преследованиям церкви и обогативший науку об анатомии человека важными открытиями.

² Пишо, Амеде (1796—1877) — французский литератор.

³ ... в очаровательном анатомическом рассказе, который вы, разумеется, читали в этом сборнике. — В 1832 году А. Пишо публикует в «Revue de Paris» рассказ «Трупосечение, анатомическая сказка», построенный на основе известного, но не имеющего никаких документальных подтверждений эпизода из жизни А. Везалия: однажды, когда анатом публично вскрывал чей-то труп, в мертвом теле якобы обнаружились признаки жизни. В рассказе Пишо жертвой оказывается любовник молодой жены Везалия, а сам хирург не только осуществляет научный эксперимент, но и мстит своему сопернику и неверной жене. «Анатомическая сказка» Пишо — дань моде. Анатомия в эти годы становится традиционной «неистой» темой. Кроме Бореля и Пишо, к ней обращаются Жюль Жанен, Альфред де Мюссе и другие авторы. Но если для Пишо это всего лишь развлечение благополучного человека, который хочет позабавиться страшной историей, коль скоро все — и писатели и публика — так увлекаются ужасами, то для Бореля этот сюжет имеет иной смысл: он не может не писать об ужасном так же, как «не может быть каранбом».

⁴ Филипп II (1527—1598) — испанский король с 1555 г.

⁵ ... Филипп Второй мирволит этому фламандскому псу. — Фламандец по про-

исхождению, Везалий с 1535 года становится придворным врачом Филиппа II. Однако в Мадриде он остается чужаком, иностранцем, к нему относятся с завистью и недоброжелательством. Инквизиция чинит препятствия его экспериментам, так как считает их богопротивным делом, а его самого — еретиком. Обвиненный в том, что один из своих анатомических опытов он будто бы произвел на живом человеке, Везалий был приговорен к смерти, от которой его спасло только вмешательство короля. Однако покровительство Филиппа II не могло быть для Везалия достаточно надежной защитой, так как время деспотического царствования этого короля стало «золотым веком» инквизиции (см.: В. Н. Терновский и А. Везалий. М., 1965).

⁶ Карл V (1500—1558) — император Священной римской империи с 1519 по 1556 год. Отец Филиппа II.

⁷ Сатурн — см. «Господин де Ларжантьер», прим. 43.

⁸ Танец Гольбейна — Гольбейн, Ганс (1497—1554) — знаменитый немецкий художник, автор серии рисунков под общим названием «Пляска смерти». В 20—30-е годы XIX века к этому средневековому сюжету обращается ряд писателей.

⁹ ... надрузалась над Христофором Колумбом. — Имеются в виду, очевидно, события 1496 года: испанцы, приехавшие на остров Испаньолу (Гаити), открытый Христофором Колумбом в 1492 году, посылают многочисленные жалобы испанскому королю на Колумба, назначенного губернатором. По приказанию специально присланного королевского комиссара Колумба арестовывают и в цепях отправляют в Испанию. Король пытается смягчить жестокость своего посланника, грозя наказать его и обещая Колумбу деньги. Однако губернаторские полномочия Колумбу так и не были возвращены, и последние годы жизни он, больной и измученный, провел в тщетных хлопотах о восстановлении своих привилегий. Смерть его осталась незамеченной.

¹⁰ ... казалось, что это мумия разматывает свои пелены. — Борель изображает Везалия глубоким стариком, хотя в действительности он едва дожил до 50 лет. Борель хочет усилить контраст, добавив к своей «неистой» истории еще один штрих.

¹¹ Мундин ди Люччи (ди Люцци) (1275—1327) — итальянский ученый, один из первых, кто не стал ограничиваться изучением старых трактатов и осмелился, вопреки запретам церкви, анатомировать трупы.

¹² Гален, Клавдий (130—200) — римский ученый, автор многих трудов по анатомии, математике, юриспруденции. В течение почти целого тысячелетия учение Галена об анатомии человеческого тела было своего рода догмой для ученых-медиков христианской Европы.

¹³ Гюнтер из Андернаха, Иоганн (1487—1574) — швейцарский ученый, читавший с 1527 года лекции по анатомии и хирургии в Париже. Везалий посещал эти лекции, а позднее сотрудничал с Гюнтером и был с ним в дружеских отношениях.

¹⁴ Франциск I (1494—1547) — король Франции с 1515 по 1547 г.

¹⁵ Академия Надписей и Литературы, основанная в 1663 году, — одна из пяти французских академий, составляющих Institut de France.

¹⁶ ... бессмертного академика Сорока Крессл и нескончаемого Словаря. — Каждая из французских Академий (кроме Académie des sciences, Академии наук) состоит из сорока членов, избираемых пожизненно. Самая древняя из них — Французская Академия, основанная в 1635 году, — своим важнейшим занятием считала составление фундаментального словаря французского языка «Dictionnaire de l'Académie Française». Словарь этот был издан в 1694 году и после этого много раз переиздавался в новых редакциях.

¹⁷ Везалий отправился в Палестину... — сведения об этом последнем путешествии Везалия и об обстоятельствах его смерти очень разноречивы. Борель использует данные одного из современников Везалия — Пьетро Биччари.

¹⁸ Фаллопий, Габриель (1523—1562) — итальянский хирург и анатом, ученик Везалия. Когда Везалий стал подвергаться гонениям, Фаллопий был единственным, кто открыто объявил себя его последователем и продолжал его опыты.

¹⁹ Бургав, Герман (1668—1738) — голландский ученый-медик, ботаник и химик; один из знаменитейших врачей XVIII века.

²⁰ Альбин, Бернард (1697—1770) — немецкий анатом, также очень известный в XVIII веке. В 1725 году Альбин и Бургав издали «Сочинения» Везалия в 2-х томах.

²¹ Первое издание книги «О строении человеческого тела», вышедшее в Базеле в 1543 году, было украшено рисунками не самого Тициана, а художников его школы.

THREE FINGERED JACK, ОБИ

¹ Александр Дюма-отец (1802—1870), «Карл VII среди своих вассалов», V, 5.

² Шекспир, «Король Иоанн», III, 4.

³ Андре Борель — см. «Господин де Ларжантьер», прим. 7.

⁴ Пикарун — разбойник, корсар.

⁵ Обимен — колдун.

⁶ ... в часы, что сочинители фортепьянных романсов торжественно именуют сумерками, а госпожа де Севинье попросту зовет «порой меж волком и собакой». — Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626—1696) — французская писательница, известная своими адресованными дочери «Письмами», в которых нашли отражение нравы светского общества. С точки зрения языка эти письма — образец прозы эпохи классицизма, однако госпожа де Севинье прибегает иногда к картинным народным выражениям. В числе их — и «пора меж волком и собакой» (*entre chien et loup*), т. е. сумерки, когда трудно отличить волка от собаки.

⁷ ... друидический пельван армориканских дюн старой Галлии. — Арморика — кельтское название французской Бретани. Пельваны — кельтские памятники в виде вертикально стоящих камней. Друиды — каста кельтских жрецов.

⁸ Акажу — название одного из видов тропических деревьев.

⁹ ... достойны бенедиктинцев ордена Святого Мавра... — монахи Бенедиктинской конгрегации Святого Мавра (XVII век) славились своей ученостью. Известны их объемистые основательные труды по самым разнообразным вопросам.

¹⁰ Паскье, Этьен (1529—1615) — французский писатель и политический деятель.

¹¹ Фоше, Клод (1530—1601) — французский историк, своими трудами заслуживший звание историографа Франции.

¹² Менаж, Жиль (1613—1692) — французский писатель и филолог, автор «Этимологического словаря».

¹³ П. Борель — см. «Заметка о Шампавере», прим. 5.

¹⁴ Бульвар — слово германского происхождения, и им первоначально назывался крепостной вал, сооружавшийся из толстых балок и земли, и только позднее — место для прогулок. Вольтер в своем «Философском словаре» действительно предлагает совершенно иную этимологию (*Voltaire. Dictionnaire philosophique. — Oeuvres complètes, t. 38. Paris, 1784, p. 343*). Он утверждает, что слово «бульвар» (*boulevard*) произошло от слияния *boule* — «мяч» и *verd* — «зеленый газон» и что бульваром называлась зеленая лужайка на крепостном валу, на которой горожане во время прогулок и отдыха играли в мяч. Это и дает Борелю повод для насмешки.

¹⁵ Ру, Филибер Жозеф (1780—1854) — известный французский хирург; предложенное им лекарство от зубной боли изготовлялось из парагвайского бальзама.

¹⁶ Герен, Жюль Рене (1801—1886) — французский хирург.

¹⁷ Лабаррак, Антуан-Жермен (1777—1850) — французский химик, получивший в 1826 году золотую медаль за открытие дезинфицирующих свойств хлористых соединений. Этим открытием было подсказано новое средство борьбы с эпидемией холеры в 1832 году.

¹⁸ Хайлендер — горец.

¹⁹ Медеин котел — с именем волшебницы Медеи связано много эпизодов греческого эпоса об аргонавах. В одном из них речь идет о том, как, желая отомстить Пелию, правителю Иолка, Медея убедила дочерей Пелия зарезать отца и сварить в котле, уверив их, что из котла он выйдет живым и юным.

²⁰ *Шомпре*, Пьер (1698—1760) — французский писатель. Борель имеет в виду его «Мифологический словарь» (1727).

²¹ *Трехпалый Джек был ликантропом!* — См. «Заметка о Шампавере», прим. 4.

²² *Флибустьеры* — морские разбойники в XVII веке, образовавшие нечто вроде самостоятельного государства на острове Святого Христофора. Англия и Франция покровительствовали флибустьерам в интересах общей борьбы против Испании.

²³ ...адмирал Пенн ... отвоевал остров у испанцев. — Остров Ямайка, один из Больших Антильских островов, открытый Колумбом в 1494 году и названный им Сант-Яго, был завоеван в 1655 году англичанами под начальством адмирала Пенна.

²⁴ *Дольмены* — вид кельтских погребальных памятников, сложенных из каменных плит.

²⁵ *Клефты* — греческие разбойники, принимавшие активное участие в войне за освобождение Греции (1821—1828). Народ относился к ним как к героям, борцам за свободу.

²⁶ *Балафо* — струнный музыкальный инструмент у некоторых африканских племен.

²⁷ *Это сама история!* — Ссылаясь на историю, Борель хочет оправдать себя перед теми, кто упрекает «неистовых» авторов в пристрастии к ужасам. Однако в действительности для него значительны как история, так и вымысел. Достаточно того, что тот или иной эпизод иллюстрирует мысль о непрочности всех уз, о подстерегающих нас на каждом шагу вероломстве, измене, о ненадежности человеческого счастья, за которым неизбежно следует катастрофа.

²⁸ *Жуванси*, Жозеф (1643—1719) — французский писатель-иезуит. Ему принадлежат многочисленные издания латинских авторов.

²⁹ В 1831—1832 годах на Ямайке произошло восстание негров-рабов. Хотя работорговля и была запрещена здесь еще в 1807 году, рабство просуществовало на Ямайке до 1838 года.

ДИНА, КРАСАВИЦА-ЕВРЕЙКА

¹ Теофиль Готье (1811—1872), поэма «Альбертус», XXIII.

² *П. А. Жакоб* — см. «Жак Баррау», прим. 1.

³ Иисуса Сирахова 36, 27.

⁴ *Шаррон*, Пьер (1541—1603) — французский моралист, автор известного «Трактата о мудрости», где он педантически подражает Сенеке, Плутарху и в особенности Монтеню.

⁵ *Самсон* — библейский персонаж; лишился своей силы из-за коварства женщины. Охваченный страстью к Далиле, Самсон открыл своей возлюбленной, что секрет его необыкновенной силы заключен в его длинных волосах. Враги Самсона подкупили Далилу, и та отрезала ему волосы, когда он спал.

⁶ *Соломон* — библейский царь, прославился своей мудростью, но не устоял перед соблазнами восточной роскоши и попал под влияние своих многочисленных жен-язычниц, что имело тяжелые последствия для народа и государства в целом.

⁷ *Марк Антоний* — римский триумvir и полководец (1 век до н. э.). Любовь к египетской царице Клеопатре погубила его честолюбивые планы.

⁸ *Филибер Делорм* — см. «Заметка о Шампавере», прим. 8.

⁹ *Синедрион* — высший государственный орган и верховный суд в древнем Иерусалиме.

¹⁰ *Сабейзм* — древняя (доисламская) религия Северной Месопотамии, Аравии, Сирии и Малой Азии, связанная с культом небесных светил.

¹¹ *Саддукеи* — одна из древнееврейских религиозных сект.

¹² *Давид* — израильский царь (XI век до н. э.).

¹³ Песнь песней 2, 14.

¹⁴ *Виола* — старинный смычковый инструмент.

¹⁵ *Букцина* — духовой музыкальный инструмент.

¹⁶ *Аркебуза* — первое ручное огнестрельное оружие, появившееся во Франции с XVI века.

¹⁷ *Песнь песней* 8, 2.

¹⁸ *Рахиль* — жена библейского патриарха Иакова. Иакову пришлось очень долго добиваться, чтобы Рахиль, которую он любил, стала его женой. По условию, которое поставил ему Лаван, отец Рахили, Иаков должен был прожить 14 лет слугой у него в доме.

¹⁹ *Псалтирь* 71, 6.

²⁰ *Мандрагора* — растение, которому уже в глубокой древности приписывались чудесные свойства.

²¹ *Греческий огонь* — зажигательная смесь, изобретенная в Греции в VII веке и применявшаяся для военных целей.

²² *Притчи Соломоновы* 18, 22.

²³ *Талмудисты и караимы* — древнееврейские религиозные секты.

²⁴ *Аарон* — пророк и первосвященник древних евреев. Священнический сан в роду Аарона сделался наследственным.

²⁵ *Исав* — старший сын библейского патриарха Исаака. По праву старшинства Исаву принадлежали привилегии, которые он должен был получить через благословение своего отца.

²⁶ *Песнь песней* 6, 1.

²⁷ *Лиственничная манна* — загустевшая смола лиственницы, употреблявшаяся в Европе, а также в Сибири как лакомство и как целебное средство.

²⁸ *Книга пророка Иеремии* 2, 27.

²⁹ *Плач Иеремии* 3, 29.

³⁰ *Первое послание Петра* 5, 8.

³¹ *Книга пророка Исаяи* 6, 4.

³² *Песнь песней* 2, 5.

³³ *Песнь песней* 7, 6.

³⁴ *Песнь песней* 7, 2—4.

³⁵ *Псалтирь* 113, 25.

³⁶ *Псалтирь* 21, 16.

³⁷ *Книга Иова* 38, 2.

³⁸ *Второзаконие* 34, 6.

³⁹ ... *братья снесли окровавленное платье Иосифа отцу его Иакову*. — Иосиф — сын библейского патриарха Иакова. Старшие братья ненавидели Иосифа за то, что он был любимцем отца. Они продали его в рабство, а отцу сообщили, что его сын съеден диким зверем, и в подтверждение показали ему одежду Иосифа, запачканную кровью убитого козленка.

ПАСРО, ШКОЛЯР

¹⁻³ Альфред де Мюссе, «Дон Паэз», II.

⁴ *Жерар* — очевидно Жерар де Нерваль (1808—1855) — французский поэт и писатель, входивший в кружок «бузенго» (см. «Заметка о Шамлавере», прим. 21) и уже в начале 30-х годов известный многими стихотворениями и рассказами.

⁵ *Эпидемия* — эпидемия, поражающая скот.

⁶ — *На заре... розовоперстой; месяц сочиняет стихи, я бы сказал, в классическом духе...* — «заря розовоперстая» — гомеровский образ. Пасро смеется над этим и подобными выражениями, заимствованными у классиков и превратившимися в штамп.

⁷ *Нельская башня* (построена в XIII веке, разрушена в XVII веке) в средневековом Париже была одним из сторожевых укреплений на левом берегу Сены. Нельская башня стала знаменитой благодаря легенде, утверждавшей, что в ней предавалась разврату королева Иоанна, жена Филиппа IV Красивого. Приглянувшихся прохожих завлекали в башню, а на утро их трупы находили в Сене. Другие источники приписы-

вают эти преступления бургундским принцессам Иоанне, Бланке и Маргарите. Легенда эта послужила сюжетом драмы А. Дюма «Нельская башня» (1832).

⁸ *Пандар* — персонаж драмы Шекспира «Троил и Крессида», придворный сплетник, охотно берущий на себя роль посредника между влюбленными. Взятое из «Илиады» Гомера, это имя в средние века приобретает совершенно иной, чем у Гомера, смысл и уже в XV веке становится нарицательным: оно обозначает «сводник». Шекспир следует именно этой средневековой традиции.

⁹ *Линдор* — персонаж комедий Карло Гольдони (трилогия «Дзелинда и Линдор», 1763—1765), тип страстного и преданного влюбленного. Его популярности во Франции способствовал включенный в комедию Бомарше «Севильский цирюльник» романс о Линдоре, наделавший много шума особенно во время первого исполнения в 1775 году.

¹⁰ *Лисфранк*, Сен-Мартен Жак (1790—1847) — французский хирург, выдающийся диагност и лектор.

¹¹ *Барежские воды*, или Бареж — курорт во французском департаменте Верхние Пиренеи.

¹² *Карл IX* (1550—1574) — король Франции с 1560 по 1574 год.

¹³ *Гильери* — имя трех бретонских разбойников в конце XVI и в начале XVII века. После нескольких лет безнаказанного грабежа они были в 1608 году пойманы и четвертованы.

¹⁴ *Мальбрук* — искаженное Мальборо, Джон Черчилль (1650—1722) — английский политический и военный деятель. Будучи ловким и беспринципным царедворцем, Мальборо завоевал широкую известность в Европе и восхищение англичан после того, как в 1702—1711 годах во главе английских войск одержал несколько побед над армией Людовика XIV.

¹⁵ *Генрих III* (1551—1589) — король Франции с 1574 по 1589 год.

¹⁶ ... из *Монтегю* — Коллеж Монтегю, одно из старейших учебных заведений в Париже, основанное в 1314 году и существовавшее до 1844 года.

¹⁷ *Хлодий Длинноволосый* — один из вождей франкских племен, вторгшихся во Францию в V веке.

¹⁸ *Саламандра* — вид ящерицы; согласно поверью, обладает чудесной способностью не гореть в огне и даже тушить огонь.

¹⁹ *Филогиния* (philogynie) — любовь к женщинам.

²⁰ — «Что тешатся мечтой взобраться на Парнас...» — Мариэтта цитирует здесь начальные строки «Поэтического искусства» Буало:

Есть сочинители, их много среди нас,
Что тешатся мечтой взобраться на Парнас.
(Перевод Э. Л. Линецкой)

²¹ *Антифлогистичный* — от слова «флогистон». По господствовавшим в химии XVIII века представлениям флогистон — это «огненная материя», якобы содержащая во всех веществах и выделяющаяся при горении. «Антифлогистичный», или «огнеупорный» Буало — т. е. не поддающийся забвению и не отступающий ни перед современной критикой, ни перед новыми поэтическими доктринами. Познания и осведомленность служанки в литературе, удивившие Пасро, — вещь весьма характерная для эпохи. Интерес к литературе в широких кругах демократической публики, степень ее образованности и способность оценить произведение искусства в 30-е годы часто обсуждались на страницах газет и журналов.

²² *Коварна как волна*. — В эпоху романтизма писатели охотно цитировали Шекспира. Этой моде отдает дань и Борель. Приводя в названии главы эти слова, взятые из «Отелло» (акт V, сцена II), Борель следует за Мюссе, который за три года до него уже использовал их в качестве эпиграфа к комедии «Венецианская ночь».

²³ *Аретино*, Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель, поэт, публицист, один из самых независимых и оригинальных умов своего времени. За свои сатиры Аретино получил прозвище «бич королей». Вместе с тем за ним утвердилась и репутация безнравственного писателя, настолько циничны и даже порнографичны были иные его

произведения («Диалоги» и др.). Это и смутило Пасро, нашедшего томик Аретино в секретере своей возлюбленной.

²⁴ *Аретология* — изучение Аретино.

²⁵ *Мериленд* — сорт табака, выращиваемый в Мериленде, одном из североамериканских штатов.

²⁶ *Дни небытия у Пасро не всегда бывали данью туману, дождю и темноте...* — тоска, вызванная разочарованием во всем окружающем и называвшаяся модным английским словом «сплин», становится в эти годы характерной чертой общественного настроения. А. де Мюссе иронически замечает о своем герое:

Мой друг покоен был и счастлив. В самом деле,
Едва четыре дня хандрил он на неделе.

(«Мардош», II, перевод В. С. Давиденковой)

Сплин, этот недуг эпохи, вызывавший часто шутки и иронию современников, нередко имел трагический исход: отчаяние, подавленное состояние духа, неверие породили во Франции 30-х годов «эпидемию» самоубийств. См. также прим. 41.

²⁷ ...душевная сухость обличает в тебе медика. — Благоразумие Альбера и его способность без всяких иллюзий воспринимать жизнь Борель связывает с его профессией врача, несомненно по ассоциации с книгой А. де Виньи «Консультации Черного Доктора», появившейся в 1832 году и имевшей большой успех.

²⁸ *Флеботомия* — кровопускание.

²⁹ ...о том низменном положении, которое ей уготовило общество. — После Июльской революции вопрос о роли женщины в обществе с самых различных точек зрения обсуждался в прессе, в палате депутатов, в литературе. С особой остротой, вызывавшей скандал и судебные преследования, вопрос о равноправии женщин подняли сен-симонисты. В 1832 году, после принятия закона о разводе, началась волна бракоразводных процессов, возбуждавшихся в подавляющем большинстве случаев женщинами.

³⁰ *Пизанская башня* — «падающая» башня в итальянском городе Пизе. Еще когда ее строили (XII век), она немного наклонилась в результате деформации грунта и затем была в таком виде укреплена.

³¹ *Сенсеверенская ила* — башня Сен-Северенской церкви в Париже, украшенная высоким и тонким шпилем.

32

*Наш Дагобер недоглядел,
Штаны навыворот надел. —*

Начало известной шутилой песенки о франкском короле Дагобере (VII век), самом известном из династии Меровингов.

³³ *Воплощение, квинтэссенция и символ нашей эпохи!* — Зонтик неслучайно превращается у Бореля в «символ» эпохи — новой, буржуазной монархии: король Луи-Филипп, желая изобразить из себя «народного» монарха, взял за правило ежедневно прогуливаться по улицам Парижа в костюме буржуа и с зонтиком в руках. Этот маскарад часто вызывал насмешки демократов.

³⁴ Перевод В. Рождественского. Цитируя подходящие к случаю стихи из «Эрнани» (акт I, сцена II), Пасро не только обнаруживает свое знакомство с этой драмой, но и свою литературную и политическую ориентацию: ведь наשמевшая «битва за Эрнани» (1830) знаменовала победу «либерализма в литературе», как назвал романтическую школу В. Гюго в предисловии к «Эрнани».

³⁵ *Вердуго* (el verdugo) — по-испански «палач». Пасро назвал палача по-испански вернее всего потому, что ему вспомнилось произведение Бальзака из современной испанской жизни с испанским же названием «El verdugo».

³⁶ *Сансон* — французский род, в котором на протяжении семи поколений обязанности и титул палача передавались по наследству (1688—1847). В 1793 году Шарль

Сансон казнил Людовика XVI. В 30-е годы XIX века «трон» палачей принадлежал его сыну Анри Сансону. Палач был фигурой весьма знаменитой в публицистической и художественной литературе эпохи. Жозеф де Местр возвеличил палача как опору общества, чем вызвал бурю протестов и насмешек. Во многих литературных произведениях 20—30-х годов фигурируют палачи. Это «Ган Исландский» В. Гюго (1824), «Отец и дочь» Шалля и Бодена (1824), «Инес Мендо» Мериме (1825). В 1830 году вышла книга «Воспоминания Сансона», написанная Бальзаком и Леритье. Подхватив идею Ж. де Местра, авторы изобразили Сансона в виде благообразного, высоконравственного и раскаивающегося старика (об этой книге см.: Н. А. Таманцев). Об одном раннем произведении Бальзака «Записки Сансона». Записки Лен. Гос. библиотечного института, 1957). Изображение палача у Бореля продолжает эту хорошо известную в 30-е годы идею, и вместе с тем полемизирует с ней.

³⁷ *Эзофаготомия* — хирургическая операция, рассечение стенки пищевода. Пасро иронически употребляет этот термин, имея в виду казнь гильотинированием.

³⁸⁻³⁹ Коцебу Август Фридрих Фердинанд, фон (1767—1819) — немецкий писатель, реакционер по своим общественным и политическим взглядам, противник просветителей и Великой французской революции. Несколько лет провел в России на государственной службе. Когда в 1818 году появилась «Записка о современном положении Германии», написанная А. Стурдзой по поручению Александра I, то автором этой «Записки» сочли Коцебу. «Записка» направлена главным образом против либеральных порядков в немецких университетах, которые беспокоили правительство своим вольнодумством и атеизмом. Коцебу неоднократно высказывался против студенческой молодежи и требовал ограничить существующую в учебных заведениях свободу. Появление «Записки» стало поводом к убийству Коцебу, которое совершил немецкий студент Карл Занд в Мангейме в 1819 году. Убийца был казнен в 1820 году по приговору Мангеймского суда. Об этом событии упоминается в эпиграмме А. С. Пушкина «На Стурдзу»:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу,
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.

⁴⁰ ... *ваш грушевидный суверен* — в 30-е годы были очень распространены насмешки над королем Луи-Филиппом. Все началось с того, что Ш. Филиппон, директор сатирического еженедельника «Карикатура», набросал серию рисунков, в которых обнаруживалось и подчеркивалось сходство формы головы Луи-Филиппа с грушей. С тех пор коронованная груша стала символом Июльской монархии. «Это неудобоваримый и малопитательный фрукт. Народ, который стал бы употреблять его длительное время, мог бы умереть в конце концов, доведенный до истощения» — писала «Карикатура» в сентябре 1832 года.

⁴¹ *На бога надейся, а сам не плошай* (Aide-toi, le ciel t'aidera). — Эта превратившаяся в пословицу строка взята из басни Лафонтена. (Возчик, увязший в грязи, Le chartier embourbé). Цитируя эту фразу, Пасро напоминает правительству о существовавшем в эти годы революционном обществе, которое так и называлось: «На бога надейся, а сам не плошай». Целью этого общества было объединить все оппозиционные силы в борьбе против реакционного правительства.

⁴² *В течение последних лет самоубийство вошло у нас в обычай и получило широкое распространение...* — в первые годы после Июльской революции самоубийство действительно стало массовым бедствием. В 1832 году Беранже пишет стихотворение «Самоубийство», посвященное двум демократическим поэтам О. Лебра и В. Эскусу, покончившим с собою. Эти смерти положили начало трагической «эпидемии» самоубийств. «Самоубийство царило тогда в Париже» — вспоминает о начале 30-х годов Бальзак в повести «Дочь Евы». В. Гюго в стихотворении «Ему двадцатый шел...» и Огюст Барбье в стихотворении «Любовь к смерти» также говорят о массовых самоубийствах. Этой теме посвящены многие книги, стихотворения, картины, статьи в пе-

чати. «Revue de Paris», ссылаясь на статистику самоубийств в странах Европы, говорит о катастрофическом первенстве Франции по сравнению с Англией, Германией, Россией. Противники июльского режима, будь то республиканцы или легитимисты, связывали иногда это огромное число самоубийств с массовым и крайним разочарованием в «республиканской монархии».

⁴³ *Карлист* — сторонник французского короля Карла X, изгнанного революцией 1830 года и бежавшего в Англию.

⁴⁴ «*Конститусьоннель*» — либеральная газета эпохи Реставрации. После Июльской революции она утрачивает характер оппозиционного органа печати и становится почти официальной газетой.

⁴⁵ *Орвэтан* — «универсальное» целебное средство, названное по имени его изобретателя Ферранто д'Орвэто и популярное в XVII веке.

⁴⁶ ... *красный человек* недавно опять появился вместе со своим новым постояльцем и мастером-каменщиком. — С начала XIX века дворец Тюильри был резиденцией французских монархов: Наполеона, Бурбонов, а с 1830 года — Луи-Филиппа, которого Борель и имеет в виду, говоря о «новом постояльце» в Тюильри. Его мастер-каменщик — это архитектор Пьер Франсуа Фонтен (1762—1853), еще во время Империи получивший звание первого архитектора Франции. Тотчас после воцарения Луи-Филиппа и по приказанию нового монарха Фонтен осуществляет частичную, но значительную реконструкцию Тюильри. Существует поверье, что красный человек, некое фантастическое существо, появляется в Тюильрийском дворце всякий раз, когда жизнь и власть короля в опасности. Этот мотив использован в стихотворении Беранже «Красный Человек». Борель говорит о возвращении в Тюильри красного человека, очевидно, под впечатлением всеобщего недовольства королем Луи-Филиппом.

⁴⁷ *Гоморра* — город в древней Палестине. Легенда рассказывает о том, что цветущие богатые города Содом и Гоморра сгорели и погибли оттого, что их жители погрязли в разврате и пороках.

⁴⁸ *Селадон* — персонаж пасторального романа О. д'Юрфе «Астрея» (1619). Этим именем, ставшим нарицательным, называют обычно сентиментального и платонического любовника.

⁴⁹ *Бруссэ*, Франсуа Жозеф Виктор (1772—1838) — французский ученый-медик, член Академии наук с 1832 года. Бруссэ разработал свою систему в медицине («бруссезизм»). Главным терапевтическим средством в этой системе были кровопускания.

⁵⁰ *Генрих II* (1519—1559) — король Франции с 1547 по 1559 год.

⁵¹ *Диана де Пуатье* (1499—1566) — возлюбленная Генриха II, интриганка, которую называли «настоящим королем Франции», так велико было ее влияние на Генриха II.

⁵² *Куатье*, Жак (умер в 1505 г.) — придворный врач Людовика XI (король Франции с 1461 по 1483 год). Куатье имел огромное влияние на короля и пользовался этим с большой выгодой для себя. Куатье удалось внушить Людовику XI, что последний не проживет и недели, если откажется от рекомендаций и советов своего врача, — так объясняет необычайное влияние Куатье одна из хроник.

⁵³ *Погрудитесь, пожалуйста, обойдитесь без этого варваризма и говорите, как надо, — Куатье!* — Требуя произношения «Куатье», т. е. того произношения, которое было нормальным для XV века, Пасро следует традиции «исторического колорита», излюбленной романтиками и чуждой классицизму. Фогланд же стоит на точке зрения классицизма, который не допускал отступлений от языковой нормы XVII века.

⁵⁴ *Делавинь*, Казимир (1793—1843) — французский писатель, один из приверженцев псевдоклассицизма в первой половине XIX века.

⁵⁵ ... в своей пятиактной трагедии... — имеется в виду трагедия Делавиня «Людовик XI», поставленная в феврале 1832 года и имевшая огромный успех. Король говорит в ней Куатье, отправляющемуся развлекаться: «Берси себя, Куатье!».

⁵⁶ *Рифмач гаврской милостью!* — К. Делавинь родился в Гавре.

⁵⁷ ... вы оскорбляете меня в лице сего излюбленного питомца девяти сестер. Де-

вяти муз, девяти Пиерид! — Пиериды — музы. Их называют так потому, что культ муз возник у фракийских певцов в Пиерии. Рядом с писателями романтической школы, которые нарушают все традиции, сочиняют драмы в скольких угодно актах, искажают новшествами классический стих и пишут даже в прозе, трагедии Делавиня почитаются за образец «хорошего вкуса». Приверженец Делавиня видит в обиде, которую Пасро нанес его кумиру, достаточный повод для дуэли.

⁵⁸ Кузен, Виктор (1792—1867) — французский философ-эклектик, стремившийся сочетать в своем учении различные, иногда противоречащие друг другу теории. Кузен перенес во французскую философию многие идеи Шеллинга и Гегеля, которые французам показались слишком запутанными и труднодоступными.

⁵⁹ Рошетт, Рауль (1789—1854) — французский археолог, автор трудов по истории и искусству.

⁶⁰ Ремюза, Абель (1788—1832) — французский востоковед, профессор китайского языка в Коллеж де Франс.

⁶¹ Гизо, Франсуа (1787—1874) — французский историк и государственный деятель. В годы июльской монархии стал убежденным сторонником консервативной линии «сопротивления» во внутренней политике и слишком покорной ориентации на Англию — во внешней.

⁶² Бовуар, Роже де (1809—1866) — французский писатель, получивший известность благодаря появившемуся в 1832 году историческому роману «Ecole de Cluny» («Клюнийская школа»).

⁶³ Делеклюз, Этьен Жан (1781—1863) — французский писатель либерального направления, критик и художник.

⁶⁴ Скриб, Эжен (1791—1861) — французский драматург, приобретший популярность занимательными сюжетами своих пьес.

⁶⁵ Орхестр и Пилястра — искаженное Орест и Пилад. Орест — герой античных греческих сказаний, сын Агамемнона и Клитемнестры. Пилад — верный друг Ореста.

⁶⁶ Акупунктура — иглотерапия (чжен-дзю), способ лечения ряда болезней, широко применявшийся еще в древности в Японии и Китае. С конца XVII века стал применяться в Голландии Тен-Ринном, а затем и в других европейских странах, но большого распространения не имел. В 20-х годах XIX века иглотерапия приобретает значительную популярность во Франции, и ее применяют и пропагандируют известные хирурги, в частности Жюль Клоке.

⁶⁷ ... Жан Расин большой проказник... — эта характеристика принадлежит французскому писателю Жану-Франсуа Мармонтелю (1723—1799). Увидев однажды, что мадам Дени читает Расина, Мармонтель вырвал у нее из рук книгу со словами: «Как, вы читаете этого проказника?» (об этом эпизоде вспоминает Лагарп в «Cours de littérature ancienne et moderne, XVIII siècle», livre I, chapitre VII, section IV).

⁶⁸ Ша-к-експир — имя Шекспир, произнесенное по-французски с небольшим искажением, звучит подобно chat qu'expiqe, что значит «подыхающая кошка».

⁶⁹ Друино, Гюстав (1798—1878) — французский писатель, довольно известный в начале 30-х годов своими драмами и романами.

⁷⁰ Шабанн, Жан-Батист (1770—1835) — военный и государственный деятель, пэр Франции в эпоху Реставрации. В 30-е годы Шабанн был известен также как автор многочисленных весьма посредственных памфлетов.

⁷¹ ... назвать кошку кошкой. — Имеются в виду известные строки Буало:

J'e ne puis rien nommer, si ce n'est par son nom:
J'appelle un chat un chat et Rolet un fripon.
(Satires, I)

(«Я могу называть все только своим именем: я называю кошку — кошкой, а Роле — негодяем»). Сатиры, I.)

⁷² Кофейня Режанс (café de la Régence) — одно из самых старых кафе в Париже, существует с 1681 года.

⁷³ *таверны неаполитанца Грациано, где подают бесподобные макароны...* — таверна Грациано около Парижа действительно существовала в 20–30-е годы XIX века и славилась итальянскими макаронами.

ШАМПАВЕР

¹ *Жерар* — Жерар де Нерваль, см. «Пасро», прим. 4.

² *Фавар*, Шарль Симон (1710—1792) — французский писатель, автор многих комических опер, которые он писал вместе со своей женой, актрисой, с особым успехом исполнявшей роли крестьянок.

³ *Буше*, Франсуа — см. «Господин де Ларжантьер», прим. 19.

⁴ *Варанс*, Луиза Элеонора, баронесса де (1700—1764) — покровительница и возлюбленная молодого Жан-Жака Руссо. О ней он рассказывает в «Исповеди».

⁵ *...ты могла сделать из меня льва...* — реминисценция из «Эрнани» В. Гюго. Донья Соль говорит Эрнани: «О, как прекрасен ты, лев благородный мой!» (акт III, сцена IV).

⁶ Около холма Монфокон находилась парижская свалка.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Заметка о Шампавере	5
Господин де Ларжантьер, обвинитель	21
Жак Баррау, плотник. Гавана	40
Дон Андреас Везалий, анатом. Мадрид	50
Three fingered Jack, оби. Ямайка	62
Дина, красавица-еврейка. Лион	77
Пасро, школяр. Париж	110
Шампавер, ликантроп. Париж	151
П р и л о ж е н и я	
<i>Б. Г. Ризов</i> . Петрюс Борель	167
Примечания (<i>Т. В. Соколова</i>)	189

ПЕТРЮС БОРЕЛЬ
Ш а м п а в е р
Безнравственные рассказы

*Утверждено к печати
Редакционной коллегией серии
«Литературные памятники»
Академии наук СССР*

Редактор издательства Е. А. Гольдич
Художник М. И. Разулевич
Технический редактор Н. Ф. Виноградова
Корректоры Ж. Д. Андропова и Ф. Я. Петрова

Сдано в набор 28/IV 1971 г. Подписано к печати
6/VIII 1971 г. Формат бумаги 70×90¹/₁₆. Печ. л. 13+
2 вкл. (1/4 печ. л.) = 15,50 усл. печ. л. Уч.-изд. л.,
14,26. Изд. № 4836. Тип. зак. № 266. Тираж 30000.
Бумага № 2.

Цена в переплете 1 р. 22 к., в обложке 82 коп.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164 Ленинград, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука».
199034 Ленинград, 9 линия, д. 12



ПЕТРЮС БОРЕЛЬ

ШАМПАВЕР



ПЕТРЮС БОРЕЛЬ



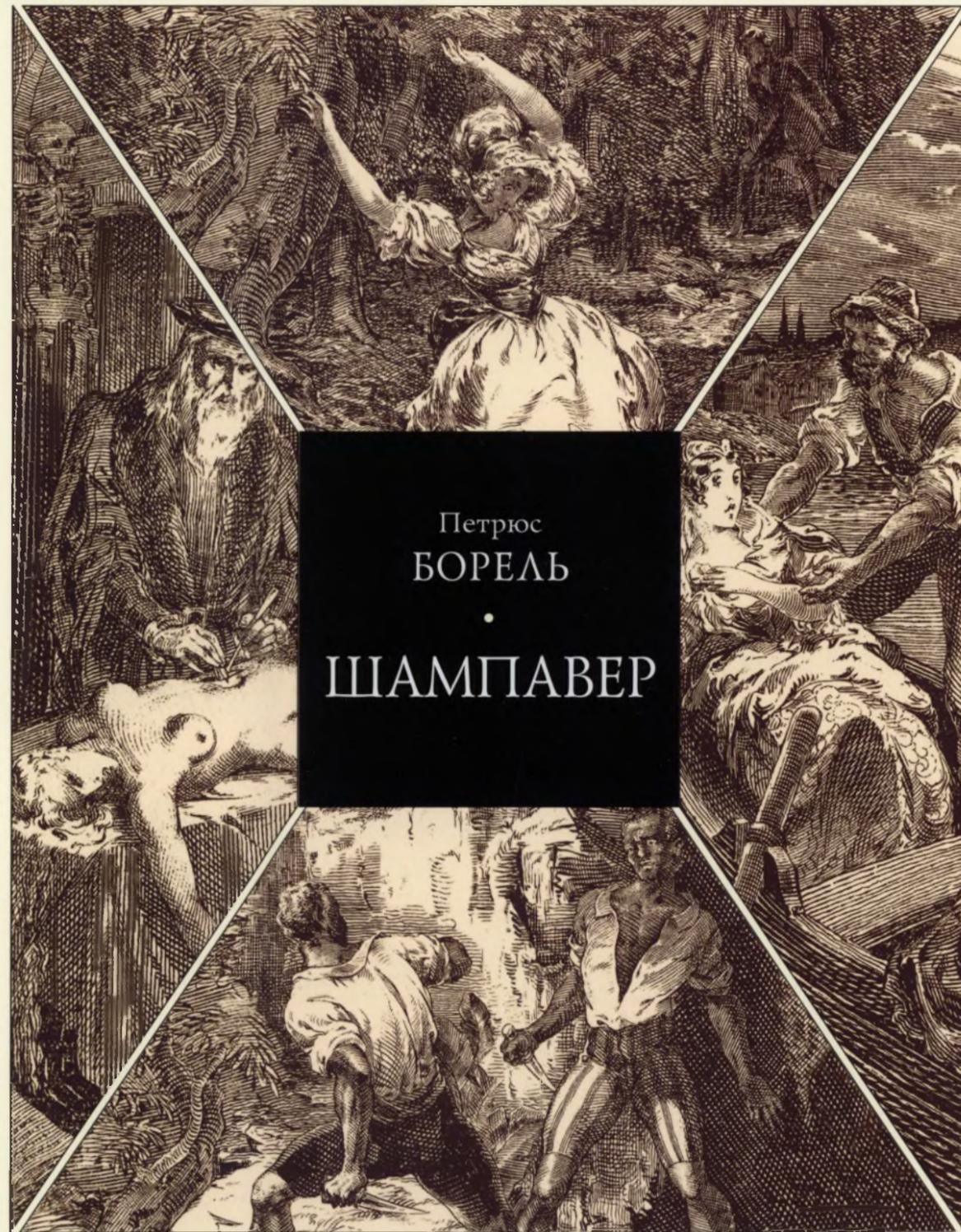
ШАМПАВЕР





ПЕТРЮС БОРЕЛЬ
1809—1859

Петрюс Борељ • ШАМПАВЕР



Петрюс
БОРЕЛЬ
•
ШАМПАВЕР